

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ВРЕМЯ

4(16)2020

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 4 (16) 2020

**Нью-Йорк
2020**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2020 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **646-270-9615**
or send an email to **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

К нашим читателям 6

ПРОЗА

ДАВИД ГАЙ

Линия тени (фрагменты романа) Окончание 10

ЭРИХ ФОН НЕФФ

Семейный портрет на хрустальной розе 112

ДЖЕЙКОБ ЛЕВИН

Чудовище с зелеными глазами. 144

БОРИС САНДЛЕР

В погоне за бабочкой 157

ВИКТОР НОРД

Приключения деда-эпикурейца 166

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

Зад к стенке. 269

ПОЭЗИЯ

СТИХИ КОРОНАВИРУСНОГО ВРЕМЕНИ 100

ГРИГОРИЙ МАРГОВСКИЙ 130

АЛЕКС ЩЕГЛОВИТОВ.....140

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

Номо Soveticus – клинический случай?183

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

МИХАИЛ АНИЩЕНКО-ШЕЛЕХМЕТСКИЙ223

ПЕРЕВОДЫ

ФРАН ЛЕВСТИК – ПАТРИОТ СЛОВЕНИИ237

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

ДАВИД ГАЙ

Письма, не нашедшие адресата243

НАВЕЯНО БИБЛИЕЙ

ЮРИЙ СОЛОДКИН

Иов251

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.....278

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Завершился четвертый год выпуска международного литературного журнала «ВРЕМЕНА». Следующий год венчает пятилетку существования нашего издания. Как знакомо нашим читателям это навязчивое слово – пятилетка!.. Нет, пятилетних рабочих планов перед собой и вами, нашими верными и преданными читателями, мы не ставим. Литературное творчество и литературный журнал такого не предусматривают. Давайте лучше вспомним знаменитое пастернаковское: «...И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней, но как мне быть с моей грудною клеткой и тем что всякой косности косней?...» Вот об этом мы и поведем разговор.

Издание наше стало объемнее, в каждом номере уже более трехсот страниц. Мы стремимся донести до читателей лучшие образцы прозы, поэзии, публицистики, рожденные авторами-иммигрантами, живущими в разных концах света, а не только в Америке. Это особенно важно, ибо количество «русских» литературных изданий, выходящих на бумаге, неуклонно сокращается. Увы, такова тенденция – выпускать их финансово все тяжелее. И уходят издатели массово в Сеть, в Интернет...

Важное направление нашей деятельности – публикация острой прозы российских авторов, которых не печатают в России, опасаясь гнева властей предрержащих.

Весьма важна для журнала обратная связь с читателями. Нам звонят, присылают письма, с нами обсуждают публикации, высказывают критику, пожелания. Особый отклик получают публицистические выступления наших авторов на волнующие всех нас темы.

В связи с этим будем признательны, если вы, господа, оперативно пришлете свои отклики на прочитанное в 2020 году и предложения относительно новой тематики и новых рубрик. Ваши

пожелания окажут неоценимую помощь издателю, редактору и членам редсовета. В первом номере за 2021 год мы опубликуем ваши высказывания. Свяжитесь с нами по электронной почте guydavid094@gmail.com

Наш журнал – подписной, любое пожелание жителей различных штатов стать подписчиками мы тут же удовлетворяем – стоит лишь позвонить нам и дать свои координаты.

В течение этого года прошли презентации – в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне... Такое прямое общение дает замечательную возможность услышать мнения читателей о журнале.

В редакционном портфеле – немало любопытных и даже сенсационных текстов, которые увидят свет в будущем году. Речь будет идти, в том числе, о художественном осмыслении изменений во взглядах, в психологии и поведении людей, застигнутых пандемией коронавируса и волной протестов на расовой почве, захлестнувших Америку. Журнал отразит и события, связанные с президентскими выборами в США и их последствиями. В мире многое меняется буквально на глазах, и задача литературы – улавливать и анализировать эти изменения.

Теперь о наших новостях. Пожалуй, главная: у издания сменился издатель. Бизнесмен и литератор Леон Михлин по определенным причинам покинул журнал. В течение четырех лет он как филантроп нес бремя издательских расходов, ибо проект «ВРЕМЕН» – благотворительный, не ставящий задачи получения прибыли. Мы признательны г-ну Михлину за его усилия по поддержке журнала, за его вклад в развитие русской культуры в США. Надеемся, наши читатели присоединятся к этим словам.

Ныне у «ВРЕМЕН» – новый издатель **Михаил Минаев**. Он москвич, по специальности инженер-электронщик. Начал заниматься полиграфией в конце 80-х годов, когда сменил пребывание в одном из институтов АН СССР на работу в только что открывшемся благодаря перестройке небольшом частном издательстве.

С 1995 года Минаев живет и работает в Бостоне, США.

В 2001 году вместе с несколькими единомышленниками создал издательство M-Graphics и до сегодняшнего дня остается его руководителем. Всего издательство выпустило более двухсот пятидесяти книг по основным направлениям деятельности –

мемуары и воспоминания, поэзия и проза русскоязычных авторов-иммигрантов, проживающих за пределами бывшего СССР.

На протяжении ряда лет издательство оказывало техническую и полиграфическую поддержку бостонскому журналу «Кругозор» (до перехода полностью в он-лайн), а также широко известному бостонскому журналу «Русские Страницы / Бизнес Реклама», с которым **M-Graphics** связывает многолетнее плодотворное деловое сотрудничество.

Издательство направляет свои усилия по развитию русскоязычной культуры, прежде всего, литературы, старается донести творчество авторов-иммигрантов до широкого круга читателей, а также предоставить возможность новым литераторам сделать первые шаги на пути писательского становления.

Журналу «ВРЕМЕНА» будет активно помогать Евгений Эдельсон. Родился он в 1941 году в Витебске, менее чем за три месяца до начала войны с гитлеровской Германией. Потом с матерью оказался в Полоцке. Чудом вместе с близкими родственниками избежал гибели в гетто – отец, затем прошедший боевой путь от Бреста до Москвы и от Москвы до Берлина, успел перед уходом на фронт вывезти всю большую семью...

Вся сознательная жизнь **Евгения Эдельсона** до эмиграции (1979) связана с Ленинградом. Здесь он учился в инженерно-строительном институте, здесь работал, поднимаясь по служебной лестнице, занимая ответственные должности в ведущих строительных управлениях города. В США пригодились накопленные им знания и опыт. Евгений сделал удачную инженерную карьеру. Занимался и бизнесом.

Литература – давняя страсть Эдельсона. Его начитанности могут позавидовать многие. Не так давно он начал писать, издал любопытную мемуарную книгу «Жизнь моя, или ты приснилась мне...»

Главным редактором журнала по-прежнему остается хорошо известный русской Америке **Давид Гай**, писатель, журналист, телекомментатор, автор более 30 художественных и документальных книг.

Мы верим, что творческий союз незаурядных личностей принесет хорошие плоды.

* * *

Надеемся, вы, наши подписчики, останетесь с нами, а к вам прибавятся новые читатели. Напомним условия подписки. Они не изменились по сравнению с прошлым годом. Единственная просьба: если хотите остаться нашими читателями или впервые подписаться, не затягивайте эту процедуру, не ждите Нового года. Нам очень важно заранее узнать количество подписчиков и определить тираж нашего издания.

Вы также можете увидеть нас в интернете, набрав **za-za.net** и далее кликнуть вход в журнальный зал. Реклама «ВРЕМЕН» размещена на крупнейшем американско-русском портале «Новый Континент» (<http://nkontinent.com>), в чикагском ежемесячнике «Шалом» (www.obshina.com), а также в Facebook. Появится она и в других изданиях.

Итак, мы уходим в пятый год существования. Надеемся, он будет успешным и мы не разочаруем вас, друзья!

Редакционный Совет журнала «ВРЕМЕНА»

	<p>Дорогой читатель!</p> <p>Начинается подписка на журнал на 2021 год (4 номера объемом более 300 страниц каждый).</p> <p>На чеке укажите сумму 60 долларов (почтовые расходы включены) и дайте название компании-издателя: M•Graphics.</p> <p>Вложите чек в конверт и отправьте по адресу:</p> <p>Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt.11H Rego Park, NY 11374</p> <p>Телефон для справок: 646-270-9615</p> <p>Спасибо!</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Давид ГАЙ

ЛИНИЯ ТЕНИ

Фрагменты романа

Окончание. Начало в №3 (15) 2020

11

На третий день по возвращении, немного окрепнув, я решил сообщить близким, живущим на расстоянии, о случившемся. Вернее, о покуда не случившемся, но, возможно, зловеще таящемся в закоулках тела и в любой момент могущем выстрелить. Бывшая жена Таня, дочь Ира с зятем Генрихом и внук Джонатан обитают в Калифорнии, семейство сына Павла – в Москве. Голос мой должен звучать твердо, не жалобно-просительно, мне от них ничего не нужно, кроме тепла и участия, больше ничего. Все равно помочь не смогут и только начнут доставать ненужными, обременительными расспросами. Позвонил по WhatsApp, не открыл реальную картину, не пугал, ограничился лишь общими словами про операцию по удалению воспалившегося аппендикса.

Как-то само собой, естественно, без подсказки и нажима, вспомнилось, с чего начался путь в эмиграцию. Дочь вышла замуж за еврея-программиста, мечтавшего уехать. Куда? В Штаты, конечно, Земля Обетованная не привлекала. Однако близких родственников в Америке нет, путь туда отрезан. Павлик, младше Иры на три года, тоже склонялся к отъезду. Он заканчивал учебу в нефтяном институте, куда поступил потому, что жил неподалеку на Ленинском проспекте. Парнишка приткий, любил деньги, подрабатывал в кооперативе. Совсем был непохож на меня, я деловой хваткой похвастать не мог, а сын мечтал заняться бизнесом. Единственно, что унаследовал от меня, – любовь к чтению. Читал избирательно и по своей методе: одну и ту же книжку изучал подолгу, знал многие

фрагменты чуть ли не наизусть и щеголял знанием при случае. Рассказы Чехова, Ильф с Петровым, Булгаков, Гашек, позднее Гроссман – я одобрял его выбор. К стихам относился равнодушно. Дочь, та читала умеренно, ее страстью был театр. Что касается Тани, то она больше всего любила кино, я купил видеоманитофон, она доставала кассеты и запоем смотрела голливудские боевики.

Жена сыграла решающую роль в отъезде. По натуре неактивная, предпочитающая плыть по течению, что касалось ее работы в проектом институте, где была баклуши наравне с другими, во всем рассчитывавшая на меня, главу семьи и кормильца, она преобразилась, едва жизнь потребовала серьезного вмешательства. Семейные отношения наши давно определились: любовный пыл угас, чернобровая, цыганистая, в молодости тростиночка, нынче же с расплывшимися боками, жена не привлекала в постели, я изменял ей, пара романов на стороне настолько захватила меня, что я потерял бдительность и невольно засветился. Скандалы Таня не устраивала, замкнулась в себе, до меня доходили слухи, что платила мне тем же. Может, и было, женщины – натуры мстительные... В сущности, надо было расходиться, но, как часто бывает, удерживали дети, сначала маленькие, потом подростки, а потом инерция и нежелание круто менять уклад жизни.

С середины 80-х замаячил призрак отъезда, Ирино замужество стало катализатором. Все в семье были «за», единственный голос «против» принадлежал мне. Общий счет был не в мою пользу. Впрочем, реализация желаний пряталась в тумане, никакие практические пути не намечались, поэтому я не беспокоился. И совершенно напрасно.

Таня услышала от одной из приятельниц: в американском посольстве образовалась очередь из бывших отказников и тех, у кого нет родственников в США. Впускают их в страну по статусу беженца (refugee status) в течение полугода – кто опоздал, тот не попал. Как влезть в очередь и получить необходимые анкеты? Таня денно и ночью думала об этом. И надумала.

Апрельским ветреным утром 1989-го, не было еще девяти, она подошла к молоденькому сержанту, дежурившему возле входа в консульский отдел, то и дело куда-то отходившему и возвращавшемуся. Она огорошила его вопросом:

– Ты сегодня завтракал?

– Не успел, – удивился мент и захолопал белесыми ресницами.

– Я покормлю тебя отличным завтраком в кафе «Ивушка», а ты мне достанешь три анкеты.

– Завтраком не отделаешься, – сообразил сержант.

– Я дам денег. Сколько ты хочешь?

– По сотне за каждую.

– Договорились.

Так Таня стала обладательницей важных документов. Полдела сделано, но как попасть в консульский отдел и передать анкеты по назначению? Жена проявила чудеса изворотливости. Через несколько дней она снова появилась у нужных ворот с заполненными анкетами на членов семьи, на всех, кроме меня, ибо я твердо отказался ехать. Пропускали людей два милиционера, один держал в руках паспорта, сверял фотографии, другой проверял наличие анкет. Таня протиснулась к проверявшему анкеты.

– Ты чего здесь стоишь? – поинтересовался мент.

– Как чего? Я в очереди.

– Вася, ты проверял у нее паспорт? – спросил у напарника.

– А хрен ее знает., – занятый другими людьми, тот отфутболил вопрос.

Таня вошла в вожделенные двери консулата как во врата рая...

Как давно это было... Семья получила разрешение поселиться в Сан-Диего, городе-рае на юге Золотого штата, рядом с мексиканской границей. На Америку обрушилась рецессия, работы не было. Генрих по рекомендации *джуйки* (еврейской организации, если кто не понял) устроился в «Макдональдс» на кассу. Платили ему 5.50 в час. Через полтора года, опять же по еврейским связям, нашел работу в биотехнологической компании, Ира, еще в Москве изучившая язык программирования C++, пошла по стопам мужа, устроившись программистом в банк. Таня, ей уже перевалило за пятьдесят, стала круглосуточной помощницей старушки-американки, ее нанял сын старушки и платил наличными. Павлик, будучи на велфэре, учил английский и безуспешно рассылал резюме по поводу работы.

Через два года, в июне 1993-го, к семье присоединился и я. Меня вызвала уже получившая грин-карту дочь – тогда такое было возможно.

Почему же я уехал? Могу сказать, други-читатели: несколько лет, вплоть до моего отъезда, оказались для меня самыми счастливыми, меня покинул страх, я жил совершенно свободно, не боясь высказывать то, что думал. Из стола шли прежде напрочь отвергаемые цензурой романы, издательства, в том числе новые кооперативные, выпускали их чудовищными тиражами по 200 тысяч, и представьте, книги раскупались, такой был голод на литературу.

Я был счастлив и все равно покинул страну.

Только не думайте, что снялся с насиженного места ради близких. У нас у русских ох как формулировка живуча: «Мы эмигрировали из-за детей...» Не ведаю, что китайцы по этому поводу говорят или пакистанцы, но русские – именно так. Для многих – успокоительная микстура, великий самообман! Зато всегда можно сослаться на святую родительскую миссию, оправдывая собственное неблагополучие, несостоятельность, никчемность в чужой стране. Так и хочется крикнуть: «Братцы, не приносите себя в жертву! Не становитесь заложниками детей! Они это не оценят...» Родители тоже имеют право на кусочек личного счастья, зачастую невозможного на чужбине. К простой и убийственной, уничтожающей все иллюзии истине каждый по-своему приходит, а до той поры все равно поступает сообразно общему правилу – берет и уезжает, куда глаза глядят, вместе с детьми или вслед за ними.

Я никогда не говорил, что еду ради дочери и сына, хотя, если честно, жилось без семьи одиноко, порой такая тоска схватывала, хоть волком вой. Быть безжалостно честным по отношению к себе труднее, нежели к окружающим. Скажу как отрежу: мною иные причины двигали. По России волной митинги катились, народ в политику ударился, на Манежке в Москве, еще пустой, церетелевскими финтифлюшками не испохабленной, до ста тысяч собиралось. На них гласность сверху свалилась в качестве подарка, и не знали, на что бы такое употребить ее. Я приходил сюда по заданию редакции, а иногда просто так, для себя. Звучало на каждом митинге, как заклинание: «Дороги назад нет! Возврата к прошлому не будет!» Форменное сумасшествие. Многие в уверенности пребывали – ничего не стоит страну развернуть в нужном направлении. Памятник Дзержинскому свалили – и остальное так же повалится, само собой, лишь толкнуть маленько требуется. И так все легко и просто каза-

лось, и во всю мощь ораторских легких, микрофонами усиленных, несло по площади: «Возврата нет!», и подхватывали тысячеусто, усиливали, и плыло звонкое эхо над головами, и входили в раж от собственной смелости и решимости, и мерещилась скорая победа по всем направлениям. А я вспоминал Бердяева: революция всегда есть маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица – новые души рождаются позже... Пыл митинговщины и выглядел отчасти революцией, к счастью, бескровной. Я стоял в беснующейся толпе и настойчиво думал: «Откуда такая уверенность насчет того, что нет дороги назад? Где гарантия, что не попятитесь, не повернете, братцы-кролики, в обратном направлении, едва жареным запахнет, не расстанетесь с лозунгами, без которых жить сегодня не можете, и не смените их играючи на другие, более понятные и привычные? За год или два народ поменяться не может, и за пять не может, и за пятьдесят лет не может, недаром замечено: «Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки». В то время я впервые прочитал записки о России де Кюстина. Прав маркиз, сколько бы его не хулили: нигде, наверное, нет такой тесной связи формы правления с психологией народа.

Не отношу себя к прорицателям, не ищу в себе дара глубокого предвидения, да и у кого оно есть, предвидение.., однако разгул митинговой стихии показался предвестником скверных перемен. Так и произошло на моих глазах после путча: объявившие себя демократами азартно вселялись в начальственные кабинеты, лезли во власть, под их началом ушлые ребята хватали ничейное, то бишь госимущество, и объявляли своим, разбухали от богатства, отстреливали конкурентов, уверенно к тому двигаясь, что в один прекрасный момент другие ушлые ребята, с куда большей выучкой профессиональной, объединятся и надумают старый большевистский лозунг осуществить: «грабь награбленное» – и осуществят, подмяв под себя всех и вся. Меня в ту пору в стране уже не было.

И все-таки, почему решил на слом всего, что было и чему служил? Каждый человек, когда приспичит, решает вопросы жизни одномоментно, и чем дольше размышляет, оценивает, анализирует, тем меньше шансов поступить верно; действовать безоглядно иногда самое правильное. Я последовал не мной выведенному правилу.

Говорят, наши желания всегда исполняются, но не так, как мы этого хотим...

Итак, я оказался в городе-рае среди великолепия, на которое вскоре обрыдло смотреть. А ведь для кого-то и впрямь уголок дивный: не слишком жарко и влажно, рядом океан, утром сумеречное небо сменяется прогоняющим туман с океана солнцем, погода в каждом районе своя, не угадаешь: то близ океана небо синее, а в трех-пяти милях облака, то наоборот, едешь – солнце в глаза бьет, а приблизишься к воде – туман. Фривэи вдоль холмов тянутся – зеленых, поросших кустарником, соснами, дубами, эвкалиптами, с коричневыми проплешинами выгоревшей от летнего зноя травы и мелкими каменными россыпями. Едва начинает смеркаться, темнеющие силуэты холмов начинают походить на стадо гигантских спящих верблюдов на фоне розово-фиолетового предзакатного неба и напоминают краски Сарьяна. Краски быстро тускнеют, угасают, как небосвод в планетарии, и вот уже первые неправдоподобно яркие звезды занимают свое место. Южная густая темнота вскоре окутывает пространство окрест – холмы, дома в штукатурке стако, белые и светло-кофейные, деревья, цветы, траву, гольф-поля с озерами, а в глаза бьет пульсирующий световой поток, лава огней автимиобильных фар, по встречному фривэю стекающая...

Туристов манят песчаные пляжи, самый мелкий песок, почти пудра – возле без единого гвоздя построенной больше сотни лет назад гостиницы «Коронадо», где снимался знаменитый *Some like it hot*, в России по-идиотски переведенный «В джазе только девушки», ведущий к гостинице из города мост напоминает изгиб лука с туго натянутой тетивой, неподалеку гремящий на весь мир морской аттракцион с китами-убийцами шаму. Самое, наверное, богатое место на земле – ранчо Santa Fe, просто так сюда не въедешь – сплошь частная территория, но если рискнуть, то взору открываются здешним обитателям принадлежащие апельсиновые плантации, необозримые гольф-поля с плавающими в озерах утками, лебедями, пеликанами и фламинго, выгоны для лошадей и стадион для игры в конное поло, за низенькими заборчиками, лучше сказать, изгородями таятся в глубине огромные многомиллионные дома... Видит бог – человеку столько не надо, не требуется, лучше всего жить, как

бедный человек с деньгами, Пикассо прав. Я же не могу выбросить из головы: это то самое ранчо, где через год после моего приезда совершился массовый суицид десятков сектантов, сознательно себя утертвивших.

И впрямь город-сказка, город-мечта, в котором хорошо удавиться.

Такое у меня было настроение.

Ежеутренне я садился за компьютер и сочинял очередную бодягу про российские и американские дела – про последние писал, обложившись газетами и журналами, и добросовестно переводил, пополняя словарный запас чужого, плохо дающегося языка. Статьи рассылал в русские издания Западного и Восточного побережья. Платили гроши, чеки иногда буквально вышибать приходилось. Зато родная московская газета платила мне пятьсот долларов в месяц, и я с удовольствием исполнял обязанности собкора по Америке.

Так продолжалось три года. Неожиданно позвонили из Нью-Йорка и предложили возглавить русскую газету. Везение, удача? Ну а как же без нее в покуда чужой стране... На меня вышли, видя мои многочисленные американские публикации, издатель-раввин знал мое имя по Москве и укрепился в желании пригласить в свое издание, не слишком востребованное. Мне надлежало сделать газету популярной.

Я немедленно согласился. Таня твердо сказала, что в Нью-Йорк со мной не переедет. Она покинула старушку-американку с изматывающими круглосуточными бдениями и устроилась в агентство по уходу за пожилыми. Работа была нормированной. Все свободное время уделяла внуку Джонатану, в котором души не чаяла. Я ей был не нужен. Наши отношения на этом завершились...

Я уехал в Нью-Йорк во вторую эмиграцию в августе 96-го, а через три месяца Павел вернулся в Москву, как выяснилось, насовсем. Так случается: некоторых Америка отторгает, отпугивает, даже молодые люди пасуют перед перспективой учиться и переучиваться, искать свою дорогу, падать, набивать шишки и снова карабкаться в гору. Павла, по его признанию, отталкивало не только отсутствие ясной перспективы – диплом его оказался невостребованным – но нежелание жить по жестким законам и правилам, он чувствовал себя в замкнутом пространстве, как в углу батискафа, на который

давит толща воды, ему не хватало уверенности в себе. Я видел его переживания, не раз пытался вызвать на откровения, он уходил от прямого разговора. Помочь я ему не мог и лишь корил себя: в том, что он вырос таким, есть и моя вина... И тут же оправдывался: Ира же другая... И еще приговаривал: если вы хотите помочь детям, – отстаньте от них.

Павел обрел уверенность дома в Москве. Я тысячу раз благодарил Таню за требование не продавать комфортную квартиру на Ленинском проспекте, а сдать в аренду. Так и поступил, готовясь к отъезду. Сыну, таким образом, было где жить. Он проявил похвальную изворотливость, коей не хватало в Америке, и, восстановив связи с друзьями по вузу, устроился в процветающую нефтяную компанию. Дела у него шли на лад, успешно продвигался по службе, женился на дочери крупного деловара, успешно ладившего с властями и обретшего их защиту, купил роскошную квартиру, построил дачу в Жуковке – словом, вполне преуспевал. Родился Костик, мой внук-миллениал. Я бывал в Москве редко. Осматривая хоромы сына, обратил внимание на отсутствие книг, не преминул спросить, почему, Павел отмахнулся – некогда читать, деньги надо делать. Так и отвечивал: *делать*, а не зарабатывать. О российских событиях мы с ним мало говорили, я попробовал коснуться нашумевшего процесса олигарха и Беслана (разговор, помнится, затеялся осенью 2004-го), сын бестактно оборвал, попросту заткнул мне рот: «Ты многого не знаешь. Питаешься американской пропагандой. Я не желаю обсуждать Путина, если бы не он, тут все расплозлось бы к чертовой матери. А ты лучше вашей войной озаботься, казнили Саддама и счастливы, а что потом будет, вы подумали?... а потом мусульмане дадут вам прикурить... » Вот так поговорили...

12

Два с половиной месяца были отданы химиотерапии. Я травились гадостью по полной программе в надежде убить другую гадость – куда более страшную, если она сидела во мне. Но кто это мог знать, сидит или не сидит – никто, ни доктор Кларк, ни сам господь бог. Мою брюшную полость заполняли подогретым химическим раствором и оставляли на полтора часа. После процедуры силы покидали, преследовали тошнота, поносы, вкусовые извраще-

ния, как я их называл: раньше любил соленые огурцы, помидоры и квашеную капусту, теперь смотреть на них не мог. Раздражали запахи. Как положено, стали выпадать волосы, и так не слишком густые, ресницы осыпались, как елочные иголки. Скоро буду похож на Фантомаса, грустно шутил. Показатели крови тоже не вселяли радости. После первой капельницы я более-менее восстанавливался, затем шла вторая и так далее. Я почти нигде не бывал, стеснясь своего вида и не в состоянии оборотить слабость, работа над заказными книгами застопорилась, начатый новый роман напоминал о себе лишь компьютерным файлом с пятью десятками страниц; я спал днем, ночами же боролся с видениями, призраками, кошмарами, галлюцинациями, тенями прошлого, сон прерывался, в голове жужжало и мельтешило, как бывало со мной прежде в стадии сильного подпития. Друзья изредка навещали, я был им рад, но не настолько, чтобы стремиться к постоянному общению. На это не было сил и желания.

Я, наконец, отмучился, доктор Кларк напоследок сказал, что на этом все, и заверил в благополучном исходе. Его бы устами...

Ушедшее время плотно отгорожено от меня, я словно плыву в подводной лодке в наглухо задраенном отсеке и усилием воли раздвигаю стальные переборки, начинаю слышать звуки, перерастающие в членораздельную речь, видеть подернутые туманной дымкой лица тех, среди кого протекала моя жизнь, и то, что происходило с ними и со мной. Из неммыслимо далекой глубины выплывает промельком, проблеском одна история за другой, и я допытливо спрашиваю себя: неужели и вправду *было*, происходило?..

Люди из прошлого помнятся лучше нынешних, и это не гримасы старости, а данность, поскольку нынешних друзей и знакомых много меньше, нежели окружавших меня в Москве, и они совсем другие. Прошлое преследует меня. Многие его опасаются, ненавидят, пытаются скрыть, чтобы не осудили (морально) за то, что было, хотя кто будет судить и сколь это болезненно? Для каждого – по-разному. Тем не менее, скажу вам, други-недруги, про себя: в прошлое жутко погружаться время от времени, но необходимо, попытка избегать погружения, даже в водолажном скафандре, не поможет. Иметь отчаянную смелость оглянуться назад, не попав

при этом в ловушку стыда, – одна из самых трудных вещей, которые когда-либо приходилось делать.

Почему я вспоминаю то, что хотел бы забыть, вычеркнуть раз и навсегда? Муки совести? Запоздалое стремление оправдаться перед самим собой? Подведение итогов перед печальной перспективой ухода в небытие? Каждый уходит с тем, что у него в душе. Смотреть в зеркало и не испытывать раскаяния – великое дело. Я никого не убил, не предал, не отправил в тюрьму, жил как все, приспособлялся по мере возможности и необходимости, лишний раз не высывался, в журналистских писаниях не зарывался, да мне бы и не позволили, в книгах старался быть честным и откровенным, но вынужденно следовал установленным правилам (и не я один – все, кто хотел печататься в своей стране, так поступали, исключения не в счет) – повторю, жил как все – и постоянно вступал в конфликт с обстоятельствами, мелкими, незначущими и серьезными. Тут и начиналась сдача позиций...

Учиться жить в согласии с собой, в некоей гармонии с непокладистым нутром, означало избавлять себя от стремления критиковать, жаловаться, сравнивать, конкурировать, соперничать. Так советовали психологи, призывавшие бороться с составляющими эмоционального *рака*. (Проклятое слово жило тогда отдельно, не затрагивало абсолютно ничего во мне, я воспринимал его совершенно равнодушно, отстраненно). По мере возможности, интуитивно пытался бороться, не знаю, насколько успешно, во всяком случае, никому не жаловался и, как мне казалось, не завидовал, ни с кем не конкурировал.

Считал ли себя трусом? Пожалуй, нет, хотя кто знает, что считать трусостью. Некоторые страхи просто невозможно преодолеть. Только кельты не боятся землетрясений и наводнений, и можно подумать, они сошли с ума. Так говорил Аристотель, если действительно говорил. Трус, продолжал он, это человек, который перешёл границы в своем страхе: он боится неправильных вещей, в неправильном порядке, и так далее...

Обычно мы называем трусом человека, чей страх непропорционален опасности, с которой он сталкивается; когда человек не может преодолеть страх и, как следствие, становится не в силах что-либо делать, в том числе исполнять свой долг. Так рождается

жестокость. Она чаще всего результат страха, слабости и трусости. И как же мужественны кролики, идущие на самопожертвование во имя спасения собратьев! Увидев крадущуюся лису, начинает кролик стучать лапой, поднимает хвостик, подаёт сигнал своим товарищам, несмотря на то что привлекает к себе внимание и может быть лисой съеден. Но люди не кролики, редко кого спасают в критические моменты между жизнью и смертью. Взаимная трусость сдерживает нас... Моральная же трусость настолько сегодня обыденна, что человек вообще не чувствует себя трусом.

Я не считал себя таковым, мною двигали охранительные инстинкты, разумная взвешенность поведения. Конформизм, замечу – не такая плохая штука, хотя бы гарантирует выживание. Закрывать грудью амбразуры – о, нет, это не для меня, я не герой. Памятуя откровение Иешуа Га-Ноцри, что трусость, несомненно, один из самых страшных пороков, я легко воспринимал писательское уточнение: *«Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок»*, и никоим образом не распространял сию сентенцию на себя. А если отмыкаться и каяться, то давайте, господа хорошие, все вместе, обща... У вас ведь тоже много чего найдется, о чем вы упорно молчите, а если уж открываетесь, то только близким людям, друзьям, но есть то, чего и близким знать не положено, а уж совсем потаенное сами себе напоминать боитесь.

Сейчас же я брал инициативу на себя. *Для того, чтобы услышать себя, нужны молчаливые дни.* Таких дней у меня было в достатке.

Как это случилось... Да очень просто – я провожал в эмиграцию близкого приятеля, работали бок о бок в газете до его увольнения и перехода на мелкую, незаметную службу для получения разрешения ОВИРа на выезд. Шел семьдесят шестой, народ офигевал от кремлевских рамоликов, изгалялся над ними в анекдотах, пил, философствовал на кухнях и отправлял за кордон наиболее умных и смелых.

После проводов, в начале первого ночи, я повез в такси домой подаренного приятелем сибирского кота. Кот бился в сумке, рвался на свободу, вопил. Если ему ведомо было такое понятие как предательство, то он не мог простить хозяину, что тот не взял пушистого

друга с собой в дальнейшее путешествие, а бросил в стране, где вместо специальных кошачьих консервов ему варили отвратительно пахнущий минтай. Выгрузив всклокоченное напуганное животное, миглом забившееся под диван, я поспал до раннего утра и отправился в «Шереметьево» в последний раз обнять приятеля и пожелать счастливого пути (все тогда считали, что уезжающих в эмиграцию они больше не увидят).

Обнял, пожелал, сфотографировался на память. А через пару дней в редакционном коридоре меня взял за пуговицу пиджака и притянул к себе зав. промышленным отделом, парторг Николай Иванович – фронтовик, хромавший на левую ногу, любитель поддать и пощупать доступных машинисток. Дыша вчерашним перега-ром, он тихо и внятно произнес:

– Ты, мудака, зачем поехал в «Шереметьево» Винокура провожать? Он что, без тебя не улетел бы в свою Америку? Мудака.., – относилось явно не к Винокуру. – Семену на стол снимки положили, ты засвечен по полной программе.

– Кто положил? – вопрос был явно не по существу.

– Кто, кто... Конь в пальто. С Лубянки специальный конверт пришел, понял?

Дело обретало дурной оборот.

– Будем с Семеном твою судьбу решать, – и он отпустил пуговицу.

Семен Ильич, то бишь главный редактор ведущей столичной газеты, относился ко мне вполне лояльно. Первые годы приглядывался, присматривался, первые мои изданные книги не вызвали в нем энтузиазма: «у нас писатели объявились...» как-то бросил на летучке, но, признавая мою полезность как репортера, стал демонстрировать приязнь. И вот теперь перед ним со всей неотвратимостью встала дилемма: дать мне пендаля, выгнать из редакции или спустить все на тормозах.

Я ждал решения своей участи. Получить волчий билет вовсе меня не прельщало. А если не волчий, а просто увольнение, то поди устройся в хорошее место с таким шлейфом... Как прокормить жену и двоих детей... Дни влеклись мучительно медленно. Я потерял сон. Никто никуда меня не вызывал.

Наконец, парторг зазвал к себе в кабинет. Коля-хромой, так мы

называли его промеж себя, в обед, похоже, принял дозу и пребывал в умиротворении.

– Так, мудила, садись в кресло напротив и внимательно слушай. Я тебя отмазал. Семен согласился не афишировать твой глупый поступок. Тем более, ты беспартийный, с тебя взятки гладки. Забудь и не трепись нигде. В КГБ о принятых мерах сообщать не станем: они руководство проинформировали, а дальше наше дело казнить сотрудника или миловать. Ну, миловать тебя не собираемся, но и выгонять или строгий выговор объявлять незачем. Пусть все шито-крыто будет. Тебе наука, но в следующий раз за подобное семь шкур дудкой спустим...

Донельзя обрадованный, я поблагодарил парторга и помчался в винный магазин. Вечером после работы мы с Николаем Ивановичем распили поллитра «Столичной» под щедрую закуску с балыком и икрой, купленными в редакционном буфете.

Нетрудно было понять миролюбие главного редактора. Устраивать шумиху, показательный процесс с обязательным уведомлением горкома означало высечь самих себя: выходит, воспитательная работа с кадрами в газете не на должном уровне, раз ведущие молодые сотрудники позволяют себе такие выходки. Семен Ильич, умный и осторожный, все взвесил и принял соломоново решение.

Вскоре меня ждало испытание похлеще.

Я мог бы сделать по этому поводу краткое предуведомление, некое пояснение, почему случившееся так глубоко затронуло мое нутро и осталось, по сути, на всю оставшуюся жизнь шрамом в следовой памяти, немым болезненным укором, но не стану ничего писать, ибо до меня это состояние выразил исчерпывающе полно писатель, чье имя я предательски забыл (внимательные читатели помнят!), посеяв в душе смутную тревогу начала самой ужасной болезни старчества.

Существуют грехи или (назовем их так, как называет их мир) дурные воспоминания, которые человек старается забыть, запрятать в самые дальние тайники души – однако, скрываясь там, они ожидают своего часа. Он может заставить память о них поблекнуть, может забросить их, как если бы их не существовало, и почти убедить себя, что их не было вовсе или, по крайней мере, что они там

были совсем иными. Но одно случайное слово внезапно пробудит их, и они явятся перед ним при самых неожиданных обстоятельствах, в видении или во сне, или в минуты, когда тимпан и арфа веселят его душу, или в безмятежной прохладе серебристо-ясного вечера, или среди полночного пира, когда он разгорячен вином. И это видение не обрушится на него во гневе, не причинит оскорбления, не будет мстить ему, отторгая от живущих, нет, оно предстанет в одеянии горести, в саване прошлого, безмолвным и отчужденным укором.

После проводов Винокура я попал в поле зрения *органов*. То есть наверняка попал раньше, но не чувствовал, а *органы* не показывали. Я им был пока неинтересен.

Не уверен, что уготованное мне испытание произошло случайно, точнее, уверен, что – не случайно. За мной следили, а может, выдали знакомые – осведомителями, вынужденными и добровольными, Москва кишела, хотя был не приснопамятный 37-й. Уже в Америке бывший деятель идеологического фронта, инструктор горкома партии, в ельцинскую смуту предпочевший стать эмигрантом, в открытую (чего стесняться!) поведал, кто в нашей газете *стучал*. Я глаза широко раскрыл – никогда бы не заподозрил этих людей, большинство из которых женщины.

Короче, на станции метро «Белорусская-кольцевая» меня остановили двое молодых ребят неприметной наружности: встретил бы завтра – не узнал. Звучит общим местом, вполне банально, но это правда: физиономии совершенно заурядные, без какой-либо индивидуальности. Представились, бегло махнули красными корочками: сотрудники столичного управления КГБ («конторы глубокого бурения», как иногда ёрнически именовали эту организацию), заинтересовались, что у меня в портфеле.

– Ничего особенного. Книжки, – а у самого предательски заныло в средостении.

– Какие книжки? Можно полюбопытствовать?

– А зачем? – глупый вопрос вызвал улыбку сотрудников.

Меня повели в торец перрона, на эскалаторе мы поднялись наверх и оказались в милицейском отделении станции метро. Ноги мои не слушались, во рту сушь – в портфеле лежало то, что на официальном языке называлось «антисоветской литературой». Я полу-

чил сегодня вечером от Гоши, имевшего прямой выход на самиздат. В течение трех недель я должен был прочесть и вернуть – так обычно происходило. Стоило по-божески, Гоша цену не задирает.

В ментовке нам выделили закуток, я сел по команде сотрудников и те открыли мой портфель. Одна за другой на стол ложились «Архипелаг ГУЛАГ», Абрам Терц и «Доживет ли Советский Союз до 1984 года» – две последние отпечатаны на папиросной бумаге. Сотрудники не брали книги в руки, точно боялись испачкаться, а лишь передвигали указательными пальцами корешки, выстраивая в ряд.

– Итак, гражданин.., – прозвучала моя фамилия (резануло слух казенное «гражданин» – я вроде бы еще не арестован), – прошу засвидетельствовать для протокола изъятие у вас трех запрещенных изданий, – один из сотрудников, очевидно, старший, назвал их. – Вы – грамотный человек, журналист, книги **пишете**, не будете отрицать антисоветскую направленность этих изданий, верно?

– Не знаю. Я их не читал, – спонтанно вырвалось.

– Не валяйте ваньку. Вы прекрасно осведомлены, что это за книги. Кто вам их дал? Говорите! – и он повысил голос.

Я молчал. Где взял... Купил на черном рынке? Нашел на улице? Получил от друзей? Ни один вариант не подходил.

– Напомню содержание статьи 70-й Уголовного Кодекса Российской Федерации. Изготовление, распространение и хранение антисоветской литературы карается сроком заключения от полугода до семи лет и ссылкой от двух до пяти лет. Вы поняли, что вас ожидает?

Я понимал и потому молчал.

– Распишитесь вот здесь по факту изъятия антисоветской литературы. Мы вас отпускаем, пока отпускаем, а через несколько дней вызовем на допрос. Надеюсь, вы будете более откровенны, нежели сейчас...

...Первое, что я сделал, вернувшись домой, – проверил содержимое библиотеки, уместившейся в двух массивных остекленных стальных шкафах. Книг многие сотни, сомнительных и попросту опасных не было – прочитав, я не держал их дома. Единственно, забрал «Окаянные дни» Бунина и «1984» Оруэлла – тоже на папиросной бумаге. Утром вынес из дома и спрячу у кого-то из при-

ятелей. У кого, я еще не решил. Обыска, таким образом, не боюсь, никакого компромата нет, пришить «изготовление и хранение» не удастся. Остается «распространение», но как это доказать? Посадить меня, скорее всего, не посадят, но из газеты турнут. Тут уж ни Семен Ильич, ни Коля-хромой не помогут, а еще заклеят как врага народа. Веселенькая перспектива...

Соблюдая правила конспирации, как их понимал, я встретился с Гошей. Разговор состоялся на скверике у Белорусского вокзала, возле памятника Горькому. Худое, нервическое лицо Гоши с жидкой бороденкой и прической коком выражало тревогу, глаза-буравчики бегали вокруг, он беспрестанно оглядывался и курил, обнажая скверные, в желтизне, зубы. Обсуждал он свое положение, но никак не мое.

– Лягу на дно, почищу авгиевы конюшни, – сообщил он. – Раз суки лубянские взяли твой след, то наверняка я у них под подозрением.

Дошла очередь до меня. Гоша посоветовал нагло врать: дескать, купил с рук у какого-то барыги, тот вертелся на Кузнецком мосту вместе с такими же деятелями, предлагал издания по дешевке, ты и клюнул. Того барыгу ты прежде не видел.

– Не поверят, – усомнился я.

– Пусть не поверят. Помяни мое слово: ты им в качестве жертвы нафиг не нужен. Ты – ведущий журналист большой газеты, книги издаешь, им надо убедить партийные органы, что ты представляешь собой серьезную опасность, являешься ярым антисоветчиком. Доказательств у них нет, поскольку ты никакой не антисоветчик. С тобой хлопот не оберешься. Но учти: будут давить, требовать сдачи определенных лиц, с которыми ты якшаешься. Держи хвост пистолетом.

– А что с моей работой будет?

– Не знаю, – честно признался Гоша.

Вызов на допрос не заставил себя ждать. По редакционному телефону позвонил некто и не представившись, назначил встречу, притом не на Лубянке, как ожидал я, переполняемый мрачными предчувствиями и страхами, а в Хохловском переулке близ Покровских ворот. На рассвете в Москве разразилась гроза с сильными ве-

трами, небо не очистилось к полудню, набрякшее тучами, давило, скверная погода соответствовала моему настроению.

В означенное время я вошел в подъезд довоенной постройки жилого здания и поднялся в квартиру на пятом этаже. Дверь открыла пожилая женщина с очках с толстыми стеклами и хозяйственной сумкой в руках, следом вышел один из тех, кто задерживал меня в метро несколько дней назад, а женщина мигом испарилась за дверь, покинув жилье. Я был приглашен в гостиную с темным паркетным полом и такого же колера массивным полированным обеденным столом и книжной стенкой. Я понял, что попал в одну из лубянских явочных квартир, а женщина была ее хозяйкой.

За столом сидел белобрысый полноватый человек средних лет с отвислыми щеками-брюлями. Ответив на мое приветствие небрежным кивком, он, не вставая, жестом указал на стул напротив. Я сел.

– Майор госбезопасности Гнидин Петр Павлович, – представился незнакомец. – Моего коллегу Вячеслава вы уже знаете, – легкий посыл головой в сторону занявшего кресло в углу комнаты сотрудника.

Гнидин... Уж не родственник ли рецензента моих ранних рассказов, внезапно выплыло из закоулков памяти. А что, все может быть.

Майор, не мешкая, приступил к исполнению своих обязанностей.

– Допрос будет без протокола, собственно, это не допрос, а так, беседа. Итак, вы знаете, в чем вас обвиняют. Запираться бессмысленно, вас взяли с поличным. Вам грозит 70-я статья УК РСФСР. У меня вопрос: от кого вы получили книги антисоветского содержания?

Я последовал совету Гоши и начал плести историю о покупке у какого-то неизвестного мне барыги на Кузнецком мосту, но Гнидин прервал:

– Бросьте лапшу навешивать, никто в вашу версию не поверит, ни мы, ни суд. Не хотите быть с нами откровенным, дело ваше, такое неумное поведение только усугубит вину.

Мы еще несколько минут потоптались возле моей версии, я пробовал описывать барыгу, Гнидин растягивал губы в презрительной улыбке. Наконец, ему это надоело.

– Так, достаточно. Теряем время. В конце концов, нам все рав-

но, где вы добываете крамолу. Поверьте, мы знаем основные источники... А скажите, в каких вы отношениях с поэтом...

Прозвучавшая фамилия была мне хорошо знакома, как и обладатель ее. Мы не были близкими друзьями, но иногда виделись в разных компаниях. Печатали поэта редко, он не принадлежал к популярным личностям, в публичных чтениях на площадях и в Политехническом музее не участвовал. Некоторые считали его антисоветчиком. Покуда не понимая, куда клонит майор, я не стал отпираться: да, знаю, ну и что, что из этого проистекает?

– Нам известно: изредка вы снабжаете его запрещенной литературой, верно?

Это была правда – обмен той самой литературой происходил у нас периодически. Я давал читать ему, он – мне.

– Так вот, вы передадите поэту несколько книг и пару журналов. И всё. На этом миссия ваша закончится. А мы учтем это обстоятельство при вынесении решения по вашему вопросу.

Меня как обухом по башке ударили.

– Петр Павлович, если я правильно понял, вы меня толкаете на провокацию: я впарю поэту автисоветчину, а вы возьмете его за жабры, проведете обыск, **изымете** книжки и журналы, которые через меня сами ему подсунули, и загремит поэт в тюрьму.

– Ну, грубо говоря, вы правильно поняли. Только не надо этих словечек – «провокация» и...

– Я категорически отказываюсь, – перебил я майора.

Гнидин переглянулся с Вячеславом, пожевал губами, хмыкнул.

– Ну, тогда в то самое место, которое вы упомянули, придется загреметь вам.

Наступила долгая пауза. В мозгу моем неистово вращалась центрифуга, гнавшая мысли с бешеной скоростью, я пытался найти приемлемый вариант спасительного ответа и не находил. Возможно, его и не было – я находился в чужих безжалостных руках. Внутри тошнотно заползал серый липкий комок утробного страха.

– Допустим, я передам книги, но, проведя обыск, вы засветите меня, – произнес кто-то другой, не я, некий чужой в моем облики, допреж незнакомый.

– Вам не следует беспокоиться, – Гнидин облегченно выдохнул.

– Во-первых, у поэта, мы полагаем, подобного говна и без ваших

изданий хватает. Во-вторых, мало ли кто что ему приносит. Всех подозревать? Пускай подозревает, для вас это хорошо.

Теперь уже не некий чужой, незнакомый, а я сам попросил три дня на раздумье. Майор пресек мою потугу потянуть время.

– Нечего думать. Сейчас решайте.

Я представил на мгновение, как лишаюсь работы и остаюсь один на один с проблемой, чем кормить семью, как все мое завидное по многим факторам положение вмиг рушится, как дом при землетрясении, превращается в кучу обломков...; наконец, где гарантия, что эти уроды не потянут меня в суд... Гоше легко рассуждать, ему особо нечего терять, он мелкий фарцовщик запретным, конечно, рискует, но это его заработок. А я, какая судьба ждет меня...

Мой утробный страх вырос снежным комом и стал пропорционален опасности, с которой я столкнулся. И я согласился.

Вячеслав протянул мне довольно тяжелый целлофановый пакет, вложенный в авоську, и пояснил:

– Здесь самиздат и тамиздат: Зиновьев «Зияющие высоты», Оруэлл «Скотный двор», рассказы Шаламова, Авторханов «Происхождение партократии», пара номеров «Граней» и «Континента». Не торопите его, пусть читает с чувством, толком, расстановкой. Мы с обыском спешить не станем. Верно, товарищ майор?

– Посмотрим, – неопределенно буркнул Гнидин.

После вынужденного визита в квартиру в Хохловском переулке я не вернулся на работу, гулял по бульварам и заново переживал случившееся. Летний июльский день катился к вечеру, выглянуло робкое солнце. Авоська оттягивала руку, захватить с собой портфель я не догадался. С каждой минутой я все больше проникался ужасом содеянного. Никогда прежде не представлял себя в роли подлеца, коим теперь мог оказаться. Как муха, попавшая в липкую паучью сеть, я мельтешил, пытался вырваться из тенет и еще больше запутывался. *В двух шагах от науки муха пляшет гопака и поет в такт гопака: не боюсь я наука!* Вот и я плясал – и доплясался.

Гуляя по бульварам, постоянно оглядывался – всюду мерещились соглядатаи.

Я позвонил Гоше из телефонной будки, изменил голос, он узнал и, молодец, не назвал мое имя. Я почему-то уверил себя, что Гошин телефон прослушивается.

Мы договорились встретиться у метро «Новослободская», недалеко от его жилья. Ни слова не говоря, я утянул его в подземку, мы поколесили, сделали две пересадки и вылезли на свет божий в Измайлово. Рассветная гроза побила ветром деревья парка, склизкие листья валялись тут и там, прилипали к подошвам. Я подумал: вот так и я робким листочком подмят чужим безжалостным ботинком. Гоша ехидничал по поводу моего, как он выразился, «воспаленного воображения», попытки уйти от слезки, которой, по его мнению, не было и в помине. Я не реагировал на подколки, настроение было кошмарное, и лишь углубившись в чащу парка, подробно рассказал о беседе с лубянцами.

– Ты согласился? – переспросил Гоша.

– А что было делать?

– Ты по-своему прав. Тебе есть что терять. А от меня-то чего хочешь?

– Придумай что-нибудь. Ты – ушлый малый.

Гоша проникся задачей, он видел в ней род игры, достаточно рискованной и оттого манящей. Я завидовал легкости Гошиного отношения к жизни, я выглядел его прямой противоположностью.

Думали-гадали и пришли к согласию: поэта надо срочно предупредить. Пускай немедля очистит хату, вынесет весь компромат. Но как предупредить? Звонить, встречаться – не годится. И Гоша придумал.

– Сочиним записку и попросим кого-нибудь занести ему и передать в руки.

Тут же родился текст, Гоша накалякал левой рукой, вышли караули, что и требовалось, никакая графологическая экспертиза не подтвердит авторство, так нам казалось.

Мы двинулись с пересадкой на Преображенку. У девятиэтажного панельного дома, где обитал поэт, на лавочках сидели старушки, вокруг носилась детвора. Я позвонил из автомата, услышал голос поэта, сказал, что хочу к нему заскочить ненадолго.

Не стану описывать кошмарные минуты моего свидания с поэтом. Видимо, на моей физиономии отпечатались переживания последних часов, поэт даже поинтересовался, не случилось ли чего. Я для порядка поинтересовался его делами, поэт сказал, что очередное безденежье толкает смыться в Армению к приятелю, обещаю-

щему творческие вечера, переводы местных поэтов с армянского на русский, словом, кое-какой заработок. Жена и дочка присоединятся попозже, когда он обустроится на новом месте. Хочет пробыть там до начала сентября.

Я вручил ему авоську и распрощался, сославшись на срочные дела. Уговорились, что заберу прочитанное через полторы недели – до этого времени поэт, по его словам, будет в городе.

Гоша ждал меня напротив дома на детской площадке. Оставалось самое главное – вручить записку. Мы решили осуществить операцию следующим вечером. Гоша сказал, что мне появляться у дома нельзя, и я с ним согласился. Завтра к семи часам вечера он подъедет сюда с надежным малым, который за червонец исполнит что нужно. Малый слесарит на автобазе, к книгам никакого отношения не имеет, просто хочет заработать на бутылку и хорошую закуску. Я отдал Гоше червонец.

Все вышло как нельзя лучше: Гоша позвонил поэту, тот ответил, Гоша бросил трубку, слесарь поднялся на пятый этаж, позвонил в дверь, поэт открыл, малый вручил ему записку, сказал, что это очень важно, добавил придуманную Гошей фразу: «Обсуждать записку ни с кем не стоит, ибо квартиру вашу, скорее всего, прослушивают» и, не дожидаясь лифта, бросился по лестнице вниз, оставив поэта в недоумении и растерянности.

Я ждал кары – все было сшито на живую нитку, с отчаянной решимостью был готов принять ее, но кары не последовало. Майор Гнидин оставил меня в покое, меня никуда не вызывали. Так я и не знаю, был у поэта обыск или не был. По неясным слухам – был, кое-что нашли, но возбуждать дело почему-то не стали. Поэт на сию тему не распространялся, больше спросить было не у кого – не Гнидину же звонить... Закралось подозрение: а не провернули ли с поэтом ту же комбинацию, что и со мной? Может, и он по просьбе-приказу того же майора отнес кому-то крамольные книжки... Подумал – и отбросил нелепое предположение, хотя почему же нелепое: ни за кого нельзя поручиться – так думать мне было спокойнее.

Поэт через год уехал из страны по израильскому вызову и осел во Франции, а потом в Германии. Жил он тихо-спокойно, печатал стихи и прозу в иммигрантских изданиях, шума вокруг своего имени не создавал.

А меня *контора глубокого бурения* не забыла – уже не Гнидин, а другой лубянский тип вызвал на разговор и предложил писать аналитические отчеты по ситуации с инакомыслием. «Ни к каким секретным операциям мы вас привлекать не собираемся, нам гораздо важнее ваше мнение по тем или иным вопросам диссидентства», – заверил меня. Ну и хорошо, сочинять аналитику даже приятно, можно выговориться, дать советы лубянским *бурильщикам*, которым все равно следовать не будут.

Я вытребовал себе право писать резко, не стесняясь, говорить правду, как я ее понимал, отчеты мои куратор хвалил, однако просил-требовал указывать имена тех, с кем я беседовал на острые темы. Анонимность моих свидетельств не проходила – требовалось, скрепя сердце, называть конкретных людей, однако, не желая впутывать их в неприятные истории, я наделял многих собеседников вполне лояльными высказываниями – вовсе не антисоветскими, а, как мнилось, умными, своевременными, пусть и в меру дерзкими – придрататься невозможно. Куратор предлагал деньги, я отказывался.

Так продолжалось до начала 90-го. Потом обо мне забыли, и я с облегчением вздохнул.

Но что-то во мне изменилось, стронулось, сместилось, как смещаются горные плиты перед землетрясением. Никто не знает меры вины, и никто не ведает, чем можно искупить когда-то совершенное – иной раз достаточно искренне раскаяться и забыть, а другой раз не хватит и всей жизни, чтобы ответить перед Богом за грех. И еще я думал о том, что подлости и преступления совершаются сначала от страха, потом от ужаса содеянного, а потом по привычке, и еще думал, что далеко не все жертвы – добрые, а палачи – злые, их порой легко можно поменять местами. Сколько же таких, как я, попавших в ловушку, действующих по принуждению (а многие – и добровольно), числятся в реестре *конторы глубокого бурения* – тысячи, миллионы, десятки миллионов? Люди, ставшие доносчиками, осведомителями, стукачами, секретными агентами. Остающиеся на свободе – и утопившие в дерьме собственную совесть. Свыкшиеся с таким положением, заставившиеся замолчать идущий из глубин души повелительный голос – и страдающие, стыдящиеся и презирающие самих себя.

Меня одолевало нечто вроде тихого помешательства. Втемяшилось и не находило рассудительного ответа: существуют в физике закон сохранения энергии, закон сохранения массы вещества, а закон сохранения вины существует? Бередящие вопросы наслаивались на робкий, ползущий изнутри подобно сожалительному вздоху приказ: прекрати вершить суд над собой. Кто дал тебе это право? Ты же не чокнутый, любишь себя, не желаешь себе беды. Хватит самодетства, самоистязания, мазохизма... Тренируй память, чтобы научись забывать. Но нутро отвергало доводы рассудка.

За три месяца я единым махом написал повесть, ставшую чуть ли не бестселлером. Сталинский охранник, давно покинувший *органы* и резко поменявший отношение к вождю, встречается в пансионате отдыхающего, как две капли воды похожего на директора завода, которого охранник задержал во время первомайской демонстрации по подозрению в попытке покушения на Берия. Как выяснилось, никакой попытки не было (жена настучала на мужа), охранник задержал невиновного, чья дальнейшая судьба осталась в тумане, возможно, сгинул, а теперь бывший телохранитель уверил себя, что отдыхающий в пансионате – сын директора. Оказалось, ошибся – но перед этим, подружившись с ним, поведал историю, *занозившую* (закон сохранения вины...) на долгие годы, и не нашел понимания и сочувствия.

Такой вот сюжет. Спустя четверть века превратилась повесть в аудиокнигу, к немалой моей радости и гордости – слушает народ, значит, не даром написана... А насчет придуманного мной закона... до сей поры не уверен в его существовании, но для меня он точно не пустой звук, а предмет мучительных раздумий.

13

Новое ньюйоркское житье-бытье пришлось мне по вкусу. Я снял за 600 долларов маленькую студию в Квинсе с газовой плитой внутри комнаты, ездил в манхэттенскую редакцию на метро, работал по 10-12 часов, зверски уставал и был счастлив. Тогда же вызрело и оформилось: я могу жить только в двух городах – Москве и Нью-Йорке. В Москве я уже жил, теперь настал черед *Армагеддона, города последней битвы*.

Я продержался в газете полтора года. Тираж вырос с четырех до двенадцати тысяч экземпляров. В один момент я почувствовал,

что надо уходить. Издатель не мог пережить успех газеты, приписываемый молвой не ему, честолюбие и зависть сжигали его, лишали покоя. И я принял предложение перейти в новое издание. Волей случая я оказался в толстенной рекламной газете с более-менее приличной по меркам такого рода занятия зарплатой и медицинской страховкой. В выходных данных я значился редактором, что соответствовало характеру выполняемых мною обязанностей; эта же должность высвечивалась на экранах мониторов общеамериканского канала русского телевидения, куда меня пригласили участвовать в программе «Встреча с прессой».

Русский газетный бизнес переживал подъем, читателей изрядно прибавилось, наше издание вполне соответствовала вкусам большинства – рассказывать о вживании иммигрантов в новую жизнь, при этом ничуть не забывая оставленное на родине. Мне не довелось присутствовать при рождении ньюйоркских русских рекламных газет в самом начале 90-х, а меж тем история их возникновения не лишена удивительных и обескураживающих подробностей («*все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!*»). Наслышанный о ней и заставший некоторых ее героев, позволю себе приоткрыть завесу над тем, что особо и не скрывалось.

Вообразим подвал или бейсмент, говоря по-американски, жилого бруклинского дома далеко не первой молодости, за столом орудуют ножницами и клеем пара-тройка людей, перед ними кипа свежих, только что доставленных самолетом московских газет и журналов, участники операции под водительством некоего Оскара Выгребного (назовем его так) лихо вырезают статьи, наклеивают на крупные бумажные листы-макетки и складывают пачками. Затем макетки отправляются в типографию, и на следующее утро специально нанятые водители развозят тираж отпечатанного еженедельника «Гонец» по газетным киоскам, русским медицинским и юридическим офисам, магазинам, кафе, ресторанам и прочим местам, где кучкуются наши иммигранты. Разве не гениально придумано: затраты минимальные, никому из авторов не платят ни цента, а прибыль будь здоров, с учетом продажи каждого экземпляра в полдоллара и денег от рекламных объявлений, которых в газете уже больше половины страниц и с каждым разом она толстеет и толстеет, словно беременная...

Помилуйте, это же беззастенчивое воровство! – воскликнете вы в негодовании. – Тексты «Гонца» украдены у московских изданий и авторов! Ну и что, спокойно ответит Выгрешной, мы, конечно, рискуем, но риск – дело благородное, кто не рискует, тот не пьет шампанское... Читателям же по барабану, как мы добываем тексты, им интересно читать, «Гонец» востребован, тираж разлетается как горячие пирожки. За жопу нас еще никто не взял...

Так все начиналось.

Примеру удачливого издателя последовал хозяин другой рекламной газеты Гаврик, пригласивший меня редактором. С той лишь разницей, что оформил жульничество, то бишь экспроприацию московских статей, более *кошерно*: через некоторое время компьютерчики стали сканировать тексты и выдавать на полосы в нормальном виде, чересполосица шрифтов прекратилась.

Я пришел в еженедельник, когда объем его превысил триста страниц. Вскоре мы подобрались к четыремстам. Издание-монстр завоевывало рынок, прибыль хозяина росла. Мне же предстояло заниматься журналистикой как вторсырьем...

В прежней жизни я не встречал таких людей. Как-то вот дороги наши расходились. У Гаврика были странные, остановившиеся глаза, казалось, ты смотришь в пустые зрачки, чем-то он напоминал хорька; носил он цветные свитера, в пиджаке я его почти не видел; стригся очень коротко, типа полубокса, разговаривал подчеркнуто спокойно и тихо – очевидно, усвоил правило: чем тише говоришь, тем тебя лучше слышат, но иногда, в самый неожиданный момент, взрывался; когда он появлялся, краски сгущались, небо темнело – от него исходила сильная, чисто животная, злая *энергия*, завораживающая волна смутной угрозы. Я обратил внимание на его кисти, маленькие и некрасивые. Слыл Гаврик любителем женщин.

С самого начала я мысленно надевал на работе своего рода противогаз, в нем было все по-настоящему: шлем-маска, очки, клапаны вдоха и выдоха, переговорное устройство. Я словно готовился к отражению химической атаки – закрыть доступ ядовитой информации, по возможности видеть и слышать творящееся в редакции через фильтры... Я убеждал себя, что поступки и действия совершает мой двойник, который в точности похож на меня. Синдром

Капра. Еще не болезнь, но уже близко... Не сразу стало получаться, но в итоге я сберегал нервы.

Старик, отец Гаврика, отвечал в газете за подбор ворованных публикаций о криминале и за эротические статьи. Эотику Гаврик обожал и требовал самых крутых материалов, на грани порно. Я как мог сопротивлялся, выдвигал соответствующие аргументы, Гаврик морщился и всем своим видом показывал: вы, Даниил, профи, признаю, однако в сущности гнилой московский интеллигент, для вас существуют приличия, а наши читатели – народ простой, им жареное подавай, например, про минет или кунилингус... Ну и что, что потом звонят и кроют последними словами за, как вы говорите, пошлость и гнусность, зато читают, газету расхватывают, а для нас это самое главное.

Будучи страшно далек от газетного ремесла, не прочитавший ни одной книжки кроме низкопробных детективов (сам утверждал с долей тщеславной гордости), не в ладах с элементарной грамотешкой, Гаврик зрил в корень. Я отдавал должное его звериному бизнес-нюху. Тиражи росли, реклама работала.

Одной из действующих фигур был отец Гаврика. С утра он обкладывался московскими глянцевыми журналами с полуголыми бабами в самых разных позах и смаковал прочитанное, отбирая «самое-самое». Находиться рядом с ним не представлялось возможным: в немислимых количествах он поедал чеснок, справедливо видя в нем эликсир здоровья. От него волнами исходило чесночное амбре. Старик и в самом деле выглядел крепким и бодрым, я про себя прозвал его Фроимом Грачом.

Ко мне он относился вполне уважительно, по-доброму. Любил травить байки из одесской жизни цеховиков: как, например, изготавливал и продавал малярные кисти, выходявшие из строя через месяц-другой. Сетовал, что хотел наладить такой же бизнес в Нью-Йорке, но не получилось: «У этих американцев жесткие требования к качеству, если давать качество, не заработаешь ни хрена»...

Старик жаловался, что чеснок не помогает сохранить мужскую силу, а он до баб был весьма охоч...; и деньги есть, а силы нет, вот и остается смотреть картинки и облизываться...

Редакция располагалась в выкрашенной в белое избушке на курьих ножках: по ступенькам немногочисленные сотрудники под-

нимались в трехэтажное низкопотолочное здание, на среднем и верхнем этажах размещались приемная, бухгалтерия и рекламная служба, а собственно редакция сидела в бейсменте. Уже потом, словно устыдившись бьющей в глаза нищеты помещения крупнейшего русского рекламного издания, Гаврик построил рядом вполне приличное кирпичное сооружение с просторными комнатами, мне довелось проработать здесь пару лет...

Так вот однажды... По какой-то надобности я поднялся в приемную, где сидели старик, лениво рассматривавший эротические картинки, менеджер Лариса, красивая жгучая брюнетка, лицо газеты (ее знал весь русский Нью-Йорк) и двое рекламодателей, скорчившихся над столом, заполняя бланки объявлений. Кабинет Гаврика находился по правую руку от входа.

Внезапно дверь кабинета распахнулась, на пороге возник красный от гнева Гаврик.

– Папа, сколько раз я просил тебя не посылать рекламодателей на хуй?!

Старик встrepенулcя, вжал седую голову в плечи (мы знали – он до смерти боится сына) и залепетал несвойственным ему униженно-просительным тоном:

– Что ты, Гаврик, я никогда не посылал на хуй. Лариса, скажи..., – обратился за помощью.

– Посылал, папа, мне звонят и жалуются на тебя! – Гаврик кипел. – Ты подрываешь мой бизнес...

Приемная опустела – пара напуганных подателей объявлений вмиг испарилась.

Я приблизился к столу Ларисы и ждал развязки.

– Я вас сейчас научу, как разговаривать с рекламодателями! – фраза равно относилась к отцу, менеджеру и, возможно, ко мне, хотя моя хата была с краю. – Лариса, первого, кто позвонит по рекламе, соедини со мной, я оставляю дверь открытой...

Гаврик ушел к себе, мгновением позже раздалась телефонная трель, Лариса сняла трубку, осведомилась о цели звонка и перевела на Гаврика, сообщив, что позвонивший будет говорить с боссом.

– Здравствуйте, спасибо, что позвонили в нашу газету. Какое объявление вы хотите дать? – Гаврик звучал медоточиво, демонстрируя самую любезность и учтивость. – Ага, рекламу два на три

инча, без фото или рисунка, понятно... В рамке или без рамки? Я имею в виду тонкую рамку, которая придаст вашему объявлению дополнительный товарный вид. Цена? Без рамки пять долларов, с рамкой восемь. Почему такая разница? Ну как почему? Рамку дизайнеру надо делать... Сами не знаете, что выбрать? Если вы не знаете, то откуда я могу знать? – медоточивость голоса начала таить, как снежинки под солнцем. – Вы сами откуда будете? – вдруг спросил Гаврик. – А, из Москвы... Тогда понятно... Что понятно? Да то, козел ты долбаный, гандон дырявый, что жалеешь три бакса, не понимая собственной выгоды. Что, не материться? Да пошел ты к ебаной матери, мне твоя реклама на хуй не нужна! – он с треском бросил телефонную трубку на рычаг.

Лариса, прикрыв глаза ладонью, заходила в истерику, по возможности стараясь гасить звуки угарного смеха, ее большая грудь колыхалась в такт хохоту, я ржал открыто, не стесняясь, старик изображал вымученную улыбку. Гаврик зло захлопнул дверь кабинета...

Что еще хранит память... Да много чего. Например, планерку, едва не закончившуюся слезами милой Маргариты Михайловны. Ее, немолодую сотрудницу главной русской газеты, почившей в бозе незадолго до празднования столетия существования, Гаврик пригласил редактором дочернего издания, в сущности, такого же, как и основное, но более ориентированного на развлечения, не исключавшего, впрочем, похабели на тему обожаемой боссом эротики. Я проинструктировал новую редакторшу перед первой для нее планеркой, что такое Гаврик и какие материалы ему по нутру, а от каких тошнит. Она вроде все поняла.

Обсудив готовящийся номер большой газеты, перешли к маленькой, Гаврик поинтересовался, какую интересную статью новая редакторша предлагает в открытие, и тут прозвучало:

– Исполняется семьдесят лет со дня рождения Николая Рубцова. Я нашла прекрасное интервью с ним.

Установилась тишина, не постесняюсь эпитета – могильная. Я понимающе переглянулся с коллегой Мишей, бывшим сотрудником московской газеты, старым моим приятелем, которому помог устроиться в еженедельник Гаврика почти сразу по его **приезде** в Нью-Йорк. Гаврик сидел молча, накупившись, верхняя губа накрыла

нижнюю, изображая мыслительный процесс. Старик усердно ковырял в носу.

Наконец, Гаврик выдавил из себя:

– Кто такой Рубцов?

– Ну как же.., – захвохтала Маргарита Михайловна. – Крупнейший русский поэт, безвременно скончался.

– Даниил, вы знаете такого поэта? – спросил Гаврик.

– Разумеется. Действительно, выдающийся поэт, – надо было спасти редакторшу.

– Миша, а вы знаете такого поэта?

– Знаю. Погиб по пьяни, – ввернул Миша неизвестно для чего.

– Папа, а ты знаешь такого поэта?

Старик вынул палец из носа.

– Нет, Гаврик, не знаю.

– Вот и папа не знает, – подытожил босс.

Редакторша тяжело дышала, круглые щеки рдели, я боялся, ее хватит удар.

– Маргарита Михайловна, запомните раз и навсегда: никакие Рубцовы мне на хер не нужны. Криминал, эротика, скандал – вот что мне нужно. Забудьте то, чем вы занимались в прежней великой газете. Она на помойке сегодня, а наш еженедельник цветет и пахнет. Понятно?

...Я провожал редакторшу до метро.

– Даня, что за люди.., выставляют напоказ свою убогость и гордятся ею..., – она едва не плакала.

– Милая Марго, примите сие как данность. Не мы им, а они нам дают работу, это их время.

...Через две недели Гаврик ее уволил.

Что дальше происходило в пору пребывания в раздобревшей, отъездившей на воровских харчах газете? А происходило следующее. Я придумал разделение на секции по темам и направлениям – в итоге искать и находить нужные рубрики стало много легче. Гаврик хвалил сквозь зубы, однако прищур его неподвижных глазенок не сулил ничего хорошего.

С промежутком в три года в Москве вышли в свет два мои новых романа. Я старался не афишировать, но шила в мешке не ута-

ишь – и Гаврик не преминул упомянуть на очередной планерке мой успех. При этом физиономия его выглядела так, будто проглотил пол-лимона целиком: загружаю редактора по полной, пашет по моей милости по десять-двенадцать часов и еще находит силы книжки сочинять. Эти долбанные москвичи – все-таки люди иной породы, не одесситы-сибариты...

Мы с коллегой Мишей случайно узнали, что в редакции установлены скрытые камеры. Неизвестно, во всех ли комнатах, но в кабинете, где я работал вдвоем с Мишей, – точно. Произошло это после переезда в новое помещение. Приходилось говорить промеж себя осторожно, включая внутренний контроль. Имя Гаврика договорились вовсе не упоминать, вывести за скобки.

Я подумывал об уходе, но как-то вяло, неактивно. Надоело до чертиков, тем не менее, лучше работы не имелось, рынок начинал скукоживаться, эмиграция замедлилась, старики помирали, молодежи наша газета была до фени.

И в этот момент в редакции появился новый литсотрудник Гриша Тригорский. Босс переманил его из наступавшего на пятки издания, в котором Гриша лепил статейки на социальные темы, заимствованные из американских источников. Их требовалось перевести на русский и перелопатить. Гриша набил на этом руку. Самодовольный, упертый, с не очень внятной дикцией, пришепетывающий, он выдавал тексты плоские и невыразительные. По-иному излагать бывший школьный учитель не мог, имея к журналистике такое же отношение, как я к китайской грамоте, и этим нравился Гаврику. Они были почти одного возраста и на «ты», что удивило.

Пару раз я завернул Тригорскому его писания, попросив кардинально переделать посконный стиль. Тот в ответ неожиданно вызвился, перешел на скандальный фальцет и был изгнан из кабинета.

Меня озарило предчувствие: хамски отреагировать на просьбу редактора может тот, кто априори не боится испортить отношения, кто чувствует за собой силу и поддержку. Это могло быть при одном условии – Гаврик готовит мне замену в лице Тригорского.

Повторю, все мне осточертело, но я слишком много сил и старания вложил в то, чем занимался у Гаврика, чтобы вот так скоропалительно сдать и уйти. С другой стороны, следовало хлопнуть дверью после неизбежно возникавших конфликтов, что я проделыв-

вал дважды, вынуждая босса извиняться и просить меня вернуться. Заменить меня было некем. Теперь замена, похоже, нашлась, она бродила по коридору, речь с пришепыванием отдавалась ноющей зубной болью.

Я решил исподволь внутренне готовить себя к уходу, *чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.*

Подсидживавший меня Тригорский выжидал, словно бандит в засаде, получение редакторского кресла. Спустя полгода, одним ранним летним утром, старик объявил мне решение сына больше на работу не приходить. Старику было стыдно, он прятал глаза. Гаврик обошелся без объяснений, так оно и лучше.

Больше мы не виделись. Нет, вру, через пару лет в декабре на *парты*, или, как изъясняются в России, на *корпоративе* русского телеканала, Гаврик подошел к нашему столу и поздоровался. Я встал и демонстративно спрятал руки за спиной. Гаврик потоптался, криво улыбнулся и что-то буркнул. Что, я не расслышал...

Года идут – честь сохранять все проще... Кто-то удачно придумал. Древний римлянин сформулировал еще точнее и безжалостнее: *стыд и честь – как платье: чем больше потрепаны, тем беспечнее к ним относишься.* Стараюсь не щадить себя, не выгораживать, не искать оправданий – на суд над собой отпущено слишком мало времени. Предвижу возражения: мил человек, не мучай, не разрушай себя, наоборот, люби себя, прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хорош, с тобой всё в порядке. Нет, не всё. Далеко не всё в порядке, иначе бы не затеялся весь этот разговор. И не отношусь я беспечно к испытаниям чести, а по сей день злюсь на себя: почему поступил так, а не иначе, и не нашел сил послать подальше девушку с нервным помаргиванием, предложившую приличную редакторскую работу, наконец, почему не открыл глаза тому, кого с моей помощью собирались уволить?

История Тригорского повторялась теперь уже со мной, оказавшемся в его незавидной роли.

Девушка с нервным помаргиванием по имени Вета была мейнджером газеты-отпочкования популярного московского издания. Питалась дочерняя ньюйоркская газета в основном московским товаром и статьями нескольких местных авторов. Выглядела она

много чище рекламного еженедельника с раздувшимися боками, в котором я отпахал десять лет: из интернета и глянцевого журналов ничего не воровалось. Ну, почти ничего.

С Ветой мы были знакомы шапочно. Она неожиданно позвонила, предложила встретиться и кое-что обсудить. Я приехал в Манхэттен, в какой-то забегаловке неподалеку от Уолл-стрит состоялся разговор, посеявший надежды, сомнения и смутное предчувствие опасности.

Вета изложила суть дела. Фразы она не произносила, а скорее выстреливала – энергично, напористо, решительно, тон их сочетал язвительность и уничтожение того, о ком шла речь, частое помаргивание наподобие тика выдавало особу болезненную и портило милостивое личико.

Без хождения вокруг да около и соплежуйства менеджер предложила мне возглавить газету. «Нынешнего редактора уволят, я согласовала с Москвой: он желает отбыть в отпуск, наплевав на мое мнение, что сейчас по ряду причин для этого не лучшее время, а я, между прочим, не меньшая начальница, чем он... Есть у меня к нему и другие претензии... Насчет его увольнения распространяться ни в коем случае не следует – пускай летит в свою Испанию, через пару недель вернется, и тогда я объявлю ему вердикт. Будет повод – нарушение дисциплины, уход в самоволку...».

Редактора я знал, пару раз бывал у него дома, мы выпивали и болтали на литературные темы. Кирилл был неплохой малый, во всяком случае, профессионал. И вот теперь я невольно становился соучастником тайного замысла лишить его работы, то есть куска хлеба.

Эту занозистую мысль я попытался упрятать, а сам начал спрашивать менеджера об условиях: какая зарплата, будет ли медицинская страховка и так далее. И чем яснее все становилось, тем острее колола заноза и мнилось, что рядом сидит Тригорский и нагло ухмыляется.

– Так вы согласны? Я могу уведомить Москву? – напирала Вета.

– Дайте денек-другой подумать. Я сообщу о решении, – попросил отсрочку.

На том и сошлись.

Отпущенные два дня мигом истаяли, как снег на солнце.

Я без конца прокручивал пленку разговора с менеджером. На душе было кисло, никакой радости от возможности обретения работы, скорее наоборот. Позвоню Кириллу и сообщу о кознях менеджера, пусть отменит Испанию и выбьет у нее козырь. Авось пронесет и останется на своем посту. Мне с Ветой детей не крестить, ну, обидится, даже прогневается – плевать на нее.

Тригорский перестал хихикать и как побитая собака уполз в свою конуру. Я испытывал гордость за себя.

Кириллу я не позвонил. Стойкость покинула меня. Некто, угнездившийся внутри, трусливый и пакостный, уговорил: проку от твоего звонка не будет, редактора все едино турнут, менеджер, видно, крепко завязана с Москвой, так что брось донкихотствовать, бери предложенное и вперед и с песнями...

Через две недели я переступил порог новой газеты.

Кирилла после этого увидел единственный раз в театре и спрятался от него. Нестерпимо жег стыд. Кирилл устроился на хорошую работу, чувствовал себя, по слухам, замечательно, и это немного смягчило степень моей самоказни.

...Истории про Тригорского и про себя я вынес на суд двух знакомых американцев. Оба сошлись во мнении: я совершенно напрасно имею претензии к сменившему меня на посту редактора и уж тем более зря стыжу и извожу себя. Нет никаких поводов. Так везде и всюду, это бизнес, у него свои законы, вам, наивным русским иммигрантам, не понять. От такого объяснения легче почему-то не стало...

...Отчего случается такое: среди ночи или в разгар дня толчком и обмиранием в груди рождается томящая, неотпускающая боль, и мы начинаем жить с ощущением ее постоянного присутствия. Она словно доносится из детства, когда мы еще способны плакать и чисто любить, когда незащищенная душа не обросла коростой и ложь воспринимается совершенно противоестественной; свившая гнездо внутри нас взрослая боль напоминает о непоправимом, об утрате по нашей вине невозвратно-дорогого, о недовершенном и несостоявшемся, она то замолкает на время, то буравит насквозь, и не унять ее доводами рассудка и самоуговорами. Мысли кружат и кружат,

черные и смутные: можно ли что-то изменить и поправить вокруг, можно ли изменить и поправить нас самих, свыкшихся с земным мельтешением? А неминуемая боль-древоточец продолжает жить и угрызать – наша неотвязная память, наш беспощадный прокурор.

14

Время после операции пролетело моментально, я опомниться не успел. Время летит неудержимо, когда жизнь скучна и монотонна, и тащится улитой, когда многолика и разнообразна. Каждый три месяца я сдавал анализы в госпитале, они попадали на стол к доктору Кларку, тот считал, что все идет нормально. Метастазы не обнаруживались, живот опал, я чувствовал себя неплохо, но жизни особо не радовался. Одиночество нельзя заполнить воспоминаниями, они лишь усугубляют его. А что взамен воспоминаний? А ничего. Я не бегу близости людей: как раз даль, извечная даль, пролегающая между человеком и человеком, гонит меня в одиночество. Я был достоин сожаления и жалости, которые не позволял проявить никому, и потому чурался общества.

Ася изредка звонила, несколько раз мы обедали в приятном японском ресторанчике неподалеку от моего дома на Шипсхедбэе, ко мне в гости она не шла, на интим наложила табу. Я смирился с этим. Новых знакомств не заводил, да и кандидаток делить со мной ложе не находилось.

Дочь приглашала отдохнуть в Калифорнии, я выбрался в Сан-Диего на две недели. Двухэтажный дом на холме в Del Mar Heights с четырьмя спальнями и маленьким бассейном в красивом каменном обрамлении целыми днями был в моем распоряжении – Ира и Генрих пропадали на работе, Джонатан заканчивал третий курс в Гарварде. Я немного работал над заказной книжкой, устроившись у бассейна и любуясь потрясающей панорамой разбросанных внизу белых домов.

Было тепло, я загорал, в выходные дочь и зять возили на океан, на пляже мы соревновались в бочке – подкидывали металлические шары, стремясь приблизиться к главному шару. Таня приезжала несколько раз, мы разговаривали, играли «в дурака». Она жила одна в государственной квартире, ни в чем не нуждалась, растолстела, жаловалась на боли в коленях, оперироваться

боялась, так как в результате неудачного исхода существовал риск остаться полным инвалидом. Будучи за рулем, не имела проблем с передвижением. Лишь изредка сетовала на скуку, особенно переживала, что не может видеть внука-студента, которого вырастила.

Со мной вела себя ровно, не вредничала, не задавала ненужных вопросов, но нет-нет я ловил ее *прежний* осудительный взгляд – за свое одиночество бывшая жена в душе продолжала корить меня. Происходило непроизвольно, на уровне рефлекса. Мне становилось не по себе – я и впрямь начинал чувствовать вину, хотя никакой вины не было, просто так сложилось.

Наконец, приехал на каникулы Джонатан, и я получил возможность пообщаться. Последний раз я видел его пару лет назад. Внук вытянулся, возмужал, окреп, разговаривал со мной обрывистыми фразами, коротко отвечая на вопросы и ни о чем меня не спрашивая, кроме стандартного: «Как себя чувствуешь?» Я был для него чужой. Зато с Таней оттаивал, становился словоохотливым, изредка обнимал и целовал. Она млела от счастья.

А я вспоминал, как семилетний Джонатан с родителями приехал в Нью-Йорк. Они сняли номер в гостинице, а последние два дня провели у меня в Бруклине. Проводив дочь и зятя на пятничное бродвейское шоу, я получил возможность на несколько вечерних часов остаться наедине с внуком. Отдав дань залу игровых автоматов, мы стремительно неслись в заполонившей Таймс-сквер людской массе. Конец декабря выдался теплый, снега не было и в помине.

– Тебе нравится Нью-Йорк?

– Да, дедушка. Мы с папой и мамой запланировали: я буду поступать учиться в Гарвард. Он же недалеко от Нью-Йорка, правда? Ты будешь приезжать ко мне в кампус, а я к тебе на каникулы.

– Что ж, план замечательный. Только не знаю, доживу ли до твоего поступления.

– Ты же мне обещал! Ты говорил: «Я обязательно хочу проводить тебя в первый класс и в университет». Забыл?

– Нет, не забыл. В школу я тебя отвел, специально прилетел. А вот в университет... Ждать еще десять лет. Мне тогда будет семьдесят пять.

– Ну и что?

– Ничего... Постараюсь выполнить обещание.

(В Бостон к внуку я приезжал всего шесть раз – чаще не получалось, да и Джонатан не горел желанием меня видеть. Каникулы в Нью-Йорке он не проводил, предпочитал Калифорнию).

– Хочешь прокатиться на велорикше?

– Хочу.

Мы выбрались из толпы и двинулись по 41-й улице в сторону Пятой авеню. Велорикшу не пришлось долго ждать, он ехал нам навстречу. Я договорился, что он покатает нас минут пятнадцать за двадцать долларов. Маршрут может выбрать по своему усмотрению. Мы устроились на заднем сиденье, я обнял внука и рикша повез нас.

Такого страха я давно не испытывал. Рикша, худенький молодой китаец, бешено крутил педали, выбирая самые оживленные участки центра Манхэттена, отчаянно-смело внедрялся в поток спешащих машин, лавировал между такими же лихими, как он, желтыми кэбами-такси, не обращал внимания на предостерегающие гудки, вот-вот мы должны были с кем-то столкнуться, но почему-то не сталкивались. Я прижимал внука все сильнее, закрывал телом, кляня себя последними словами, что ввязался в авантюру, подвергая ребенка опасности.

– Давай остановимся, – робко предложил я.

– Что ты, дедушка! Так здорово!

Вязаная шапочка сползала ему на глаза, он сдернул ее и сунул мне. Черные глазницы с восторгом глядели на наши коловращения, а у меня душа уходила в пятки. Китаец высадил нас на Пятой авеню и 45-й улице. Мы возвращались на Таймс-сквер пешком. Ноги мои не шли, сердце билось загнанным птенчиком. Зато внук был доволен.

– Джонатан, давай договоримся: папе и маме мы не расскажем о прогулке на велорикше. Зачем их волновать?

...Назавтра мы попали на кошачье шоу Куклачева. Сидели в зале на Бродвее чуть ли не в первом ряду, правда, сбоку. Вышло замечательное зрелище. Отчаянные кошки стояли на передних и задних лапах, танцевали, раскачивались под куполом, возили тележку, забирались по ступенькам лестницы-стремянки, легко преодолевали барьеры, балансировали на шестах, прыгали через обручи, крутили сальто... Куклачев разговаривал с залом, отпускал шутки, дети и взрослые веселились...

Внук аплодировал, смеялся, но как-то инертно, вяло, непохоже на себя. Я спросил, нравится ли ему представление. Он подумал и потупился:

– Кошек жалко...

И еще помнилось из разных лет. Я прилетел в Сан-Диего с только что изданным в Москве романом, на задней обложке, как принято, говорилось об авторе и было приведено его фото. Я отправил в издательство свой снимок с внуком. Вручая книгу, показал заднюю обложку, ожидая изумления и бурной радости. Ничего такого не последовало, Джонатан глянул и вяло отреагировал: «Это дедушка и я». Я растерялся. Если бы в мои десять получил такой подарок, гладил бы книгу до бесконечности, спал с ней в обнимку... Выход из положения нашелся.

– В связи с твоей отличной учебой и моим приездом дарю тебе, дорогой внук, триста долларов.

– Ура! Дедушка подарил мне триста баксов! – возвестил Джонатан.

Да, так было. А сейчас, заранее извинившись, позволил себе откровенный вопрос выросшему внуку:

– У тебя есть подружка? Герлфренд? – и нарвался на резкость.

– Подружки нет. Никто не нравится. Притом мне надо делать карьеру, а не о девушках думать. Я не девственник, если это тебя интересует. Но больше на эту тему со мной не говори, хорошо?

Павел пригласил в Москву пожить летом на его шикарной даче в Жуковке. Я было согласился, но Таня сообщила по телефону, что тоже направляется к сыну на месяц. «Значит, снова увидимся...» Радости в ее голосе не уловил. Я раздумал ехать. Не имел ничего против нее, однако представлял наше общение, ее *осудительный* взгляд и желание пропадало. Я не научился просто отдыхать, бездельничать, мне требовалось заполнять дни работой (один из моих героев говорил: «Большинство работает, чтобы жить, а я живу, чтобы работать» – так это про меня). В присутствии бывшей жены о писанине можно забыть. Павел и невестка вкалывают с утра до вечера, иногда и до ночи, видеться будем только на выходные и то неизвестно – у них свои дела, встречи... К тому же придется обсуждать с сыном темы, доставляющие обоим зубную боль – каждому свою. После

2014-го во взглядах обозначилась линия водораздела, пролег рубеж, форсировать который не хотелось.

В общем, я деликатно отказался.

В Нью-Йорк собирался внук Костик, и это гораздо больше радовало, нежели поездка в Москву, где у меня, кроме прочего, не осталось близких друзей. Печально, но факт.

Закончивший школу и решивший отдохнуть от учебы, Костик прилетел в середине ноября. Стояла дивная погода, на пляжах Кони-Айленда некоторые купались и загорали. Да, ньюйоркская осень – чудо, загляденье.

Мы съездили на Брайтон, Костик с удовольствием окунулся в прохладную воду. Я невольно сравнивал его с Джонатаном. Проглядывала в Костике игривая веселость, легкомысленность сродни бесшабашности, в отличие от его калифорнийского двоюродного брата, серьезного и сосредоточенного на себе. Москвич был моложе на три года, поуже в плечах, с покуда неразвитой мускулатурой, он напоминал меня в молодости. Джонатан выглядел более смуглым – еврейская кровь отца, Костик был светлым, лоб, щеки и плечи в легких, еле заметных конопушках. Роста оба примерно одинакового.

Я покормил внука обедом в ресторане «Татьяна», выпили по бокалу вина, потом повел его осматривать Манхэттен-Бич – место проживания богатых русских американцев. Бродили по спокойным безлюдным улицам, легкие вентилировал океанский бриз, я рассказывал об истории замечательного места: сто с лишним лет назад здесь, Костик, стояли первоклассные отели, устраивались концерты известных дирижеров, музыкантов, массу народа собирали казино, конные скачки, ночные фейерверки, пляжи были забиты – летний морской курорт с разнообразными развлечениями манил публику, и не только из Нью-Йорка. Ну, а потом, как водится, район потерял привлекательность, богачи предпочли другие места для отдыха и траты денег, отели снесли, ипподромы закрыли, землю порезали на куски и стали продавать под застройку жилья. Уже лет тридцать русские селятся тут, считается престижно жить на Манхэттен-Бич, ты видишь, Костик, какие хоромы понастроили... Признаться, я не в восторге от архитектуры, единство замысла отсутствует, каждый строит по-своему, одному колонны у входа подавай, другому – нечто изысканное в итальянском и испанском стиле, кто-то констру-

тивизм предпочитает. Дома из стако, есть такой материал, кирпича и камня – зависит от наличия средств. Дома дорогие, миллионные...

Костик вертел головой по сторонам, но слушал, мне показалось, вполуха, вопросов не задавал, рассказанное его особо не интересовало. Неожиданно сравнил с Рублевкой: «У нас, дед, покруче будет». – «Я читал: полно домов на Рублевке пустует, люди продать не могут», – парировал я. – «Рил ток, ерунда. Гонят муму. Ну, цены упали, зато чмошники отсеялись, а прикинутые живут, молодежь чилится. Ништяк, дед«...

Из сказанного внуком я уловил общий смысл и не более. Он разговаривал на своем, недоступном мне языке, вначале я думал – выпендривается, потом сообразил: другой язык, кроме слэнга, не в ходу у сверстников. Юношеский максимализм, мода, эпатаж или и впрямь так изъясняться удобнее, проще?

Пары дней оказалось достаточно, чтобы я начал привыкать к манере Костика, более того, попросил внука составить небольшой словарик наиболее ходовых слов и выражений – авось пригодится в литературной работе. Костик разъяснил, решив пощадить мой слух и попробовав перейти на понятный и внятный язык:

– Дед, между прочим, у вас в Америке тоже ф^орсят на слэнге. Я английскую школу закончил, а не понимаю... Ты просишь какую-нибудь нашу фразочку произнести. Пж. «Круче тебя только яйца, выше тебя только звезды...» Клёво?!

Я недоуменно пожал плечами.

Я купил дорогушие билеты в Метрополитэн-опера на «Аиду», пели Нетребко и Антоненко, добавил концерт Трифонова в Карнеги-холле, обошлось все в тысячу долларов, Костику понравился культурный выход, охарактеризовал его одним словом: «годнота!» И добавил: «Сорян, дед, («Сорян» , как я понял – «Извини»), в наш Большой тикеты еще дороже на таких крутых, и зал битком, народу овердофига». Без сравнений не в пользу Америки мой внук обойти не мог, пора к этому привыкнуть...

Как-то спросил его, куда собирается поступать и почему пропустил год.

– Папаша решит, куда меня вталкивать. Придется платить за образование. Я бы на экономику пошел или на финансы, как братик мой Джоник (упорно называл Джонатана уменьшительной клич-

кой, похожей на собачью. Отношения у братьев, я знал, не складывались: старший считал младшего несерьезным и маленьким по многим параметрам, Костик, похоже, завидовал студенту Гарварда, но виду не подавал, отделяваясь небезобидными шуточками в его адрес. Встречались они до сей поры не более десяти раз, созванивались не намного чаще). – А может, за кордон отправит науки грызть, в Англию, к примеру. В Штаты я ни ногой, – упреждая возможный вопрос. – Год же пропустил, поскольку отдохнуть хотел. Бухаресты посещать, флексить... Спешить-то некуда – наше дело молодое...

Бухаресты, как пояснил внук, – молодежные вечеринки, точнее, попойки, бухалово. И в Нью-Йорке Костик решил не отказывать себе в удовольствии потусоваться. Помочь ему в этом и направить по нужным адресам я не мог, ибо понятия о них не имел. Внук нашел каких-то приятелей, русских и американцев, знакомых по Москве, и хотел было завалиться с ними на танцульки с выпивкой и бог знает с чем еще. Не вышло – фейсконтроль в свои 17 пройти нигде не смог. В такие заведения пускали с 21 года. В итоге он прочел мне лекцию о здешних кошмарных порядках. «Но ведь и у вас фейсконтроль есть с проверкой документов», – попробовал робко возразить. – «Дед, не будь наивным – у нас бабки решают все, а здесь, мне сказали, предлагать опасно – могут полицию вызвать и браслеты надеть...»

Он начал перечислять клевые места тусовок, названия, глубоко мне безразличные: «Крик» на Страстном бульваре, «Крыша мира» на Бадаевском заводе с лучшими диджеями, шикарным видом и шампанским, «Микс» на Новинском бульваре с самыми крутыми after-party, «Пропаганда» – по словам Костики, совершенно мистическое место, «Sorry, babushka» – с разношерстной публикой, объединенной одним желанием – напиться и потанцевать... Названия не запоминались, откладывались мертвым грузом

– Ты Москву не узнаешь, если, наконец, приедешь. Красота, чистота, море огней, высотные здания, европейская столица! – внука распирило желание поделиться со мной всем этим великолепием.

До его отъезда оставались считанные дни. Как-то вечером после ужина я невзначай спросил, выходил ли Костик на несогласованные демонстрации и митинги. Сам не знаю, зачем спросил – просто вырвалось. Внук живо отреагировал:

– Полгода назад друзья уговорили, вышел с протестом на Пуш-

ку. «Он нам не царь» акция называлась. Против коррупции, бедности и неравенства, нечестных выборов, кажется, против чего-то еще. Путина требовали в отставку отправить. Свинтили меня и друзей, в ментовке протокол составили, дескать, *блэт нэвэльный* – опять во всем Навальный виноват. В общем, зашквар. Влип, короче. Папаша выручил, надавил по связям, меня домой отправили, протокол изъяли.

– Мне ничего не сообщили.., – посетовал я.

– Волновать не хотели. Дело-то ерундовое. Я с этим, дед, завязал. Никому не нужны протесты наши, народу по барабану. Я шарю в этом.

– Почему по барабану, Костик? Если не молодежь, то кто протестовать будет?

– Дед, ты странный. Трем четвертям населения на политику насрать. Им чтоб жратва была дешевая и водка. Смотрят на государство как на дойную корову, сами же ни на что не способны. Ни на какой бунт. Они за что хошь проголосуют: Крым забрали – уря!, Крым вернули – опять уря! Отстой, шлак, безнадега. Я спросил себя, когда из ментовки вышел и с папашей суровый разговор поимел – он не знал, что я на Пушкин двинулся: портить себе будущее из-за этих тупых, ничтожных людишек – увольте, у меня другие цели и задачи. Сын твой, мой папаша тогда классную фразу выдал: «Народ для государства как трава для козла: сочную сожрет, сухую вытопчет». Я сожранным или вытоптаным быть не желаю.

– Послушай, Костик. Один ученый американский эксперимент над собаками проводил..

– Как Павлов? – спросил внук.

– Ну, да, примерно так – условный рефлекс вырабатывал. Павлов по звонку мясо собакам давал, а американец – удар током и был уверен, что когда запертых собак переведут в открытый вольер с низкой загородкой, они, едва током их ударят, со страха разбегутся к чертовой матери.

– И что дальше происходило?

– А ничего – псы никуда не сбежали, валялись на полу и жалобно скулили. Ни один даже не попытался перепрыгнуть загородку.

– Ты, дед, к чему клонишь, не пойму?

– А к тому клоню: человек чувствует себя беспомощным, когда

его постоянно пугают, давят, третируют, приучают к мысли, что любое действие, любое движение обязательно к наказанию приведет. Воля его ослабевает, пропадает желание вообще что-либо делать – только тихо поскуливать, овладевает им глубокая апатия...

– Ты прямо мои мысли читаешь, я не умею, как ты, красиво излагать, но посуди сам: выходит, власть мудро поступает, что по головам лупит всех недовольных, сажает направо и налево, страх народу прививает. Лучше иметь три четверти, а то и больше, населения безропотного, беспомощного, на все согласного, чем недовольных, протестующих, бунтарей.

– Но такое население ни на что не способно! С таким населением из бедности и нищеты не вырваться...

– И не надо! Власть такое положение вполне устраивает. Лишь бы бунтов не было.

– Выходит, тебе на будущее страны наплевать?

Костик нахмурился, мой вопрос не понравился.

– Не передергивай. Я, между прочим, твои романы читал внимательно, в отличие от Джоника, который по-русски более-менее спикает, но читать не умеет. Я одно твоё рассуждение запомнил, выучил, как стих, наизусть: *«Сколько людей хвалятся свободой мыслей только потому, что и понятия не имеют об этой самой свободе. Сколько таких, кто кричит против авторитетов только потому, что сами вполне подчиняются им. Сколько в России скептиков, потому что не знакома им глубокая уверенность, считающих себя разрушителями, потому что нет для них ничего святого...»*

– Это не я, это Достоевский.

– Неважно. Цитата из твоего романа.

– И какой же вывод делаешь?

– Очень простой. Пускай три четверти населения живут так, как хотят, с протянутой рукой и в страхе, что получают шиш с маслом. Больному смертельно не поможешь, только сам заразишься. Мне все равно. Ради них не собираюсь ничем жертвовать, *класть под долото свои мечты и цели* – так, кажется, у твоего любимого Бориса Леонидовича...

Я сделал глубокий вдох, как на приеме у терапевта. А Костик вовсе не прост, начитан, я его недооценивал, точнее, не имел возможности по-настоящему оценить – рос он без меня. Да, циничен,

презрителен, с амбициями, но не дурак, знает, кто силу в стране имеет, с кем отношения налаживать. Мне все это не может нравиться, но кто меня спрашивает... И заговорил внук без дурацкого слэнга, нормально. Согласиться с его доводами я не мог, но и спорить было трудно, ибо позицию свою он легко не изменит – кропотливая работа надобна по переубеждению и неизвестно с каким результатом. И все-таки решил попробовать.

– Прежде некоторые надежды возлагал на нынешнее поколение, сравнивал с предыдущими – что за люди выросли? Человек, строго говоря, не может резко меняться. Он такой, какой есть. Хуже или лучше его обстоятельства делают. Так вот, укрепился я, Костик, во мнении: постсоветский человек хуже советского. Да-да, не делай круглые глаза. У нас мечты были, надежды, пусть и иллюзии, мы верили, что жизнь в лучшую сторону качнется, только не знали когда, и уж совсем не думали, что коммунизм так скоро рухнет. Рухнул, и что взамен? Казалось, миллениалы, те, кто немного постарше тебя, начнут действовать. Увы, мизерное количество хоть что-то изменить пытается, на улицы с протестами выходит, их сажают, сроки невыносимые дают ни за что, остальным же наплевать, у них, как у моего внука Костика, другие цели... А вокруг ложь несусветная, лгут сверху донизу в открытую, не стесняются, ложь нормой стала, особенно в телевизоре...

– Мы *ящик* не смотрим, мы айфоны и айпеды смотрим... Послушай, дед. В школе нашей элитной классный мужик Лев Моисеевич преподает, влюблен в русскую словесность, литературную студию ведет. Я репу чешу: почему как знаток русской литературы, так непременно еврей?.. Так вот, два года назад мы Грибоедова изучали, Лев Моисеевич провел опрос в классе: кем вы себя видите в будущем – Чацкими или Молчалиными? Дед, ты не поверишь – 85 процентов Молчалиными хотят стать. А ты говоришь...

– Меня несколько не удивляет. *Он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных...* Был такой мальчик, Джельсомино его звали. Знаешь такого? Не знаешь... У мальчика был очень звонкий голос, который с лёгкостью мог все разрушать. Мальчику приходилось часто молчать, чтобы его не ругали за испорченные предметы. Однажды попал он в необыкновенное государство, где всё было устроено наоборот. Если человек правду говорил, его на-

казывали. Этой страной пират правил, придумавший законы о том, что надо непременно лгать. Долго тебе сказку пересказывать не стану, скажу лишь, что однажды мальчик стал петь около дворца пирата. Здание от звонкого голоса разрушилось. Злой правитель сбежал из государства, а народ начал говорить только правду. Так вот, где тот звонкий голос?..

– Хорошо рассуждать, живя за кордоном, в безопасности, впрочем, относительной, – внук скривился в намеке на улыбку. – Ты бы попробовал жить у нас, где выбора нет – либо ты с нами, либо против нас, но самому по себе тебе не дадут спокойно существовать, сам по себе, независимый, ты нежелателен и даже опасен. Твой сын, мой папаша, я про него все знаю и понимаю, он горой за нынешнюю власть, поскольку кормится с ее руки – я не в прямом смысле, но по сути это так. Что внутри у него, он один знает и редко делится, поскольку боится... Несмотря ни на что, я хочу карьеру делать в своей стране, обрасти связями, занять положение, продемонстрировать лояльность власти, а как иначе?! В Америке жить не желаю и знаешь почему? Здесь надо вкалывать всю сознательную жизнь с вашими мортгиджами и прочими вещами, опутывающими с ног до головы, с малых лет нужно в соревнование, в competition вступить за место под солнцем, подчиняться законам и правилам, зачастую дурацким, американец менее свободен в своей правильной, сытой, богатой стране, нежели русский, в бедности и нищете живущий. Знаешь, что меня более всего отталкивает от Америки? Лицемерие! Ваши моральные ограничения, долбаная политкорректность, идиотский секшувал харрасмент, ваши феминистки стебанутые, стаей нападающие, чтобы *бабки* урвать... Нормальных мужиков в трусливых кроликов или в роботов превращают. Мы же по-другому живем, вольно и нестесненно, если, конечно, не лезть в политику...

– В твоих рассуждениях перебор явный, ты, извини, не очень понимаешь, о чем говоришь... Я о другом скажу. Смотри, дружок, не прогадай, не потеряй время даром – вдруг звонкий голос объявится и пирату крышка вместе со всей его обслугой, а ты у разбитого корыта останешься... Я тебе искренне не желаю такой участи...

– Не объявится. Неоткуда ему взяться. А если вдруг случится такой герой, ему вмиг голосовые связки подрежут, не сомневайся. Некоторые, которые на Пушкин ходят с лозунгами, думают – так

продолжаться не может, скоро зашквар этот кончится. Наивняки! У меня с них бомбит! – незаметно вновь перешел на птичью речь. – Все только начинается! Агриться не на кого, рил ток, потому я ливаю с Пушек и других мест стремных... Путин в России – пожизненный. Он еще лет двадцать править будет. Пожизненный, понимаешь?! Как Сталин. Папаша так считает, и я с ним согласен.

– А затем дыхание Чейн-Стокса, лужа мочи...

– Чего? – не понял внук и подозрительно сощурился.

– Это я так, к слову, – решил не пускаться в рацеи и пояснять. Как-нибудь в другой раз, если возможность представится.

Костик дернул плечом и странно посмотрел на меня, похоже, с сожалением.

– Эх, дед, оторвался ты от России, не поймешь, что у нас все всерьез и надолго. Приезжай, пообщайся с народом, и не в Москве, а подальше – тогда и поговорим...

Я молчал, подыскивая нужные, наиболее доходчивые слова, а Костик не унимался.

– Ты как-то писал: «Если несправедливо ругают Россию, я русский, если Америку – я американец». У тебя поинтересовались: «А если справедливо?» Ты ответил: «Тогда мне вдвойне обидно за ту и за другую страну». Правильно излагаю?

– Правильно, только не меня спросили, а моего героя. Хотели выяснить, кем он, иммигрант со стажем, себя считает – русским или американцем.

– Какая разница, кого спросили... Сегодня ты так же думаешь?

– Да, ничего не меняю, только обид прибавляется с каждым годом...

Мы еще долго говорили и спорили, внук говорил запальчиво и сумбурно, многое мне казалось заемным, услышанным на стороне, кто знает, может, и от Павла, и попугайски воспроизведенным; я начал уставать от словесного потока и досадливо свернул спор.

Подлечивший мое одиночество и одновременно разочаровавший внук отбыл на родину, пришло время снова сдавать анализы и я отправился в госпиталь. Через три дня, как обычно, предстал пред очи доктора Кларка. Рутинная беседа врача и пациента потекла не так, как обычно, – по другому руслу. «Клуни» не улыбался, избе-

гал смотреть прямо, я ловил его бегающий взгляд, и меня пронзало предчувствие неприятностей.

Из нескольких фраз доктора я вывел, что тесты показали нехорошее. Кларк дважды повторил – *malignant cells*. Я знал, что имеется в виду: озлокачествленные клетки. Они появились внезапно, будто киллеры, давно поджидавшие и, наконец, настигшие жертву.

– Таких клеток очень мало, но они есть. Через месяц – новый тест, возможно, снова придется провести химиотерапию.

Непроизвольно подкатил приступ тошноты...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

15

*...синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы...*

Солнца, впрочем, не видно, едва пробивается сквозь плотный слой облаков. Бразильская погода, к полудню довольно жарко становится и влажно, хотя сезон дождей закончился.

Проснувшись спозаранку, я облачился в непривычные белые одеяния – хлопковую тунику и балахонистые штаны «бермуды» – и вышел за калитку. Одновременно из соседнего двора появились двое незнакомцев в похожих белых нарядах. Потом еще пара. За ней одинокий человек в чалме, похожий на индийского факира. Молодой мужчина с длинными тёмными волосами, в шикарном белом костюме-тройке с белой жилеткой и рубашкой двигался по улице босиком, ведя за руку красивую женщину в белом платье. Все здесь должны ходить в белых одеждах, неважно какого фасона – платья, юбки, шаровары, шорты, футболки, главное, чтобы белое, светлое и чистое.

Рассвело. Наша небольшая группа молча дошла до главной улицы Абаджании и влилась в общий поток. С боковых улочек и многочисленных постоянных дворов-пусад присоединялись новые и новые паломники – живописная процессия из людей различных возрастов и цвета кожи, надо полагать, и разных вероисповеданий. Маленьких детей несли на руках. Многие в инвалидных колясках. Спокойно, чинно, не обгоняя друг друга, все следовали в одном направлении.

Паломники, странники, пилигримы... Что их позвало сюда, в затерянную в штате Гояс деревню, или, можно сказать, городишко, что привело сюда меня после всего случившегося? То и привело, что и остальных. Прошло определенное время после операции и лечения-травли, именуемого химиотерапией, метастазы не обнаруживались... и вдруг – озлокачественные клетки. Что будет дальше? Потому и приехал к человеку, который, по словам многих, творит невозможное...

Белые одежды заполнили пространство. Молчаливая, по-своему торжественная утренняя процессия пробуждала странные ассоциации. Почудилось, что нахожусь не в далекой, укрывшейся за экватором Абаджании, а на съемочной площадке, где создается голливудский блокбастер о чудесах Иисуса. Все мы –загримированные статисты массовки. Вспыхнут юпитеры, явится очередная кинозвезда – исполнитель главной роли, и по команде знаменитого голливудского режиссера начнется великое таинство. Чудо в Капернауме, слепому вернется зрение, немому речь, парализованный начнет ходить, у кого-то исчезнет опухоль... А может, не съемки, а фантастическая машина времени переносит в истинно Христовы времена?

Процессия привела меня к воротам Casa Ignasio, Дома Игнатия Лойолы, где много лет кудесничает тот, кого именуют не иначе как *признанный целитель, великий медиум Жоао, известный миру под именем John of God*. Так ли он велик, действительно ли абаджанский кудесник, или мистификатор и обманщик с чудовищной силой гипноза? Куда девать мой извечный скептицизм и мои сомнения...

Узнал я о Жоао случайно: затеялся сам собой разговор с уроженкой Одессы, очередной пожилой заказчицей книжки о прожитом-пережитом, написанной с робкой надеждой, что не отринут, прочтут внуки и правнуки и кое-что полезное для себя почерпнут; упомянула она племянницу, у той рак в желудке обнаружили, сопериовали, отпустили год жизни, не больше, и вот уже третий раз катается в бразильскую глубинку, катается с надеждой, что продлит знаменитый целитель пребывание ее на грешной земле – и в самом деле, уже немало времени прошло, жива племянница и чувствует себя неплохо... Знаменитый целитель? Терпеть не могу подобную публику, проходимцы чистой воды, алчные и мерзкие, используют свойственную недалеким людям веру в чудеса. И против всего ска-

занного, помысленного, незаметно, как червяк в яблоко, непрошено заползло: может, и мне попробовать? Хорошо, не верю, но чем рискую? Ничем.

Окончательно убедил посетить Абаджанию знакомый раввин. Не испытываю особого пиетета перед служителями культа, как их называли в приснопамятные времена; не чувствую в их речах искры божьей, не слышу того, что может зажечь верой мое холодное сердце, наполнить светом душу. Не чувствую, не слышу. Наверное, мне не повезло в общении, встречал не тех. Но не могу выдернуть из сознания, как сорняк с грядки, *крамольное* суждение: в сущности, кто такие поп, ксензд, пастор, мулла, раввин? Просто чиновники религиозного института и не более того, это, если угодно, свидетельство принадлежности к религиозному офицерству. И внешний вид, и мундир в соответствии с типом конгрегации: от гладко выбритых, в гражданской одежде, и бородатых в рясах до одетых в чапаны, тюрбаны или чалмы и носящих черные шляпы, черные костюмы и густую растительность на лице. Они как бы посредники между человеком верующим и Богом. Но почему между верующими и Всевышним должны находиться какие-то посредники? Неужто без них не разберутся? Да, большинство не знает нюансов Закона Божьего, правил общения со Всевышним, как знают священники. Ну и что? Разве мешает это людям находиться в особых, личных отношениях с Богом? Перед ним все равны...

Знакомый раввин являл исключение – умный, образованный, интеллигентный, широких взглядов. В прошлом питерский инженер, Михаил по-настоящему сблизился с религией в иммиграции, получил смиху – нечто вроде диплома, дающего право быть раввином, в одном из похоронных домов Бруклина проводил траурные церемонии. Изредка попадая в богоугодное заведение по печальным поводам – смерти близких знакомых и их родственников, я отдавал должное проникновенным словам, исходившим из уст Михаила. Трафарету прощальных слов он противопоставлял тонкие и образные сравнения и обобщения, я невольно завидовал его умению логически точно строить фразы, избавлять от шлака банальщины и примитива.

Случайно узнав о посещении раввином Абаджании, я изумился (раввин верит в целительство?!) и вызвал на откровение.

– Мы с женой в основном в Израиль ездим, но недавно решили изменить правило. В Абаджанию позвала внутренняя убежденность, что это *необходимо*, а такое чувство, как правило, не обманывает.

– И какой вывод?

– Жоао – не просто человек, разложить, разъять его на составные невозможно, это феномен, который, как всякий феномен, не объясним.

– Как бы вы описали его?

– Мягкий, добродушный, немного сентиментальный, внешне похож на еврея, очень располагает к себе, в уголках губ всегда таится улыбка, в больших, увеличенных стеклами очков, грустных глазах сострадание, сочувствие...

Рассказ Михаила зажег во мне любопытство, смешанное с потребностью – вторая химиотерапия хотя и прошла легче первой и, кажется, уничтожила *озлокачествление* (о, гнусное слово, язык сломаешь), но не дала никаких гарантий; для себя я постановил – будет последней, больше травить себя не стану и будь что будет. Так соткался образ избавителя...

Собрался я в течение месяца. Созвонился с офисом Жоао в Абаджании, менеджер-помощник изъяснялся на приличном английском, лучше моего, сделал заказ на жилье и месячный лечебный, или как он там называется, цикл, получил бразильскую визу через Интернет за сорок долларов, купил билет на самолет. Прямой рейс из Нью-Йорка в столицу Бразилии отсутствовал, пришлось делать пересадку в Майами. Через полсуток оказался, наконец, в Бразилиа. Таксисты наперебой предлагали доставить в Абаджанию. Полтора часа езды, плата 180 реалов – и вот я на месте. Это было вчера, в понедельник.

Поселился в забронированной комнате, по-спартански скромной: кровать, туалет, душ, шкафчик для одежды и всё, никаких тебе телевизоров и прочих излишеств. Внутренний дворик с садом и цветами, камнями и фонтанчиком. Между пальмами натянут гамак... Сильно устав с дороги, я завалился спать и проснулся к вечеру. Почувствовав голод, отправился искать близлежащее кафе. По плотно укатанной дороге с красным грунтом бродили люди в белом, улыбались, некоторые пребывали в задумчивости, беседовали тихо друг

с другом, никто никуда не спешил. А рядом, под ногами, валяжно и чинно прогуливались куры с цыплятами, индюшки, овечки, барашки. Возвращалось с пастбища стадо коров, у каждой колокольчик-ботало, лошадь с пастухом верхом звонко цокала копытами. Куда я попал? – недоуменно спрашивал себя. – Сельская идиллия...

Деревню обошел за полчаса по главной и единственной асфальтированной дороге, к ней примыкала пара грунтовых улиц и нескольких переулков с одно- и двухэтажными домами, магазинчиками, сувенирными лавками, кафе, пусадками.

Главные события, как я знал из заранее прочитанного, происходят в Casa, на дальнем краю деревни. Я подошел к Дому. С холма открывался восхитительный вид на долину с садами, полями и дальними взгорками. Был разбит парк, стояли деревянные скамеечки, люди отдыхали, любовались заккатом, думали и погружались в себя, медитировали, не мешая друг другу. Casa стоит на холме из кристаллов, в нескольких часах езды отсюда Кристал-Сити – пещеры с самыми большими в мире кристаллами и залежами кварцевых пород. И все холмы в округе, включая тот, на котором Casa, из тех же кварцевых пород. Склоны вдоль дорог из оранжевых, красных и сиреневых песков усыпаны блестящими камешками, в самом парке рядом с Casa, и, как я выяснил, внутри Дома – большое количество крупных кристаллов. В путеводителе сказано, что камни способны аккумулировать и усиливать энергию Земли и Космоса – возможно, именно поэтому для Casa было выбрано это место.

День прошел спокойно, я и впрямь начинал испытывать умиротворение и покой. Может, работают кристаллы?

Вечером во вторник, перед началом завтрашнего очередного недельного цикла, ассистент медиума Диего (так он представился) провел ориентацию для вновь прибывших. Подробно объяснил, что и как происходит в Доме, куда и когда приходить, в какую очередь становиться и что требуется от каждого посетителя. Просил не своевольничать, следовать заведенным правилам, из чего я сделал вывод: во главе угла железная дисциплина, строгий порядок, если хотите – бюрократический, иначе не справиться с оравой жаждущих встречи с медиумом. Сыпавшиеся градом вопросы, зачастую казавшиеся наивными до глупости, не лишали ассистента спокойствия и невозмутимости.

Я поинтересовался:

– Вы говорите, что следует молиться перед тем, как войти в зал медитации. Но я не знаю не одной молитвы...

Диего словно ждал моего вопроса и оттарабанил как по писаному:

– Молитва – не просто обращение к Богу. Ее проникновенные слова расслабляют душу, делают ее более восприимчивой к добру.

Он внимательно посмотрел на меня и, похоже, уяснил, с кем имеет дело.

– Этого можно добиться не только с помощью слова божьего. Например, читайте хорошие и добрые стихи. О любви, о мире...

Наступила среда. Попав на территорию Casa, вместе со всеми я направился в маленький магазинчик для получения талонов: красный цвет для идущих на первый прием, синий цвет означал второй визит, зеленый – послеоперационный визит. Получив красный талон-пропуск, я занял место на просторной крытой террасе. Небольшой овальный подиум немного напоминал эстраду. Стену подиума украшал молитвенный деревянный треугольник – точка притяжения всех паломников. Основание его было заполнено записками и фотографиями. Я уже знал: треугольник – способ общения людей с Entities. Entities – не просто термин, это якобы Дух, который в определенный момент сеанса вселяется в тело медиума (Жоао). К треугольнику выстроилась очередь. Люди задерживались на одну-две минуты, что-то шептали, наверное, молили о здоровье для себя и близких, возможно, жаловались на судьбу и несправедливость. Стадное чувство подсказывало встать в очередь – надо быть как все, не выделяться, и это начинало слегка раздражать. Тем не менее, я снял обувь и босиком направился к треугольнику. Из треугольника вроде бы должно выделяться особое тепло. Вплотную приблизился лицом к центру магического знака, шепотом невнятно пробормотал просьбу об исцелении и ничего не ощутил, никакого тепла.

...Постепенно образовалась длинная очередь. В половине восьмого утра появился помощник Жоао по имени Рикардо, которого я немедленно переименовал в Апостола Петра: тот, как известно, нес вахту у врат рая, Рикардо выполнял ту же роль, только у двери, ведущей в святая святых Casa – зал медитации.

Нас пригласили в помещение. Ровно в восемь, ни минутой позже, словно по коменде наступило время коллективной молитвы. Вели ее помощники Жоао. Я заставил себя выключить мысли о постороннем. Люди вокруг сидели с закрытыми глазами, многие шептали про себя – я видел это по еле заметному движению губ. Я тоже закрыл глаза. Сами собой полились слова, не имевшие никакого отношения к молитвам, отзывавшиеся неким возвышенным импульсом.

*Любить иных – тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.*

*Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.*

*Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вымести
И жить, не засоряясь впредь,
Все это – не большая хитрость.*

Это была молитва любви. Прежде она не проникала в меня так глубоко, не отзывалась сладкой болью – и это было правдой. Я не понимал, что со мной происходит, но что-то происходило.

Я направился к месту, где всех встречали переводчики. По пути остановился у окошка, где уже были приготовлены листочки бумаги и ручки. Следовало кратко изложить свои проблемы и просьбы к Жоао. Я написал только одну фразу на английском, понятно, какого содержания. Переводчик моментально перевел суть моей просьбы на португальский и вернул листочек; как я понял, он будет зачитывать мою просьбу к Жоао и переведёт его ответ на английский. На все отводится несколько секунд – «поточный метод массового целительства», съязвил я про себя. Иллюзия молитвы любви улетучилась, я вновь превратился в скептика.

...Медленно в общем потоке двигаюсь по направлению к Жоао.

До его кресла уже не более трех метров. Отчетливо вижу его лицо. Устало, склонив голову на бок, внимательно слушает людей, не позволяя себе даже на мгновение расслабиться. Сам говорит предельно мало. Мне показалось, даже неохотно. Поражают глаза. Даже толстые стекла очков не могут скрыть их выражения. Прав раввин Михаил: глаза грустные-грустные. В них словно отражаются беды, с которыми приходят к нему страждущие. «А волосы крашенные, чтобы скрыть седину – медиум мой ровестник со всеми вытекающими...»

Наконец, делаю последний шаг и оказываюсь лицом к лицу с Жоао. Сбоку только переводчик. Быстро опускаю свою ладонь в его поднятую руку, но это не обычное рукопожатие. Скорее так врач проверяет пульс пациента и определяет его тонус. На мгновение он задерживает мою руку, словно пытаюсь собрать больше информации о моем организме. Мне чудится: он смотрит сквозь меня, словно сканирует. Становится не по себе. Он отпускает руку и быстро что-то говорит переводчику. Тот повторяет слова Жоао на английском:

– Пять сеансов кристаллической кровати и завтра на утренней сессии спиритуальная операция.

Аудиенция получилась мимолетной и стремительной и не оставила каких-либо впечатлений. Запомнились только глаза. Впускаю в мозг совсем недозволенное, противоборствующее моменту: как же ему все осточертело...

С такими мыслями нечего было лететь на край света в Абаджанию, сидел бы лучше дома и не чирикал. Подлая натура, ругал себя, оборотись на других – они же верят, а ты...

Выхожу во двор. Народ не спешит расходиться. На одной из открытых веранд рядом с Домом в столовой раздают бесплатный, приготовляемый здесь же, суп. В Абаджании вообще все бесплатно, за небольшим исключением. Суп тоже лечебный, как и освященная вода. Здесь все лечебное и целебное, ты можешь верить или не верить, но с этим придется свыкнуться,

Подошла очередь к кухонному окну. Любопытства ради заглянул вовнутрь. На большой плите на огне в двух гигантских кастрюлях, ведер на пять-шесть каждая, булькало аппетитное варево. Пахло вкусно. Немедленно появилось чувство голода. Чернокожая толстая бразильянка опрокидывает содержимое половника в тарелку, сверху кладет краюху хлеба и протягивает мне. Здешняя столов-

ка на крытой террасе удивительно напоминает солдатские столовые: такие же длинные столы человек на двадцать, покрытые простой клеенкой, вместо привычных стульев – лавки. Я ел в таких во время командировок в воинские части. Как же давно это было... Так давно, что кажется, что и не было вовсе. Нахожу свободное место. Тщательно изучаю содержимое тарелки. Морковь, кабачок, фасоль, лук, макароны, что-то еще, никак не могу разобрать, и очень вкусный, без мяса. За столом Вавилон наречий: английский, испанский, португальский, польский и еще какие-то незнакомые мне языки. Говорят наперебой и, самое удивительное, понимают друг друга без переводчика или делают вид.

Набравшись энергии (недаром Диего на ориентации утверждал, что суп исключительно богат энергией), я купил в лавке талоны на пребывание в «кристаллической кровати» – единственную платную услугу в Casa. Плата символическая, 20 реалов. Следуя предписанию Жоао, записался на пять сеансов. Я уже знал, что мне предстоит. Про чакры слышал прежде, но толком не знал, что это такое, а между тем именно к ним, к чакрам, кристаллическая кровать имела самое прямое отношение. Перед первым сеансом набрал на Гугле малознакомое слово и узнал подробности. Согласно духовной практике индуизма, человек, оказывается, имеет семь энергетических чакр, почти все располагаются вдоль позвоночника, кроме корневой и венечной. Корневая смотрит вниз и связана с землёй, венечная направлена вверх и связывает человека с небом. У каждой чакры свой цвет, элемент и свой символ. Чакры соединяются между собой и гармонично вибрируют. Чем больше чакры открыты – тем человек более энергетически подпитан. С этой целью стараются максимально открыть все чакры. Помогает цветотерапия, еще с древних времён используется для восстановления энергетического баланса. У каждого цвета определённая частота вибрации.

Вооруженный новым бесполезным знанием, я направился на первый сеанс. В отдельно расположенном павильоне несколько комнаток, обычные деревянные кровати, над ними прибор с семью подвижными держателями, в каждом патрон с небольшим, остро-направленным кристаллом с цветной лампочкой в основании. Я устроился поудобнее на кровати, прибор включился, каждый из кристаллов заструил цветной луч в чакру, соответствующую его

цвету: красный – в первую, оранжевый – во вторую, жёлтый – в третью и так далее, вплоть до седьмой. Двадцать минут лежания в кристаллических лучах под расслабляющую медитативную музыку едва меня не усыпили. Никакого эффекта я не почувствовал, если честно, и не ждал его, ибо все еще не настроился на нечто чудодейственное, мое нутро, мое естество покуда его отвергало.

Но до этого в четверг меня ожидала спиритуальная операция.

Само понятие *операция* не вселяло большой радости. Мне объяснили – она бесконтактная, ее еще называют *внедрением* или *вторжением*. Я читал об этом, готовясь к поездке, но не воспринимал всерьез. Теперь предстояло испытать на собственной шкуре.

Помощники медиума рассадили меня и несколько десятков людей в специальной комнате. На операционную она никак не походила, скорее напоминала конференц-зал с удобными кожаными креслами. Комната примыкала к залу медитации, к той части, где в кресле обычно сидел Жоао и проводил всю сессию. Нас попросили сесть, расслабиться и занять любую удобную позу. Помощники медиума несколько раз повторили единственное требование – сидеть с закрытыми глазами и не скрещивать руки и ноги, и так полчаса.

Помощник медиума прочитал молитву на португальском. Мы положили руку на сердце – знак готовности к операции – смежили веки и молча начали медитировать. В абсолютной тишине, наверное, такой, как в космосе, я опять читал стихи. Я различал биение сердца, оно тукало в ребра подобно метроному. Страху не было, не было вообще никаких эмоций, кроме любопытства, а они должны быть, это я понимал, но ничего не мог с собой поделать.

Жоао находился где-то рядом, я его не видел, но ощущал его присутствие. Откуда-то исходили волны, я начинал их чувствовать, волны разливались по телу, словно кровь по капиллярам и артериям. Минута-другая, и я заснул.

... Очнулся от голоса Жоао, он сказал что-то по португальски, помощники не перевели и разрешили открыть глаза. Я не узнал своего тела, ставшего необыкновенно тяжелым. Почудилось на мгновение, что тело подменили. Привычные движения давались с трудом, требовали усилий.

Я вышел во двор вместе с остальными. Уселся на террасе под лучами солнца и стал приходить в себя. Появился Диего и попросил

в течение суток соблюдать правила после операции: никакой физической активности, никаких прогулок, только отдых и покой.

До моего жилища было меньше километра. Помощник медиума настоятельно рекомендовал воспользоваться такси. Я послушался – идти пешком и впрямь было нелегко. Добравшись до пусады, рухнул в постель. Успел лишь засечь время – часы показывали одиннадцать утра.

Я проспал двенадцать часов. Когда очнулся, в комнате царил темнота. Я медленно приходил в себя, как после операционного наркоза. Пробудившись час, снова отключился и так до утра, встав бодрым и свежим, как ни в чем не бывало...

16

Завершалась первая неделя моего пребывания в Абаджании. Самочувствие улучшалось, нервы приходили в порядок, я стал улыбаться, что прежде происходило редко – чаще являл миру облик насупленного, погруженного в себя интроверта, избегающего прямого взгляда в глаза собеседника. Уже не было ощущения, что остаюсь один на один со временем, печалью, горькими воспоминаниями, скверными предчувствиями. Так было до и после операции, когда я размышлял об ожидающих меня перспективах. Здесь же, в Абаджании, под крылом Жоао, я не один, нахожусь среди таких же, как я, мечтающих об исцелении, и в этом виделось главное отличие и преимущество.

Без особых усилий я заводил новые знакомства и сделал вывод: с паломниками происходит метаморфоза, трансформация, преобразуются они в тех, кем прежде, скорее всего, не являлись: в открытых, доброжелательных, искренних, не таящих мысли, делящихся подробностями болезней, нуждающихся в общении. Возможно, и я произвожу подобное впечатление, иначе не общался бы с Мэтью, Каримой, Юрием, Аллой и Людой.

Мэтью оказался калифорнийцем – средних лет, крепкого сложения, со стойким загаром и обветренным красноватым, цвета абаджанского грунта, лицом. Мы обедали в столовой. Он поразил, сказав, что безвылазно живет здесь, женился на бразильянке. «Пять лет назад диагностировали опухоль мозга, сказали, что оперировать бесполезно. Курсы радиации, химии, опухоль не уменьшилась. Вра-

чи отвели максимум полгода жизни. И я полетел к Жоао... В третий раз провел здесь девять месяцев». Мэтью зачерпывал ложкой гуцину супа и с видимым удовольствием отправлял в рот. «Сколько же таких супов он съел и не надоело», подумал я с долей зависти. «Вернулся в Сакраменто, сделал тест MRI, доктора изумились – опухоль исчезла. Представляешь?! Вернулся сюда, Жоао на одном сеансе повернул мою голову к ожидавшим в очереди: «Скажи всем, что у тебя было и что стало...» – Мэтью рассказывал с блуждавшей на сочных губах улыбкой счастливого, везунчика.

Я поведал свою историю, не утаил, что не слишком верю в могущество целителя, Мэтью развел руками: «Я тут все изучил, всех знаю, с сотнями страждущих общался. Запомни слова старожилы: если хочешь выздороветь, лечи свою душу. Многие на быстрое чудо надеются, и в этом их ошибка. На счет же могущества... Я тебе так скажу. Жоао всего два года учился, он неграмотный, не умеет ни читать, ни писать, на чеке расписаться не может. Значения не имеет – наделен он божественным даром. Девятилетний, он отправился с матерью в городок Нова Понте. Замечательный безоблачный денек, а мальчик начинает верить мать, что разразится страшная гроза. Указывает на дома, которые разрушатся или, по крайней мере, с них слетят крыши. Умоляет уехать до грозы. Дона Лука, его родительница, могла отмахнуться от предостережения, как поступили бы на ее месте многие, но она послушалась сына... Внезапно разверзлись небесные хляби, поднялся сильнейший ветер, начался ураган, пострадали дома... Таких примеров немало могу привести. Ты спросишь: каков вывод? Очень простой: Жоао обыкновенный человек с необыкновенными способностями».

Мэтью не убедил меня до конца, я не поборол скепсис. В одном лишь безоговорочно согласился: надо лечить душу. Но как?..

Во внутреннем дворике пусады, возле натянутого между пальмами гамака, в окружении цветов, камней и фонтанчика, каждое раннее утро я видел танцующую женщину. Смуглая, гибкая, как камышинка, с длинными распущенными смоляными волосами, она танцевала без музыки, делала па в быстром темпе. Довольно странное зрелище, подумал я и тут же приструнил себя – пора бы начать привыкать к абаджанским неожиданностям и причудам. Женщина

напомнила ньюйоркскую рекламу такси с номерами из сплошных шестерок: юная плоская негротяночка, напоминающая подростка, без бугорков груди и рельефных бедер, плавно шла, вернее, плыла под незатейливую мелодию с рефреном six six six, элегантно впархивала в желтый кэб, провожаемая восторженными взглядами босса и его свиты.

Мы вышли с танцоршей вместе и направились к Casa. Я смог поближе ее рассмотреть. На вид лет сорок-сорок пять, на латиноамериканку не похожа, скорее арабские крови, не красавица, но сексуальное в ней определенно присутствует. Что именно, не смог сформулировать, да это и не требовалось – просто сделал ей комплимент относительно танцев, сказал, что мне понравилось и другим мужчинам наверняка тоже, если видели. Она кокетливо скосила оливковый глаз. Мы познакомились, ее звали Карима, жила, как и я, в Нью-Йорке, работала в юридической фирме помощником адвоката.

Нас ждала одинаковая процедура – кристаллическая кровать. Я не осмелился выпытывать подробности, сказал о себе, что борюсь с возможными метастазами, которые пока не обнаружены, но могут присутствовать, Карима в ответ разоткровенничалась: «Двенадцать лет назад врачи мне смерть предрекли через полгода. Три операции лампэктомии. Знаете, что это такое? Секторальная резекция молочной железы. Хотели полностью грудь удалить. Я отказалась, и от химиотерапии тоже». – «И что же дальше?» – «А дальше – Абаджания. Три визита, несколько операций, ну, так они называются, хотя медиум никого не режет. Каждый раз возвращалась домой с чувством, что страхи ожидания смерти исчезли. Потом страхи снова посещали, и я возвращалась сюда. И танцевала по несколько часов ежедневно, утром и вечером, я очень люблю танцы, мечтала стать балериной, но не получилось. Доктора поражались моей энергией, брали анализы, удивлялись, что не могут обнаружить метастазы, пугали предположениями, что гадость эта прячется в костях или мозге. Я им не верила, рассказывала о своем абаджанском опыте, они советовали обратиться к психиатру... А я танцую...», – короткий смех рассыпался мелким бисером.

Я подумал, неплохо бы закрутить с Каримой небольшой роман, она была бы не против или мне кажется? Шалая идея приплыла и так же легко потерялась в безбрежном океане летучих мыслей.

Накануне поездки в Абаджанию я готовил себя к лицемерию сплошных страданий, боли, застывшего ужаса в зрачках, он присущ пораженным раком и легко отличает от прочих нездоровых людей, а увидел совсем иное и поначалу был ошеломлен, выбит из колеи. Меня окружали изъедаемые недугами и при этом выглядевшие во все не несчастными, отринутыми, жалуящимися на немилосердную судьбу – напротив, лица их источали умиротворение, радость и любовь. Чему радоваться? – недоумевал я. – Тому, что жизнь твоя висит на волоске и ты уповаешь на каких-то Entities, духов, якобы вселяющихся в тело и мозг медиума Жоао? Он – твоя последняя надежда после того, как ты разочаровался в докторах? Принять это и растворить в себе я пока не мог, как ни пытался.

Если хочешь выздороветь, лечи свою душу, – повторял фразу Мэтью и сетовал, что душа моя, если таковая имеется, пока пребывает в потемках, до лечения еще очень далеко, а следовательно, если Мэтью прав, делать мне в Саа нечего. Смириться с этим я никак не хотел и вечерами, когда все в Абаджании затихало и умолкало, перечитывал скопированные в Сети и отпечатанные накануне моего отъезда статьи о Жоао. Толком я с ними не познакомился – не хватило времени, и теперь открывал для себя как бы заново. Я хотел наложить знания и открытия на личное впечатление.

Похоже, я совершал ошибку: перечитыванием статей стоило заниматься с большой осторожностью. А может, вообще не стоило. Образ целителя, называемого John of God – Божий человек, должен быть оваян легендой, существовать с сияющим нимбом, походить на солнце, только без пятен. В него надо верить безгранично, иначе все бессмысленно. Пример моих новых знакомцев говорил именно об этом – они не лгали, излагая свои истории, такое выдумать нельзя. Мои же вечерние чтения не избавляли от неверия, что было скверно, особенно после того, как ожили в памяти публикации некоего Джо Никеля.

В таком, признаться, смятенном состоянии духа я познакомился с Юрием. Произошло это вечером, перед сном, мы столкнулись в дверях пусады и оказались соседями, его комната была напротив. Странно, что я раньше его не видел. Он первый обратился ко мне на русском.

– Откуда вы узнали, что я говорю по-русски? – спросил я.

– Не знаю... Интуиция, наверное.

Мы пожелали друг другу доброй ночи. Юрий спросил, какие планы у меня на завтра, я ответил: кристаллическая кровать.

– И у меня тоже. В какое время?

– В десять тридцать.

– Совпадение. И у меня на полодиннадцатого.

После завтрака, но не с раннего утра, мы отправились в помещение с кристаллическими кроватями.

– Только не идите быстро, я за вами не поспею, – попросил Юрий. Походка соседа чем-то напоминала передвижение на ходулях. В детстве я мастерил из досок нехитрое приспособление и вышагивал по улице на манер журавля. Юрию шаги давались нелегко.

– Я и сам быстро не могу ходить, – успокоил его и это была правда – после операции на сердце прошло почти два десятилетия, бэйпасы столько не служат, но мне служили и лишь с каждым годом становится труднее идти вверх и подниматься по лестницам. Сейчас, впрочем, это неактуально – совсем иная причина привела меня в Абаджанию.

Невысокий, узкий в плечах, я бы даже сказал, subtilный, Юрий напоминал взъерошенного воробышка – распатланная, непокорная расческе каштановая шевелюра, белая майка навывпуск с двумя понятными всем буквами – NY, хлопковые, плотно облегающие брюки, тапочки на босу ногу. Двигался он, однако, не подпрыгивая по-птичьи, а с некоторым усилием переставляя ноги.

– Я завсегда этих мест, в некотором роде рекордсмен – побывал в Casa двенадцать раз, – без всякой гордости, скорее с грустью, приоткрылся Юрий. – Через семь лет после эмиграции заболел, диагноз – рассеянный склероз. Ноги отказывались ходить. Слабость ужасная. Лечился у невропатолога: уколы разные, когда совсем худо – через капельницу стероиды вводили. Короче, инвалид без шансов поправиться.

– Вы молодец, ходите отлично, – захотелось его поддержать.

– Видели бы вы меня года три назад... – горько усмехнулся. – Без костылей никуда.

Его история, уложенная в десять минут рассказа, поразила: если такое возможно, следовательно, хозяин Casa и впрямь маг и волшебник, хоть без конца повторяет заученное давно: лечу не я,

лечит Бог, а вы лишь должны мне помогать. Так вот, случайно узнав о Жоао, Юра с сыном прилетел из Нью-Йорка в Абаджанию. Сын возил отца в инвалидной коляске. И в первый же день Юра познакомился с русским доктором-физиотерапевтом из Бостона. У него рак в последней стадии. Его привезли на носилках теща и теща. Это был второй приезд. «Он мне дал напутствие: «Юра, важно понять две вещи, без которых твое пребывание здесь бесполезно. Вера в Бога. Вера в излечение, которое придет через Жоао...» Врач этот умер, но почти четыре года прожил по-человечески, даже работал, у него ребенок родился... Я задумался над услышанным. В то, что медиум мне поможет, я верил, но вера в Бога... Я вырос атеистом, работал инженером на кораблестроительном заводе в Николаеве, будучи евреем, в синагогу не ходил, шабат не соблюдал. Как мне быть?

Мой спутник остановился передохнуть, вытер пот со лба тыльной стороной ладони, сделал глубокий вдох и выдох.

«Операцию Жоао не назначил. Сын спросил через переводчика, почему? «У вашего отца мало энергии, его надо зарядить». И медиум положил меня в специальную комнату. Я лежал с закрытыми глазами, медитировал, как умел и как понимал этот процесс. Обратился к Богу: «Укрепи мою веру, яви какое-нибудь чудо. Например, сделай так, чтобы я начал читать без очков (у меня дальнозоркость)». Я чувствовал ужасную слабость. Помощник медиума Артуро успокоил: «Не волнуйся, все поначалу чувствуют себя неважно, это пройдет...» И прошло. Самое поразительное – вечером я открыл книгу и смог читать без очков! Представляете?! Полгода не пользовался очками, потом, правда, дальнозоркость вернулась, однако факт налицо, Бог услышал мою просьбу».

Мы почти пришли, Юра вынужденно скомкал рассказ, к моему большому сожалению. Из его слов вытекало, что после второго посещения Casa он уже не пользовался инвалидной коляской, начал ходить сам, опираясь на палочку. Во время шестого приезда распрощался и с ней. Жоао внимательно осмотрел его, пощупал, потрогал мышцы и внезапно отбросил палку: «Больше не нужна...» В Абаджании он ощущает невероятный прилив энергии, но и в Нью-Йорке живет нормально: водит машину, может пройти достаточное расстояние на своих двоих, раньше капельница со стероидами полага-

лась раз в три месяца, теперь – раз в пять месяцев. Ездит к Жоао дважды в год, в мае-июне и сентябре...

Принимая кристаллические лучи, я осмысливал рассказанное Юрой и пребывал, признаюсь, в растерянности – слова его не вписывались в блуждавшую в воображении слоистую картину, мне мешало знание, почерпнутое из статей, одно перекрывалось другим и создавало в голове форменную кашу. Уж лучше бы я ничего не читал...

Ближе к вечеру условились пойти к целебному водопаду. Юра предупредил – будут его приятельницы Алла и Люда. Я ничего не имел против. Разрешение на посещение водопада следовало получить лично от Жоао – такая заведена система. Юра и, как я понял, его приятельницы имели такое разрешение, я получил его вчера с помощью Диего, едва начался очередной цикл общения с медиумом – Casa открыта три дня в неделю, со среды по пятницу, остальное время у паломников – медитация, прогулки, отдых. Я недоумевал – к водопаду может идти любой без всякого разрешения, никого не проверяют, но почему-то никто не пользуется такой возможностью. Обман, даже такой мелкий, не вписывается в моральный кодекс паломников, что делает им честь, иронично усмехнулся.

Обе дамы в летах были при полном макияже, очевидно, рассматривая прогулку как свидание с мужчинами. Белый костюм Аллы со стильными укороченными брючками без манжет выглядел весьма элегантно, явно не из магазина, а пошит на заказ, Люда одета была попроще – короткая юбка и топ на бретельках. Я сделал дамам комплимент по поводу их одежды, Алла снисходительно склонила голову в знак одобрения моих слов и как бы между прочим заметила, что работала в «Метрополитэн-опера», шила театральные костюмы.

Мы фланировали вчетвером как супружеские пары, чинно и благородно. Дамы восхищались порядками Casa. Алла вспоминала: «Когда я попала сюда в первый раз, пришла в ужас от деревни: жара, кондиционеров и холодильников нет, вода нагревается только солнцем, множество мух... А вошла в Casa и ахнула – везде необыкновенная чистота, прохлада, птицы поют, люди в белом сидят в беседках, медитируют, все улыбаются, даже те, кто везет больных детей в инвалидных колясках. Покой и благолепие. И я оттаяла душой, тоже

стала улыбаться, перестала замечать мелкие неудобства...» Люда поддержала разговор и призналась, что хотела бы постоянно жить здесь. Я внимал молча и спрашивал себя: наступит ли пора моих аналогичных признаний в любви и привязанности к Абаджани?

Юра сказал, что путь до водопада занимает полчаса неспешного шага по крутым спускам и подъемам среди живописных садов и полей. Ему будет нелегко, подумал я. А каково женщинам с их болячками, о которых я не имел ни малейшего представления? Да и я небольшой ходок по долинам и по взгорьям... Ну уж как будет.

Красный песок с блёстками кварцевой крошки и зелень в обрамлении делали дорогу приятной и веселой. Цветы, травы и деревья с неизвестными мне плодами создавали особый колорит. Мельтешили колибри – махонькие жёлто-голубые птички с длинными клювами. Попадались пёстрые ящерицы. Над долиной на разной высоте кружили огромные птицы с черным оперением, некоторые резко снижались и можно было разглядеть белые пушистые воротники вокруг шеи и широкие белые каёмки на крыльях. «Кондоры», пояснил Юра.

Идти было нелегко, догадливых женщин выручала обувь с плоскими подошвами, Юра сменил тапочки на кроссовки, я был в матерчатых туфлях. Мы дошли до большой разровненной площадки с деревянной беседкой и широкими скамейками, чтобы ожидающие своей очереди на вход к водопаду могли отдохнуть в тени. Перед началом узкой тропинки, ведущей к ущелью с уже слышимым водопадом, щиты с надписями на английском и португальском предупреждали: «Внимание! Частная территория. Категорически запрещён вход дальше этой линии без разрешения. Правила посещения: вход по два человека. Мужчины и женщины отдельно. Максимум пребывания у водопада – пять минут на одного человека. Фото- и видеосъемка запрещены».

Водопад особого впечатления не произвел. После виденных мной Ниагары и Игуасу выглядел их жалкой копией. Женщины и Юра, однако, пребывали в восхищении. Я среди них был белой вороной.

Вернулись в деревню к восьми вечера, перед самым закатом. Алла пригласила к себе в пусаду, это метрах в пятидесяти от нашей гостиницы. Пили заваренный хозяйкой комнаты травяной чай. Пе-

ред чаепитием женщины и Юра приняли по растительной капсуле пассифлоры, капсулы продаются в местных ларьках, помощники медиума их настоятельно рекомендуют, называя чудодейственными. Я принимать не стал и усомнился в чудодейственности пассифлоры: обыкновенное успокоительное, снотворное, о цветке этом с незапамятных времен известно, индейцы его пользовали, называли маракуйей, оно мне за ненадобностью – я и так здесь сплю как убитый. «Между прочим, у цветка три рыльца пестика, – проявила осведомленность Люда. – Это как три гвоздя, которыми Христа к кресту прибили. Вокруг пестика терновый венец, тычинки – раны, острые листья – пики, которым тело пронзали. А вы говорите – пассифлора не чудотворная»... И тут меня прорвало. По сей день не понимаю, что тогда случилось, но вдруг накрыло с головой, точно приливная волна, желание высказать раздиравшие меня сомнения, поделиться невозможностью излечивать душу, внутри вскипало, ошетинилось, негодовало, я кидался на себя, как остервенелый зверь, это длилось несколько секунд, гневные эмоции начали угасать и возникло стойкое желание выступить в незавидной роли адвоката дьявола.

– Черт с ней, с пассифлорой, – произнес я, скрипнув зубами так, что Юра посмотрел на меня с удивлением. – Вы мне, друзья, ответьте на прямой вопрос, только не подозревайте в злом умысле – просто хочу разобраться: вы верите Жоао, считаете его спасителем? Неужели не задумывались, что все его приемы и фокусы ни на йоту не приближают к выздоровлению? Что он попросту дурит нам голову...

Установилась нехорошая тишина. Алла отстраненно помешивала ложечкой чай, Люда смотрела выпученными, как при базедовой болезни, глазами, Юра хмурил лоб. Он и нарушил молчание.

– Что с тобой, Даниил? (перешел на «ты») Какая муха тебя укусила? Перед тобой трое тяжело больных, находящихся спасение в John of God. Мою историю ты знаешь. Алла, расскажи свою...

– Мне печень пересадили, – включилась она в разговор, резко выдернув ложечку из чашки. – Долго искали донора. Наконец, нашли. Через десять дней печень отторглась. Сделали повторную пересадку – к счастью, донор быстро нашелся. Вы не представляете, что я вынесла, лекарства вливались в меня потоком... В общем, выжила. Поводов для посещения Абаджании, как вы догадываетесь, хватало. Жоао провел бесконтактную операцию. Я его предписание

нарушила и вместо того, чтобы сутки лежать и отдыхать, пошла по окресным лавкам. До четырех часов дня все было нормально, потом – ужас, кошмар, спазмы. Еле-еле пришла в себя... Он сказал, что я мало медитирую. Я отправилась наверстывать упущенное, в зале для медитации ассистент медиума указал мое точное место, я же самовольно пересела поближе к Жоао. Закрывает глаза, погрузилась в приятные мысли, сколько прошло времени не знаю, и потеряла сознание. Мой организм, как объяснили, не выдержал избытка энергии... Два месяца в Нью-Йорке я принимала капсулы пассифлоры. В госпитале Маунт-Синай врачи изумились результатам тестов и понизили дозы таблеток...

– У меня лимфома была, – Люда продолжала недобро смотреть на меня – видно, крепко я ошарашил своими неуместными откровениями. – Три раза посетила Casa. В общей сложности одиннадцать бесконтактных операций. Избавилась от лимфомы, от болей в желудке, нормализовалась щитовидка. Мой врач посмотрел последние анализы, спросил: «Прекрасно выглядишь, где отдыхала?» И вы считаете, что Жоао нам дурит голову? Какая глупость!

– Надо быть терпимым, не спешить, не переживать попусту, не терзать себя, попытаться оставить за порогом гордыню, агрессию, эгоизм – и тогда все получится, – Юра как бы мне в утешение.

– Друзья, охотно верю. Не злитесь, я это не вам, я это себе говорю. Вам легче, нежели мне, вы верите, а я покамест – нет, не проникся верой. Мне хуже, чем вам, поэтому имейте снисхождение. – Звучало чуть ли не самооправданием, извинением. – И тем не менее... Вам знакомо такое имя – Джо Никель? Нет? Он ученый, дотошно изучал трехнедельную сессию Жоао в Атланте, да еще вместе с телевизионщиками.

– И к каким выводам пришел? – спросила Алла.

– Без обиняков называет Жоао мошенником.

– Не удивлюсь – у Жоао много врагов, завистников. Доктора оборону выстроили против него, он, по их мнению, отнимает у них хлеб. А недавно пара оголтелых баб обвинение выдвинула, что он трогал их за интимные места, а одна заявила о якобы изнасиловании во время сеанса.

– Американки? – спросил я.

– Кто же еще! У нас с этим чертовым харрасментом формен-

ный психоз, бабы, простите за вульгарность, сами ноги раздвигают и потом бегут в полицию. Как, я вас спрашиваю, он может кого-то изнасиловать, когда все процедуры открыто происходят, их многие наблюдают?

– Говорят, у него специальные помещения имеются для частных сеансов. Он мощным гипнозом обладает...

– И что? Не забудьте – ему далеко за семьдесят, у самого здоровье не очень, перенес инсульт. До баб ли ему...

– Ну, это как сказать..., – я непроизвольно улыбнулся. – И все-таки... Кому-нибудь из вас он всовывал пинцет в носовую полость? На всю глубину?

– Мне, – отозвался Юрий.

– И какое впечатление?

– Сильное. Боли не было, что удивительно. После этого я сутки в лежку, потом потрясающее самочувствие.

– Так вот, это старый карнавальный трюк. Оказывается, носовая пазуха расширяется от ноздри вглубь, образуется вполне безопасное пространство, куда можно засовывать что угодно, пинцет, например. Большинство людей об этом не знает, а Жоао знает. Далее... Чистка глазного яблока обыкновенным ножичком. Коронный номер медиума. Никель утверждает: тоже вполне безопасный фокус. Между прочим, оба трюка показывали в Вашингтонском шоу-баре Palace of Wonders. Что вы на это скажете?

– Вы, Даниил, слепо верите какому-то Никелю, а я верю Мехмету Озу, известному американскому хирургу, – перебила Люда. – Мы все ему верим, знакомы с его высказываниями... АВС снимала фильм о Жоао и захотела получить мнение Оза. Взяли для исследования пятерых паломников: у одного опухоль мозга, у другого болезнь Лу Герига, у остальных неподвижность из-за автомобильной аварии, синдром хронической усталости и рак груди. Тот еще *набор*. И у всех значительное улучшение состояния после посещения Абаджании, а у одного опухоль мозга вообще исчезла. Оз по его поводу заметил: «Что-то остановилось в процессе, который обычно протекает весьма агрессивно». Про девушку с повреждением спинного мозга сказал: «Маловероятно, что она имела бы такой прогресс, используя исключительно физиотерапевтическое лечение». Ну и в отношении остальных высказал похожее...

– Он еще хорошо сказал о графике на коже, – Алла смотрела на меня прямо, не мигая, вовлекая в строгую орбиту доказательств. – Жоао расчерчивает острым предметом на коже человека некую схему, график. Оз развел руками – «либо он целитель, наделенный уникальным талантом, либо ненормальный».

– Относительно пинцета в носу. Оз удивился, что эта процедура может оказывать оздоровительное воздействие, – добавил Юра. – Оказывает, по себе сужу.

– Выходит, у нас спора нет, даже известный хирург сомневается в методах Жоао.

– Оз не сомневается, он просто не может понять, как это лечит, а мы на себе чувствуем, объяснить не можем, но чувствуем...

Через три дня Юра покинул деревню, мы расстались вполне дружески, обменялись телефонами. Аллу и Люду я пару раз встретил на прогулке, я был не один (об этом чуть позже), мы раскланялись и не остановились поговорить. Дамы смотрели на меня как-то иначе, не так, как в момент знакомства и долгого откровенного разговора – я безобманчиво уловил изменение. Чего было больше в их взглядах – сочувствия, сожаления, сострадания, жалости, я не мог определить. Меня это покорило и я решил прекратить общение. Собственно, оно прекратилось само собой, без моего участия.

17

Медиум назначил еще одну бесконтактную операцию, я перенес ее легче предыдущей, ноги и руки уже не висели тяжелыми гири, и спал меньше. Медитировал, по-прежнему читая Пастернака – других стихов наизусть не помнил. Похоже, я начинал привыкать к новому укладу, силы прибавлялись, извилистая дорога к водопаду с подъемами и спусками преодолевалась без натуги. И впрямь, Абаджания привлекательнее любого курорта, пребыванию здесь сопутствуют душевный комфорт, покой и нега, думал я, вступая в противоречие с самим собой, покамест отторгавшим ауру этого места.

Нет-нет и мелькало назойливым мотыльком мерзкое словцо *озлокачествление*, оно не вызывало привычных пугающих эмоций, я пропускал его мимо себя, отбрасывал за ненадобностью, как ветошь, хлам.

Жизнь протекала неомрачаемо и спокойно, Нью-Йорк померк в туманной дали. Так продолжалось до того момента, как я вошел в кафе «Фрутти» – местную достопримечательность. Алкоголь в деревне не продавался, я забыл вкус виски или коньяка, зато асаи было нечто. Прежде не пробовал, читал, что супернежная, деликатная ягода растет гроздьями, как виноград, на деревьях в долине реки Амазонки, напоминает нечто среднее между смородиной и голубикой, вкус у асаи неоднозначный, из-за чего никто точно не может определить, на что он похож: кто-то говорит, что напоминает малину, кто-то чувствует орех, а для кого-то плоды отдают шоколадом. После сбора асаи из нее удаляют косточку и замораживают сладкую массу в виде брикетов. Ягода невероятно богата витаминами, во всяком случае, так говорят. «Фрутти» завоевал известность всевозможными витаминными смесями.

Я заказал асаи с ананасом и устроился за свободным столиком в углу, откуда хорошо просматривалось небольшое помещение. И в этот момент в кафе вошли две женщины, невысокая пожилая и молодая, на голову выше. Я обратил на них внимание, через пару минут они заняли соседний столик, купив коктейли асаи. Пожилая, по-видимому, мать, находилась ко мне спиной, дочь села анфас, я хорошо ее видел, нас разделяли каких-нибудь полтора метра. Одежда она была в плотно облегающую тело и подчеркивавшую грудь белую рубашку с короткими рукавами и шорты, волосы теплого платино-блондинистого оттенка убраны в хвост. Я машинально перевел взгляд ниже и уткнулся в колени девушки. И вспышкой молнии, разрядом вольтовой дуги, боксерским хуком в подвздошье ударило и ослепило хранившееся в отдаленном закутке памяти напоминание о поездке в сабвэе, когда мне впервые уступили место. Колени были сочные, полные и круглые, чашечки не выпирали, не морщинились складками кожи, натянутой, как на барабанах, колени являлись украшением длинных ног девушки – естественного продолжения лона, привораживали, спирали дыхание. Вдруг выплыло читанное бог знает сколько времени назад: в спокойном состоянии передняя часть колена должна иметь форму детского личика с челкой, щечками и ямочками для глаз и подбородка. Чушь, потому и запомнилась: никакого личика, челки и щечек в открывшейся передо мной красоте я не распознал. Неужто та самая незнакомка из

ньюйоркской подземки, которую я нет-нет и видел памятью? Не может быть, разве возможны такие совпадения... Лица я, признаться, тогда не запомнил, обыкновенное симпатичное лицо без особых примет. Стоп, как это без *особых примет* – а родинка над верхней губой справа? Я беззастенчиво вперился в сидящую напротив, она отставила высокий бокал с коктейлем и соломинкой и удивленно посмотрела на меня. Никакой родинки я вроде бы не обнаружил. Повинуясь внезапному импульсу-приказу, я поднялся с места и шагнул к соседнему столу.

– Милые земляки, добро пожаловать в Абаджанию! – выдал тираду с подъемом, как заправский гид.

Мать от неожиданности едва не выронила бокал, дочь состроила непонятную гримасу – мое вторжение ей, похоже, не понравилось.

– Почему вы решили, что мы земляки? Разве мы знакомы? – выдавила пожилая.

– Сдается мне, что однажды наши пути пересеклись. Вы живете в Нью-Йорке, верно? – с нетерпением ждал ответа: как обидно будет, если интуиция подведет.

– Да, вы угадали. Но мы никогда не встречались, верно, Поля? – подала голос мать.

Дочь кивнула в знак согласия – не встречались. Я же продолжал разговор в приподнятом тоне.

– Имя вашей дочери я теперь знаю – Полина. А вас как зовут? – обращаясь к матери.

– Изольда Викторовна. Можете звать Изольда, – мать подала сигнал, что мое бесцеремонное желание познакомиться не отторгнуто.

– А я Даниил... Красивое, редкое имя – Изольда... Тристан и Изольда. Кажется, советские герои-полярники любили так называть новорожденных девочек. Изольда – «изо льда».

– Я не изо льда, я нормальное человеческое существо. После ваших слов подумала: в самом деле, лучше родилась бы во льду, тогда, может, не заболела...

Изольда и впрямь выглядела неважно: землистые, без намека на загар, впалые щеки, худоба, мерклый нутряной взгляд, в котором угадывалось нехорошее. Товарищ по несчастью, подумал я.

Я сел рядом и еще раз пристально взглянул на Полину. Родинка, мушка в самом деле отсутствовала, зато в самом низу подбородка заметил крошечный, чуть более булавоочной головки, шрамик. Закралось сомнение – может, не Полина уступила мне место в под-земке?..

Мы вышли из кафе и решили прогуляться. Новые знакомые сообщили, что прилетели в понедельник, в среду Изольда побывала в Casa и осталась недовольна: медиум не назначил никакой операции и отправил в комнату медитаций. Зато Поле, хотя она ни на что не жаловалась, оказал внимание, назначил на пятницу контактную операцию. «Жоао делает ее тем, кому не исполнилось 52, – пояснила Изольда. – Мне, к сожалению, больше. Особенно любит резать на груди, включая женщин – тем, разумеется, на животе. Делает надрез, берет иголку с ниткой и зашивает несколькими стежками. Потом надо отдыхать. Мы с людьми говорили, кого Жоао резал – уверяют, что испытывают невероятно сильный прилив энергии...» – «Зашивает он, наверное, здорово, недаром когда-то портным работал. Особенно любит оперировать молодых красивых девушек», – добавил я. – «Вы на что намекаете?» – спросила Полина. – «Избави, боже. Просто слухи разные...»

Изольда вновь посетовала на медиума: «Летели сюда столько времени, потратили уйму денег, а пока в простое, у меня рак прямой кишки, мне надо уделить особое внимание...»

Я посочувствовал, примерил сказанное на себя – неужели и я столь же категоричен, злюсь там, где надобны терпение и мудрость... Одни выздоравливают быстро, другие – медленно, третьи вообще не выздоравливают. Все на свете внутренне взаимосвязано. Самые главные вещи – невидимые, их можно почувствовать только сердцем. Случайно ли Жоао столь неохотно берется исцелять людей с онкологией? Хитрый, он все понимает... Этим соображением я с Изольдой не поделился.

Она захотела отдохнуть и попросила проводить ее в пусаду, мы с Полиной продолжили прогулку. Давно я не испытывал такого подъема, как в эти минуты. Уже не помнил, когда рядом шла молодая женщина, от которой исходил *особый аромат* – мягкий, чувственный, свежий и здоровый, впитавший пьянящий парфюм, запахи травы, цветов, деревьев, чьих названий я не знал, меда, це-

лебного супа, ветра из долины. Когда она смеялась, солнечные зайчики играли в ее глазах, и я невольно замирал. Я читал стихи, говорил без умолку, расспрашивал Полину о ее жизни – она закончила колледж и работала в финансовой компании, отец разошелся с матерью, у него другая семья, есть ребенок, живет Полина с матерью, ее рак вряд ли излечим, речь идет только о продлении существования, для чего и прилетели в Абаджанию. Замуж Полина не собирается, есть претендент на руку и сердце, но пока мать в таком состоянии, о свадьбе дочь не хочет думать. Так и живут...

– Ты утверждаешь – мы познакомились, но где, когда, при каких обстоятельствах? Приоткрой завесу.., – вернулась к началу разговора в кафе. Неожиданное «ты» порадовало снятием барьера, начальное отчуждение, похоже, сменилось приятнью.

– Однажды летом в метро ты уступила мне место. Поезд Q шел по Манхэттену. Мы ни единым словом не обменялись, но я тебя запомнил и вспоминал потом. Ты была ослепительно красива.

– Я часто пожилым место уступаю, это правда. Но тебе, такому моложавому, без живота, могла и не уступить, – кокетливо хохотнула.

Без живота... Видела бы ты меня перед операцией.., подумал я.

– За моложавого спасибо. А куда делась родинка над верхней губой?

– Какая родинка? Не было никакой родинки.

– Ну, мушка. Я точно помню – была.

– И мушки не было. Тебе показалось. Или не я была, а другая.

Я непроизвольно пожал плечами – может, и впрямь перепутал? Коленки женские, они ведь похожие... Недоумение длилось секунду, что-то мешало услужливо принять Полину версию, я не желал расставаться с иллюзией: часто вспоминая историю, ознаменовавшую начало моего недуга и никак не связанную с ним, видел воочию высокую девицу с айфоном, по воле невероятного случая встретился за тыщи миль, и на тебе – не та, другая, коленки другие. Не хотелось верить.

– Откуда шрамик на подбородке? – продолжал допытываться, словно это могло помочь прояснить ситуацию.

– Ну, ты глазастый... Упала в детстве на даче с дерева.

Так я и не определил до конца, Полина была тогда в савэе или

похожая на нее. Вскоре, по ходу развития событий, это уже не имело ни малейшего значения.

Вечерние прогулки с матерью и дочерью стали моим основным времяпрепровождением, хотя я предпочел бы беседовать с Полиной наедине, Изольда вносила в наше общение грусть, тоску и безнадежность, ибо, по моим наблюдениям, находилась в четвертой стадии болезни – ею владела депрессия. Мне было неизмеримо легче, моя ситуация не выглядела безнадежной, я, по сути, избежал этого состояния, а может, одиночество приучило к стойкости духа, Изольда же испытывала тяжелейшие переживания, отсюда раздражительность, обида на всех, жалоба на немилосердную судьбу – и вера в чудо. Ей не повезло – она все знала про свой диагноз и готовилась к финалу как могла и умела, а происходит это у всех по-разному, и повлиять на это невозможно. Для нее Жоао был последней надеждой, робкой, тлеющей, как пламя догорающей свечи, надеждой. Каждый *уходящий* проходит эти стадии: от «нет, только не я, не может быть», «почему именно я?» до попытки отсрочить неизбежное, терзаний перед финалом – и смирением, когда наступает последняя передышка перед дальней дорогой. Шопенгауэр прав: жизнь человека – постоянная борьба со смертью, постоянное умирание, прерываемое жизненными процессами. (*Кого пугает смерть, того и жизнь пугает*). Именно смерть – высший арбитр поиска смысла и цели жизни. Самые печальные люди на свете – философы, если бы не было смерти, их бы тоже не было. Я придумал историю и всякий раз рассказывал ее в московских компаниях: в кафе гостиницы «Националь» возле Кремля, в самом начале 60-х, куда бедный студент изредка заглядывал с рублем в кармане, которого, впрочем, хватало съесть овощной салат, судака по-польски и выпить чашку кофе, я встречал знаменитого, крепко пьющего поэта-острослова с друзьями-собутыльниками, однажды увидел, как он набросал на бумажной салфетке какие-то слова, и втихаря спер салфетку. На ней было написано: *Каждый год и цветет и отцветает миндаль...Миллиарды людей на планете успели истлеть.. Что о мертвых жалеть нам! Мне мертвых нисколько не жаль! Пожалейте меня! Мне еще предстоит умереть!* Так я стал обладателем ценного автографа.

Слушая байку, никто никогда не уличил меня в nepозволитель-

ной фантазии (впрочем, все фантазии позволительны) – стихи сочинены были в 1929-м, до смерти поэту оставалось еще 35 лет – целая жизнь. И ничего он не писал на салфетке, и не крал я ее, поскольку красть было нечего. Просто все выдумал... Прогуливаясь с матерью и дочерью, вспомнил стихи эти, но читать вслух не стал – Изольде не стоит слушать...

Я пытался отвлечь ее от мрачных мыслей, рассказывал истории из практики сочинителя, выискивал посмешнее, ну, например, как однажды мне позвонила дама по имени Вера и попросила помочь в написании поминального слова на похоронах горячо любимой свекрови; мы договорились встретиться, дама продиктовала манхэттенский адрес, я обомлел – это был адрес дома Трампа. Квартира ее занимала этаж, не помню, то ли 63-й то ли 64-й, Вера водила меня анфиладой комнат, приговаривая: «Обратите внимание: из каждого окна видна Статуя Свободы...» Позднее, после ареста сотрудниками ФБР ее мужа, русского деловара, за отмывание денег и прочие неблагоприятные вещи, я часто вспоминал коронную фразу. Это как в еврейском анекдоте: «Вы не знаете, где сейчас живет Рабинович? Раньше он жил напротив тюрьмы». – «Теперь он живет напротив собственного дома». Самое смешное заключалось в том, что свекровь была жива, Вера готовила текст загодя, на случай кончины свекрови. Возможно, свекровь жива по сей день...

Изольда засмеялась, улыбка шла ей, изможденное лицо на мгновение-другое засветилось, исчезнул изъедающий страх и проступили слабые, размытые контуры надежды.

На завтра она вновь встала в очередь к медиуму. Не знаю, что написала в записке, возможно, слезную просьбу обратить на нее особое внимание, переводчик перевел на португальский, медиум выслушал и назначил ей спиритуальную операцию в пятницу и три кристаллических кровати. Я поделился ощущениями, сказал, что после операции никакой активности, надо спать и что, действительно, я чувствовал вмешательство высших сил, тяжесть в ногах и руках. Изольда удовлетворилась моим рассказом. Настроение ее заметно улучшилось, даже голос стал чуть звонче.

Мы увиделись в субботу вечером в кафе «Фрутти». Коктейли с асаи были необыкновенно вкусны. Изольда рассказала, что операция не произвела на нее особого воздействия, хотя она истово

молилась, медитировала, словом, делала то, что требовалось. «Тело действительно налилось тяжестью, но не сильно, и спала я не двенадцать часов, как вы, а семь. Слава богу, начало положено. Буду просить контактное вмешательство». Полина делилась своими впечатлениями едва не с улыбкой – для нее, совершенно здоровой, брызжущей соками молодости, крохотный надрез на коже в правой части живота и зашивание нитками выглядели чем-то диковинным. «Не больно, но не особо приятно, пальцы Жоао гибкие, сильные, это я заметила. Он заверил – через три-четыре дня на коже не останется следов. И еще сказал – для усиления энергии ему требуется провести со мной частный сеанс в его кабинете... Я ничего не ответила. Не нужно мне все это, я здорова... «А как твое мнение?» – обратилась ко мне. – «Не знаю... Решай сама, надо ли оставаться с ним один на один, без свидетелей. Опять же по слухам, Жоао обожает молоденьких...» Изольда поддержала меня – не стоит...

В беседке у водопада, где мы оказались через часа полтора, решив понаблюдать за закатом и восхититься его красками, Полина вдруг спросила: а как лечится Жоао в случае заболевания? Вызывает духов, Entities – царя Соломона, Игнатия Лойолы – великого медиума, родоначальника ордена иезуитов, знаменитых в прошлом лекарей и прочих личностей – вон сколько их портретов и фотографий развешаны по стенам Casa, или едет в госпиталь к нормальным докторам?

– Действительно, как? – повторила вопрос дочери Изольда.

– С духами все в порядке, – подтвердил я предположение Полины таким тоном, что меня трудно было заподозрить в имевшем место легком ерничестве. – В 16 лет в Жоао вселился дух царя Соломона, с той поры он открыл в себе чудодейственную силу и стал медиумом. Но вот какая штука... Бразильский журнал сообщил: в 2015-м сын Божий почувствовал боль в животе и отправился в госпиталь. Ему сделали эндоскопию, выявили агрессивный рак желудка. Вместо духовной хирургии выбрал Жоао настоящую, проверенную медицинскую операцию, на удаление опухоли потребовалось шесть часов. Дальше – химиотерапия в течение пяти месяцев. Сейчас жив-здоров, значит, все сделали вовремя.

– Нисколько его не осуждаю, – заметила Изольда. – Я читала: он вовсе не отрицает традиционные методы лечения. Вот и сам вос-

пользовался. Однако он дает то, что не могут дать обычные доктора, пусть и самые знаменитые. Кто только не прибегал к его услугам! Опра взяла у него интервью, посетила одну из сессий и призналась: «То, что я только что засвидетельствовала, почти заставило меня потерять сознание». А Ширли Маклэйн, а Наоми Кэмпбелл, даже Роналду, звезда футбола...

– Мама, не забудь про двух президентов Бразилии. Лула, после того как ему поставили диагноз рак гортани, перенес духовную операцию, Дилма Руссефф также провела некоторое время в Абаджании.

– Друзья, вы так теоретически подкованы, что мне просто завидно, – улыбнулся я.

– Не ехидничайте, Даниил. Вы ведь тоже многое прочли перед поездкой и составили свое представление, верно?

Я не отрицал.

Изредка Изольда отпускала дочь на свидания со мной, ссылаясь на неважное самочувствие, и это были замечательные прогулки. Мы, наверное, неплохо смотрелись: почти одного высокого роста, на нас обращали внимание (я делал себе комплимент – засматривались и оборачивались на Полину, я никого не интересовал). Интересно, что они думают о нас... Старый мужик ведет юную красавицу – внучку, дочку, любовницу? Ну, *любовница* в воображении паломников не возникала – слишком смелым выглядело предположение, так я полагал. «Королева Абаджании», – высказался я по поводу спутницы. Она криво ухмыльнулась – титул не понравился.

Разговоры наши почти не касались Casa и прочего, связанного с моленной Домом, Полина расспрашивала о моем житье-бытье, о детях, внуках, почему развелся и почему потом не женился. «Жить одному трудно, особенно мужчине. Надо особым складом характера обладать, верно?» Мысль была вполне тривиальна, но от этого не менее царапающая. – «Ты права. Одна умная баба говорила: одиночество мое начинается в двух шагах от тебя. А можно сказать и так: одиночество мое начинается в твоих объятиях». – «Грустно... Мне тоже грозит одиночество, даже если выйду замуж», – отталкиваясь от моей фразы. – «Не выходи без любви. Измаешься. Впрочем, и любовь ничего не гарантирует, имея скверную привычку заканчи-

ваться». – «Если любовь закончилась, она и не начиналась», – где-то слышала. – «Вообще, лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж». – «Передо мной замечательная перспектива, не находишь?»

Я подметил еще одну особенность Полины: в ее лице нет-нет и проглядывала беззащитность – не беспомощность, а именно беззащитность, как у маленького ребенка. В такие мгновения хотелось прижать ее к себе, прикрыть собой, как во время обстрела родители прикрывают детей, защитить, оборонить. В такие мгновения я спрашивал себя: друг мой, а не влюбился ли ты часом? и отбрасывал предположение, страшась и не веря.

В беседах на вольные темы мы негласно отвергали всяческие табу, могли спрашивать о чем угодно, мне с Полиной было легко и нестесненно, она не давала почувствовать разницу в возрасте, на мой взгляд, чудовищную, ей было со мной интересно, а мне – с ней, она была совсем иной, не похожей на Джонатана и уж тем более на Костика. Изольда, тогда еще замужем, привезла дочь в Америку в шестилетнем возрасте, казалось, судьба готовила ей участь стать стопроцентной американкой, а она не стала – обожала Высоцкого, любила русские песни, старые русские фильмы (новые игнорировала, ибо считала скучными), по-русски говорила без акцента – заслуга матери, не давшей забыть родину.

– У тебя было много любовников? – спросил я, словно сделал папирный выпад.

Она глянула с укоризной: ну и вопросец.

– А у тебя? – парировала выпад. – Хотя можешь не отвечать – и так ясно...

– И все-таки? – настаивал я.

– Двадцать пять. Нет, пятьдесят, – и засмеялась мелко, мелко, рассыпчато, а в глазах шаловливые солнечные зайчики. Так и не удовлетворила мое праздное (а может, и не совсем) любопытство. Помолчала и добавила уже серьезно, с долей разочарования: – О чём с ними трахаться? Не о чём.

Ноги всякий раз приводили нас к молебному Дому с витавшими Entities и воплощающим их в себе Жоао, если, конечно, так все и происходило. Сегодня была суббота, Casa отдыхала.

– Кожа после операции зажила? – спросил я.

– Полностью. Никаких следов.

– Я, кажется, не говорил тебе: первый звоночек относительно моей болезни возник в тот день, когда ты уступила мне место в сабвэе.

– Или не я, что, впрочем, не имеет значения... Уж не считаешь ли меня или ту девушку виновницей твоей онкологии?

– Что за ерунда? Просто вспомнилось.

– Зато теперь я или та незнакомка реабилитированы. Мы замечательно общаемся, ты зла не держишь, верно? – Полина расхохоталась, и опять запрыгали солнечные зайчики...

Мы присели на скамейку в парке, предзакатное солнце не жгло, роняло ровное тепло, с холма хорошо просматривалась долина, Полина, не отрываясь, глядела вдаль, и вдруг я услышал тихое, словно извиняющееся, рыдание.

– Мама уходит... Я чувствую... Не спасет ее Абаджания.

Я машинально обнял Полину, она уткнулась носом в мое плечо и зарыдала по-настоящему. Соседние скамейки пустовали, иначе плач вызвал бы диссонанс – здесь, в рукотворном раю, все улыбаются, пребывают в прекрасном настроении, никто слезы не роняет. Вскоре она пришла в себя, вытерла щеки.

– Извини, поддалась настроению. Больше не буду... Объясни, Даниил, почему мы-бабы такие дуры? Мама любила мужа, отца моего, без памяти, а он гулял направо и налево. Она не разводилась, надеялась – образумится, в конце концов. Ну, ладно, баба есть баба, боится одной остаться да еще с ребенком на руках, а мужик, он-то как может существовать, во лжи и беспутстве погрязнув? Отец тянул до последнего, оставался в семье, которой не было, мучил маму. Ведь не любил, ноги о нее вытирал. Пока не нашел сравнительно молодую, богатую и нырнул в ее гнездышко. И ребенка, братика моего, на свет произвел. Мама после развода сама не своя стала, лечилась от тоски и в итоге онкологию заработала. Знаю твердо: депрессия, стресс – прямой путь к заболеванию.

Я молчал, не зная, что ответить. Пускаться в рацеи по поводу своего распавшегося брака не хотел, успокоительных слов-пилюль не мог подыскать.

– Мужчина берет и забывает, женщина дает и прощает, – только и изрек.

– Неужели и меня такая судьба ждет? Нет, лучше одной остаться. Ты, помнится, говорил: полная свобода возможна только как полное одиночество.

– Избави бог тебя следовать этому выражению. Все у тебя будет хорошо, вот увидишь, – горячо запротестовал я.

Я пригласил Полину к себе, она приняла приглашение как должное, без сомнений и колебаний – наши отношения достигли стадии взаимного доверия, да и чего опасаться молодой женщине в присутствии пожилого мужчины?

В нарушение здешних правил я предложил выпить, имея в виду окончание пребывания в Абаджании – Полина не возражала, только удивилась, откуда меня спиртное. «Купил в duty-free аэропорта во Флориде, где ожидал пересадку».

Я водрузил на стол «Хеннесси», сыр и фрукты – киви и апельсины. Разлил по чуть-чуть содержимое бутылки в пластиковые стаканы – других не нашлось. Коньяк оказался теплым, как остывающий чай, Полина поморщилась, но выпила.

– Он должен быть не из холодильника, тогда хранит все ароматы и вкус, – пояснил словно в оправдание. – Французы греют в ладонях бокалы с коньяком...

– Холодный пить приятнее, – возразила Полина.

В тот момент я не думал, что между нами может что-то произойти. И мысли такой не было. Думаете, лукавлю? Ничуть. Меня неудержимо влекло к ней, и каждая проведенная вместе минута оборачивалась радостью, повышала настроение. Забывалось, по какой причине я здесь, и сами собой вливались в меня бодрость духа, воодушевление, беззаботность и, как может показаться непозволительной в моем возрасте, молодцеватость. Полина служила эталоном красоты, напоминанием о былых моих любовях, ностальгически оживающих и переживаемых как бы заново. Однако почему *былых*, поправлял себя, я и сейчас готов пуститься во все тяжкие, вот только, увы, не с кем. А Полина? – начинал маячить докучливый вопрос и тут же отбрасывался ввиду нелепости постановки – где она, воплощение звонкой юности, и где я... Скинуть бы лет эдак... и тогда..., мечтательно думал я и становилось совсем грустно.

Полина устроилась напротив на диване в своих любимых белых шортиках, слегка разведенные коленки – моя погибель – глаза-

ли на меня бесстыже-откровенно, как невольно мнилось, и помимо воли заползало, змеясь, в мое естество греховное, о чем часом назад и помыслить не мог.

Бутылка на треть опустела. Полина расслабилась, распустила хвостик, блондинисто-платиновые волосы рассыпались веером по открытым плечам.

– Обещаю прочесть твои романы, особенно тот, который про любовь, ты часто упоминаешь его. Скажи, существует на самом деле любовь с первого взгляда или досужая выдумка?

– Безусловно существует. Живой пример перед тобой, – выдал и едва не прикусил язык от непозволительной вольности. Коньяк начал работать...

– Шутишь? – Полина правильно поняла.

– Ничуть.

– Хм... Ну, ты даешь..., – допила содержимое стакана, налила еще и после паузы: – А лекарство от такой любви есть?

– Второй взгляд.

Мы одновременно засмеялись.

– Так приглядишься ко мне, и твои фантазии померкнут.

– А коленки?

– Дались они тебе... Самые обыкновенные. И вообще, я самая обыкновенная, заурядная.

– Позволь не согласиться. Не наводи на себя напраслину. В женщинах мы видим сначала детали, а потом складываем, как пазл, единое целое. Кого-то глаза привлекают, кого-то волосы, кого-то грудь и так далее, а меня – коленки, хотя все остальное тоже замечательно.

– Ты – извращенец. Я тебя боюсь, – и озорно скосилась.

– Милая моя, нашла кого бояться... Я абсолютно безопасен.

– Я ни в кого не влюблялась с первого взгляда. Видно, не дано.

– А в тебя мальчики втюривались, вот так, сразу, как в омут головой?

– Не знаю... Мой жених... Он из другой породы, приглядывается, присматривается, примеряет на роль жены. А чтоб в омут, как ты говоришь, – нет, такого не было.

Я инстинктивно сделал шаг вперед, присел на диван рядом, обнял и осторожно тронул кончиком языка ее верхнюю губу. Полина

задышала глубоко и часто. «Боже, что я творю...» – застучало в висках. Я прижал Полину к себе и начал неистово целовать...

Не стану описывать дальнейшее. Я мог бы придумать сюжет о свойствах страсти, неистовом желании, шепотах и криках, о феромонах – запахах женщины, которые сводят с ума, и о многом другом, необъяснимом и загадочном, но не стану утруждать себя поиском нужных слов и выражений по простой причине – я *не помню* всех перипетий безумного часа, обрушившегося на нас подобно водопаду, а выдумывать, *живописать* не желаю. Да, это был час, подаренный свыше, час вожделения и похоти, час без минуты передышки – словно тело мое раз за разом выбрасывало долго копившийся ступок энергии, совершало квантовый скачок – я бы никогда не поверил, что в моем возрасте возможно такое.

Есть и еще одна причина нежелания подробно касаться этого. Кто бы не живописал постельные сцены, мужчины или женщины, к какой бы форме изложения не прибегали – подчеркнуто грубой или нежно-игривой, все одно получается скверно, пошло и смешно одновременно. Не случайно вручают литературные антипремии за худшее описание секса и почти нет премий за лучшее описание. Может, только Генри Миллеру удавалось, и то не всегда...

Вот послушайте...

«Она выгибает спину – будто кошечка потягивается. Она прижимается вагиной к моему лицу, как молодая кобылка, трущаяся о прутья калитки. От нее пахнет морем, заводью между скал, где мне случалось бродить в детстве. Она хранит там у себя морскую звезду. Я дотягиваюсь и слизываю соль, а когда мои пальцы пробегают по краю, она распахивается и смыкается, как актиния. Каждый день ее заливают свежий прилив желанья».

Или такое. *«Запах моей любимой до сих пор стоит у меня в ноздрях. Дрожжевой запах ее лона. Богатый ферментами запах поднимающегося теста. Моя любимая – ручная куропатка. Я зайду в ее низенький курятник, и она накормит меня. Стоит ей не помыться три дня, и запах уже кружит ей голову... Еще за входной дверью мой нос начинает подергиваться, я чувствую, как она идет ко мне по коридору. Она как флакон, благоухающий сандаловым деревом и хмелем, флакон, что я мечтаю откупорить. Мне хочется прижаться*

лицом к открытому колодцу ее лона. Она твердая и спелая, сложная смесь из запахов сеновала на скотном дворе и ладана, курящегося перед изображением мадонны. Она – ладан и мирр, горькие братья аромата смерти и веры. Когда из нее вытекает кровь, запахи, что знаю я, меняют цвет. В такие дни в душе ее – железо. Она пахнет пистолетом. Моя возлюбленная на взводе, она вот-вот выстрелит. На ней запах ее жертвы. Кончая тонкой струйкой белого дыма, что пахнет селитрой, она уничтожает меня. После такого расстрела я жажду лишь одного – ощущать последние содрогания ее страсти, передающиеся от самого нутра dokonчиков того, что врачи называют обонятельными нервами».

«Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную извилистость. Ее глаза были голодны. Как и его собственные, они горели огнем и желанием. Более чем жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этим насильственным удержанием могли сварить друг друга».

«Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я кончаю в нее, мой член пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. Я закрываю глаза, выдыхаю. Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь».

А как вам такое... «Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, – не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии обхватили мои и не отпускали. Как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли». Это уже Мураками...

Грешен, и я соблазнился изображением подобного, не знаю, к какой категории отнесли бы мои попытки строгие критики – вряд ли похвалили. Пришло время и я понял: описывать секс – это как пристально долго смотреть в глаза собеседника: глаза – личная зона и смотреть в них долго не надо никому, это ужасно неприятно, как будто тебя пытаются сканировать, влезть в твои мысли и душу, как на допросе. Постель – тоже личная зона.

Нет, пусть этот безумный час останется между нами, не опошленный подробностями.

...Я провожал Полину до ее пусады, мы шли неверным, заплетающимся шагом под руку, со стороны было непонятно, кто кого вел. Вернувшись, еще нетрезвый, я улегся спать и проспал до утра, будто после спиритуальной операции.

18

Это было наше первое и последнее соитие. Мы оба понимали: такое не повторится никогда и нигде. Не исключено, что Полина посчитала – я принял лошадиную дозу Cialis, чего не было и в помине – возможно, творить чудеса в постели помогали могучая сила кристаллов, живущие в терпком воздухе Абаджании энергетические потоки, тень Жоао в каждом уголке Casa – и гормональная атака, именуемая страстью, вспыхнувшей и опалившей, как солнечный протуберанец.

Мать и дочь уезжали через день. Я посадил их в такси. Мы обнялись, Изольда неожиданно пролила слезу, поблагодарила за общение, Полина чмокнула в губы, пресный, холодный поцелуй длился мгновение – так прощаются, чтобы никогда не встретиться.

Через два дня уезжал и я. Мной владела неизбывная тоска, я был опустошен, душа разрывалась в клочья, свет гас, что-то безвозвратно погибало внутри. Я осознал: мы обречены, у нас нет будущего, от понимания этого становилось еще горше. Абаджания опротивела, я кожей ощущал прутья клетки и рвался домой. Приземлившись в Майами и ожидая пересадочного рейса в JFK, позвонил Полине, сработал автоответчик, я не оставил сообщение.

В течение месяца я трижды говорил с ней по телефону, просил о встрече, она отнекивалась, ссылалась на нездоровье матери, которой становилось хуже и хуже. Я все понял и, пересилив себя, перестал звонить. Наверняка корит себя, что переспала со стариком, поддавшись настроению или чему-то иному, что только одной ей ведомо, оправдывает себя, что была пьяна, короче, я не нужен более – такие безотрадные мысли лезли в голову.

Любовь – это книга, а книга – роман, роман – это сказка, а сказка – обман.

Любовь есть попытка убежать от одиночества. Когда-то я писал об этом, и в размышлениях моих что-то мешало до конца принять формулу, звучащую почти аксиомой. Одиночества страшатся, всеми способами стремятся от него избавиться, его нельзя постоянно подпитывать воспоминаниями, которые лишь подчеркивают и усугубляют угрюмое, одичалое состояние души. Но при этом одиночество только и дарует истинную свободу. Ты один и ты свободен, но если связан с кем-то, зависишь от кого-то, то свобода твоя иллюзорна. Скажете, дико звучит, немислимо, попирает все каноны? Однако вдумайтесь и не отвергайте моментально, с порога. Свобода, читай, одиночество, суть производное эгоистического «я», а любовь – растворение эгоистического начала в другом человеке – полное и безоглядное. Но возможно ли? Невозможно, закон личности связывает, «я» препятствует. Выход один – как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. Вот мудрость жизни, высочайшее счастье: отдать безраздельно и беззаветно, вот истина... Так писал Достоевский. Любовь – это два эгоизма. Две враждующие силы – эгоизм и жертвенность – помирить невозможно. Даже в случае, если одна сила безоговорочно уступит другой поле боя – сердце человеческое. Так не бывает, обе силы в постоянной больбе, временная победа оборачивается поражением, и так до бесконечности. В любви мужчины и женщины «я» отдается не всем и каждому, а конкретной личности, сладчайшая жертва, о которой любящий не думает, словно это само собой разумеется, да и не жертва это вовсе, а величайший подарок судьбы. Только счастья не приносит, а боль приносит, то скоротечное, как вдох и выдох.

Так что же такое, по-вашему, женщина? Приглашение к счастью, яблоко и змея одновременно, по Ницше, вторая ошибка Бога, возбуждающе-отравляющий элемент, магия, тайна, загадка или все это, вместе взятое, и еще миллион качеств, стремлений, предназначений? *Быть женщиной – великий шаг... Как горла перехват, когда его волнение сдавит...* Женщина более сексуальна, в ней вообще нет несексуального, она сексуальна и в своей силе, и в своей слабости. Она подобна *вашей* тени: вы следуете за ней – она удаляется; вы удаляетесь от неё – она следует за вами. Сколько живу, не перестаю поражаться, восхищаться, насколько в ней все устроено иначе,

по-другому, полярно мужчине! Отбросим упражнения остряков, что между нами только одно существенное различие, да и то, к сожалению, весьма небольшое, куда меньше, чем хотелось бы. Различный уйма, они во всем, куда ни глянь, что не попытайся сравнить – в движениях, привычках, фразах, настроении... Замечали вы, как, скажем, женщина смотрит на близкого мужчину – дома за завтраком, во время прогулки или в метро, автобусе, машине, или в театре, концерте? Вбирает его всего, целиком, взгляд ее пристальный, объемный, глубокий, не скользящий по касательной, а проникающий в самую сердцевину, женщина *беременна* взглядом, отчего порой становится знобко... Мир женщины олицетворяется ее сиюминутным состоянием. Женщина гениальна в любви, ибо вкладывает в нее всю себя, живет этим, мужчина же скорее талантлив в любви, даже самой страстной, не может раствориться в этом чувстве, не полностью от него зависит. Бердяев прав: в стихии женской любви есть нечто странное и жуткое для мужчины, грозное и поглощающее, как океан. Притязания женской любви так безмерны, что никогда не могут быть выполнены мужчиной. Отсюда абсолютная безысходность. Назовите хоть одно великое произведение искусства, изображающее счастливый финал любви? Все эти дафнисы и хлои, тристаны и изольды, ромео и джюльетты кончали плохо. И зная это, мы все равно безраздумно бросаемся в любовную пучину, из которой невозможно выплыть. Какая это бездна, какое страдание, какое жгучее наслаждение – *женщина*...

...Мысли жужжат и жалят, как потревоженные пчелы, блуждают в потемках и выглядывают на свет, чтобы вновь спрятаться, будоражить и кусать. Одиночество – ужас, мрак и – отрада, приют для истомившейся души, клетка странноприимного дома и – блаженство покоя. *Признаться, я еще не вошел в достойный сговор с одиночеством, но на пути к этому.*

...Внутри меня гулкий колокольный купол: малейшее прикосновение к стенке рождает резонирующий в пространстве звук. Гулкость пустоты, когда звук плывет, не встречая препятствий. Я привык жить в такой пустоте, она уже не угнетает и не удручает, растревоженные нервы приводятся в порядок, никто их больше всерьез не испытывает. Спокойствие, вовсе мне не свойственное, отчего иногда хочется взвыть и накуролесить. Но нет уже сил и желания...

Изольда вскоре умерла, избавив себя от агонии – в одно утро не проснулась. Полина сообщила печальную весть эсэмэской. Народу на похоронах собралось немного, в основном родственники, близкие и дальние. Панихиду вел знакомый раввин Михаил – усопшую хоронили по еврейскому обычаю, она была иудейкой по матери, а следовательно, чистокровной. Раввин упомянул пребывание Изольды в Абаджании, подчеркнул: она обрела там душевный покой и гармонию, укрепила веру в Бога и в успокоении покинула земную юдоль. На поминках я перебрал водки, попытался объяснить с Полиной, та резко, даже грубо отшила – не место и не время, в чем была права.

Через пару недель она объявила, что выходит замуж. Приглашения на свадьбу не последовало, что было к лучшему. Мне стало легче, свалился тяжелый камень, который я катал бессмысленно, как Сизиф, потом пришла зима с легкими морозами и белым покрывалом, я без конца спасительно повторял: *«На свете нет такой тоски, которой снег бы не вылечивал...»* В моем случае это казалось правдой.

На пороге зимы, перед самым Рождеством 2018-го, произошло еще одно событие, перекрывшее многое, о чем я думал и по поводу чего переживал. Арестовали Жоао. Информация об этом в интернете со ссылкой на бразильские агентства и газеты прозвучала подобно грому с ясного неба, или, если угодно, удару обухом по темени. Жоао Тейшейра де Фариа (так официально звучало его имя) обвинялся в сексуальном насилии, против него дали показания многие женщины.

Бразильский журналист Педро Биал для своего ток-шоу взял интервью у десяти женщин, утверждающих, что они подверглись атакам со стороны медиума. По словам потерпевших, он домогался к ним во время сеансов духовного лечения. Он требовал, чтобы они помогали ему мастурбировать и занимались с ним оральным сексом. Одна женщина после развода отправилась в Абаджанию. Медиум предложил ей встретиться в его личной комнате после сеанса. Он сказал, что станет позади нее, чтобы выполнить «выравнивание энергии», затем попросил, чтобы она положила руки ему на пенис, поскольку это очищение и ей нужна его энергия, которая приходит только таким образом. Другая жертва, голландский хореограф по

имени Захира Мус, выступила с аналогичным заявлением и призналась, что не обращалась в полицию, ибо боялась, что злые духи будут отравлять ее существование и ее жизнь станет несчастной.

В шоу также участвовала Эми Бьянка, туристический гид, ранее работавшая в Casa. Однажды она ждала возле комнаты медиума, услышала крик о помощи и вошла в комнату, где она увидела Жоао со спущенными штанами и женщину на коленях, которую он заставил заниматься с ним оральным сексом. Ей было приказано сесть на диван и закрыть глаза. Бьянка поговорила с работниками Casa. Одна из них рассказала, что очистила рот маленькой девочки от предполагаемой «эктоплазмы», которая на самом деле была спермой Жоао.

По горячим следам СМИ обратились к вероятным сексуальным жертвам целителя. Прокуратура штата Гояс организовала специальную группу, состоящую из пяти адвокатов и двух психологов. За считанные дни они получили семьдесят восемь жалоб. С тех пор число жалоб резко возросло до 330 13 декабря и 600 – 16 декабря.

Журнал VEJA взял интервью у Далвы Тейшейры, одной из дочерей Жоао, и вынес на обложку кричащий заголовок: « Мой отец – монстр». Она утверждала, что подвергалась насилию со стороны отца в возрасте от десяти до четырнадцати лет. В четырнадцать лет она забеременела от одного из работников Casa. Узнав о беременности, отец избил ее так сильно, что она потеряла ребенка и до сих пор имеет на теле следы нападения.

Через неделю после того, как первые обвинения были обнародованы в шоу Биала, прокуратура потребовала арестовать Жоао. Стало известно, что он снял 35 миллионов реалов с нескольких банковских счетов. Его считали беглецом в течение почти дня, пока он не сдался полиции. Во время обыска в его резиденции полиция обнаружила шесть единиц огнестрельного оружия, драгоценные камни и более 1,5 миллионов реалов наличными, что дало повод говорить об отмывании денег.

На самом деле это был не первый раз, когда Божьего человека обвиняли в совершении преступления. В 1980 году его обвинили в убийстве, но не предъявили обвинения из-за отсутствия твердых доказательств. Это убийство и другие уголовные обвинения в отношении прошлого Жоао были раскрыты в новом телевизионном расследовании по его делу в марте следующего года.

В общем, это был ужас. Я жадно глотал сообщения газет. Поток новых известий рисовал поистине фантазмагорическую картину. Покончила с собой Сабрина Биттенкур, организатор движения по расследованию случаев насилия со стороны религиозных деятелей Бразилии. Жоао угрожал ей, в итоге она не выдержала и свела счеты с жизнью.

Но и это был не весь ужас. Прокуроры занялись проверкой открывшихся фактов участия Жоао в торговле детьми. Продавали детей в США, Австралию и Европу. Юные женщины содержались на фермах медиума, где их заставляли рожать и затем отбирали младенцев для продажи.

Скандалная история не осталась без внимания знаменитостей. Опра Уинфри, пригласившая медиума на свое шоу в 2014 году, узнав о его аресте, сделала заявление: «Я сочувствую жертвам сексуального насилия и надеюсь, что справедливость восторжествует».

...Расследование прокураторы длилось ровно год. Итог для Жоао Тейшейра де Фариа неутешителен: судья штата Гояс приговорил его к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы. Casa прекратила существование.

Судебный вердикт не вызвал во мне злорадства по поводу оправдавшихся неясных предчувствий – при всех моих изъянах мне несвойственно радоваться бедам других, хотя для такого монстра как Жоао мог бы сделать исключение. Я не думал о том, что он, низложенный великий медиум, закончит свои дни в тюрьме. Мысли мои занимали те, кто верил ему, надеялся на чудо в его исполнении, кто обрел в Casa физическую и духовную гармонию, выздоровел или продлил себе жизнь – во всяком случае, так они считали. Их были тысячи. Десятки тысяч. Что они испытывают сейчас: шок, потрясение, разочарование, негодование, злость или, напротив, признательность за возможность понять и прочувствовать многое из того, что прежде было им недоступно? У меня нет ответа.

Что касается меня, то новые анализы показали – озлокачествленные клетки исчезли. Еще один повод вспоминать Абаджанию тепло и приязненно, несмотря ни на что. Но даже если бы зловещие клетки остались, они не смогли бы вычеркнуть час восторга и на-

слаждения, подаренный Полиной. Почему мы всегда такое большое значение придаем первой любви? Ведь на самом деле важнее всего последняя.

Зловещие клетки ушли. Насовсем или на время – этого не веда-ет доктор Кларк, этого не ведаёт никто. Оставалось фатально ждать, ибо я был не в силах на что-либо повлиять.

Я почти не вспоминал Полину – отрезанный ломоть, она покинула зону острых, болезненных и сладостных ощущений и тихо-мирно поселилась в левой передней доле гиппокампа. Именно этот отдел мозга первым страдает при болезни Альцгеймера. И все же, изредка думая о ней, вновь приходил к горькому убеждению: я привык брать, но не отдавать, и потому, наверное, никогда никого по-настоящему глубоко не любил.

Однажды в июле я повстречал ее в саввэе по пути в Бруклин. Было около пяти вечера, народ возвращался из Манхэттена с работы, поезд В был переполнен. Я сразу увидел Полину, втиснувшуюся в вагон на станции «34-я стрит». Ее голова мелькнула у входа и постепенно приближалась к месту, где я сидел. Наконец, она встала напротив, держась за поручень левой рукой. Одетая она была в белое открытое просторное платье из хлопка, живо напомнившее абад-жанские одеяния. Меня она не замечала.

Я обратил внимание на ее припухлый живот, рельефно выступающий под материей. «Похоже, беременна», подумал и резко, как только смог, поднялся с места.

– Садитесь, девушка, – по-русски обратился к Полине, в изумлении расширившей раскосые глаза.

– Ты... Вы.., – от растерянности не знала, как ко мне обратиться.

– Наверное, все-таки «ты», в память о былом, – натужно выдавил из себя.

– Хорошо. – Она медленно, осторожно села, одернула платье и положила сумку на колени. Через мгновение убрала, устроила рядом на сиденье, посмотрела на меня шаловливо, мы оба все поняли и улыбнулись.

Полина поправилась, беременность шла ей, во всяком случае, не заметны были отеки, высыпания прыщиков, пигментные пятна, как это часто случается. На щеках играл яркий румянец.

Я машинально вперился в открытые колени, по-прежнему пол-

ные и круглые, с невыпирающими чашечками, неморщинистой, натянутой, как на барабане, слегка загорелой кожей, и отвел взгляд. Колени Полины меня более не волновали.

– Какой срок? – спросил я и жестом указал на живот.

– Пять с половиной месяцев.

– Мальчик, девочка?

– Девочка. – И, предупреждая возможный вопрос: – Назовем Изольдой.

Я одобрительно кивнул.

Полина спросила, как себя чувствую, и удовлетворилась ответом: пока живой. Душа то плачет, то смеётся, то, как змея, в клубок свернётся, добавил я... О себе рассказала, что переехала к мужу в кооперативную квартиру возле Prospect Park Plaza, недалеко от бруклинской библиотеки. По ее словам, все нормально, жизнь устаканилась, она ни о чем не жалеет.

– Выглядишь классно для своего возраста, я бы тебе никогда столько не дала, – произнесла вполне искренне или мне показалось?

– Спасибо на добром слове. Меня ужасает не мой возраст, а возраст моих ровесников. А вообще, возраст – лучшее лекарство от любви.

Полина хмыкнула и прищурила глаз, словно говоря: нет, друг, не проведешь, я тебя знаю – для первой же юбки порвешь поводка. Она все помнила...

– Абаджания снятся? – спросил я.

– Иногда... Об аресте Жоао узнала и не могла поверить. Поначалу жалко стало, а потом подумала: нечего жалеть, он, помимо прочего, надежду и веру у несчастных отнял... Еще поразило, что дочка у отца-насильника большие деньги отсуживает.

На «7-й авеню» – это была ее станция – Полина вышла. На прощание чмокнула в щеку:

– Не пропадай, звони, мобильный мой не изменился. Познакомлю с мужем. Приезжай в гости...

* * *

...Вскоре после этой неожиданной встречи, повинувшись внезапному порыву, я заказал билет в Аэрофлоте с открытой обратной датой и начал готовиться к вылету в Москву. Внутренний голос,

редко обманывавший и подводивший, подсказывал: поступаю правильно. В чем заключается *правильность* моего решения, я пока не знал.

Конец

Давид Гай – известный журналист, писатель. Около тридцати лет проработал в газете «Вечерняя Москва». В 1993 году эмигрировал в США. Живет и работает в Нью-Йорке. Он был главным редактором русско-американских еженедельников «Еврейский Мир», «Русская реклама», «В Новом Свете». Ныне он – редактор международного литературного журнала «Времена». Регулярно выступает на русско-американском телеканале RTN в программе «Пресс-клуб».

Перу Давида Гая принадлежат около трех десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», посвященный истории любви Достоевского и Аполлинарии Сусловой; повести «День рождения» и «Телохраниитель» (по одной из них в России выпущена аудиокнига); документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане (автор неоднократно бывал там в качестве журналиста); «Десятый круг» – повествование, посвященное жизни, борьбе и гибели в годы Второй мировой войны Минского гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы в Москве вышли четыре новых книги Давида Гая: роман «Джекпот», сборник документальных очерков о крупнейших авиаконструкторах «Небесное притяжение», роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращения земного...» Роман-сага описывает перипетии жизни двух ветвей, российской и американской, одной семьи на протяжении более чем века.

Изданный в США в 2013 году на русском и английском языках роман Давида Гая «Террариум» посвящен России сегодняшней и завтрашней. Он завоевал читательскую аудиторию. В 2015-м в Америке и в Украине увидел свет роман-антиутопия Давида Гая «Исчезновение», в 2018-м в США опубликован роман «Катарсис», а в июне 2020-го в России (изд. «Алетейя», Санкт-Петербург) – роман «Линия тени».

CORONAVERSE

Стихи коронавирусного времени

Так назван международный поэтический проект, в который включены тексты, написанные во время и под влиянием карантина Ковид-19. Стихи можно увидеть на сайте ньюйоркского издательства «KRiK Publishing House», который возглавляют Рика и Геннадий Кацовы. Всего представлено творчество более ста поэтов из разных стран.

Ситуация, в которой мир оказался, и то, что затем последовало – карантин, самоизоляция – ситуация стрессовая для любого человека, а для творческого в особенности. Творческие люди гораздо острее чувствуют и реагируют на необычные вещи.

С разрешения руководства издательства «KRiK Publishing House», мы отобрали для публикации стихи десяти авторов, отражающие мысли и переживания, связанные с пандемией и ее последствиями.

Виталий АМУРСКИЙ

Когда о вирусе, и кроме
Нет тем иных, и дни темны –
Припомни о «Декамероне»,
О Болдине в тисках чумы.

Вдыхая воздух заражённый,
Смотря на сизых голубей,
Представь, как умирал Джорджоне,
Или как Младший Ганс Гольбейн,

Вообрази медвежий угол,
Где инок, истово молясь,
Глядит, как дым черней, чем уголь,
Окрашивает небо в грязь.

Понятно, нынче всё иначе –
Ни тех утех, ни страхов тех,
Однако, может быть, тем паче
Взглянуть назад отнюдь не грех.

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ – поэт, литератор, журналист. Лауреат нескольких литературных премий и конкурсов. Родился в 1944 г. в Москве, Россия. Закончил филфак Московского областного педагогического института, учился в аспирантуре парижской Сорбонны. В печати выступает с середины 60-х годов. Эмигрировав на Запад, печатался в газетах «Русская мысль» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), в журналах «Вестник РХД», «Континент» (Париж)... С 1984-го по 2010-й г.г. работал в русской редакции Международного французского радио (RFI). Член Союза французских журналистов (ССИР).

Живет во Франции.

Вероника ДОЛИНА

Для всех для нас, некрепких телом –
Бог книжки дал и дал кино.
И сделал мир не черно-белым,
А разноцветным, все равно.

Для тех из нас, кто полон слуха –
Дал звуки музыки, ура.
Без музыки, считай, разруха.
Притом сейчас же, вот с утра.

Для тех, кто не любил скандальность,
Шумы, мельканье глупых лиц –

Включилась новая реальность
Под скрип домашних половиц.

У нас домашние аптеки.
Бессмертные библиотеки.
У нас тягучие часы
Полны немислимой красы.

Мы вроде войлочных медведей.
Способны узнавать соседей
Под маской. Ноги протянуть –
Да и под Генделя уснуть.

ВЕРОНИКА ДОЛИНА – поэтесса, бард, автор более 500 песен. Как автор песен стала известна в середине 70-х годов – «магнитоиздат» способствовал чрезвычайно широкому их распространению.

В 1986 году, спустя десять лет после первых публичных появлений на сцене, после множества журнальных публикаций стихов вышел первый диск, вскоре – второй, тиражом более миллиона. В 1987 году вышел сборник стихов в Париже.

На сегодняшний день у В.Долиной выпущено более 10 сборников стихов, 9 виниловых дисков, 10 компакт-дисков.

В 2005 году ей была присуждена литературная премия «Венец».

Стихи публиковались в литжурналах «Новый Мир», «Знамя», «Иерусалимский журнал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Интерпоэзия» и др.

Живет в России.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Идёт война, но как-то странно.
Вокруг обманчивая тишь.
Услышишь вальс Хачатуряна
И поневоле загрустишь.
Дурацкие напялив маски,
Весь мир, судьбе своей не рад,
По чьей-то дьявольской указке,

В печальный втянут маскарад.
Помочь не может нам наука.
Сиди и жди в своём углу,
Где смерть тебе, войдя без стука,
Протянет яд, как на балу.
Мне горько слушать сводки эти, –
Скупую траурную весть.
Не знаю, есть ли Бог на Свете,
Но дьявол, вероятно, есть.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ – поэт, один из основоположников жанра авторской песни в России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (1999), член Союза писателей России и московской городской организации Союза писателей России.

Геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширинова Российской академии наук (с 1985 по 2005 годы).

«Атланты держат небо», «У Геркулесовых столбов», «От злой тоски не матерись» («На материк»), «Над Канадой небо синее», «Жена французского посла», «Снег», «Перекаты», «Кожаные куртки» («Песня полярных летчиков») – эти песни Александра Городницкого, написанные в дальних океанских плаваниях и в экспедициях на Крайнем Севере, давно стали народными.

Стихи и песни Александра Городницкого переведены на английский, болгарский, иврит, испанский, немецкий, польский, французский, чешский и другие языки мира, включены в школьные программы. Его творчеству посвящены многочисленные научные статьи, кандидатские и докторские диссертации.

По решению Российской Академии Наук именем Александра Городницкого была названа малая планета Солнечной системы (астероид) № 5988 «Gorodnitskij».

Живет в России.

Леонид КАГАНОВ

Россия сложила в багаж:
томограф на русский вольтаж,
двенадцать машин неотложки,
щиты, балалайки, матрёшки,
термометры из Коммунарки,
три тысячи масок для сварки,
кадилы, бахилы, клеёнку,
боярышник, пластырь, зелёнку,
ведро многоразовых шприцев,
«ШБ мнк» на таблицах,
сто фильтров для противогаза,
наборы булавок от сглаза,
сто тестов на две тест-полоски,
иконку Матроны Московской,
имбирь, этанол, метанол,
чеснок, мумиё, арбидол
и счёт с НДС и откатом
за помощь болеющим Штатам.

ЛЕОНИД КАГАНОВ – поэт, писатель-фантаст, сценарист, юморист, телеведущий, лауреат около десяти литературных премий, в том числе премии «Бронзовая улитка» Б. Стругацкого.

В качестве сценариста участвовал в создании телевизионных передач «ОСП-Студия» и других. С ноября 2007 по июль 2008 Леонид Каганов и Светлана Гудкова вели ежедневную телепередачу «Ленивые будни» на телеканале О2ТВ.

Живет в России.

Геннадий КАЦОВ

ни птицы с юга не порадуют,
ни межсезонный путь зерна:
держу закрытой дверь парадную,
не зная, в чём моя вина,
хоть грешен – с разными болезнями

(подагра, карлес, цистит)
я был стране не так полезен,
как мне б хотелось лет с шести

сейчас прошу по-свойски: смилуйся,
терпенье подошло к концу!
зачем ещё коронавирусы
тебе и сыну, и отцу?
ведь вы и так вагон с тележкой
наделали сплошной херни:
пошли ты их подальше к лешему
и, коронауя, прокляни

их суть коварная белковая
известна в образе врага,
и, обещаньями не скованы,
вы б обломали им рога,
ведь столько доброго, разумного
ты по подобью наплодил:
собрал бы нас теперь на зумере*
в формате *deal & no deal*
сидели б сутками, небритые,
и удивлялись день-деньской,
кого назначил фаворитами
и, это главное, на кой?
похоже, майну спутал с вирую,
похоже, отказал твой вкус
(не о симптомах) – что ты в вирусах
нашёл, чтоб взять их в наш союз?

кого ты в тёплую компанию
позвал с небесных эмпирей –
ни рожи, ни образования,
а всё ж туда, в цари зверей!
скажи – ты пошутил, неумная
такая шутка, типа, ляп:

пока мы все ещё не умерли,
год крысы дай начать с нуля

вернёмся к оливье со шпротами
и к винегрету, например:
уже пошёл отсчёт минутами,
шар крутится над таймс-сквер,
в упряжке с трепетными ланями
конь белогривый мчится к нам:
одно на всех есть пожелание,
но кто бы знал в ту ночь, кто б знал...

* популярный сегодня сервис конференц-связи Zoom.

ГЕННАДИЙ КАЦОВ – поэт, прозаик, эссеист, радио- и тележурналист. В середине 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия» и участником московской литературной андерграундной группы «Эпсилон-салон».

В мае 1989 г. переехал в США, где уже 31 год работает журналистом.

Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 г. Автор 7 поэтических книг; также сборника стихотворений, прозы и эссе «Притяжение Дзэн» (из-во «Петрополь», 1999) и визуально-поэтического альбома «Словосфера» (изд-во «Liberty», США, 2013), в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства, от Треченто до наших дней. Со-составитель и участник альманаха «НАШКРЫМ» (миротворческий проект 2014 года, антитеза известной идеологеме. В альманахе опубликованы стихотворения о Крыме 120 поэтов разных поколений из 10 стран мира). Со-составитель и участник альманаха «70» (70 поэтов из 14 стран мира с текстами об Израиле и на еврейскую тему), посвященного 70-летию государства Израиль (2018 год). Со-организатор литературно-музыкальных вечеров в нью-йоркском музее им. Николая Рериха, сезон 2016-2017 гг. Член редколлегии альманаха «Времена» (США) и журнала «Эмигрантская Лира» (Бельгия).

Живет в США.

Александр МЕЛЬНИК

В стеклянном кубе, наглухо закрытом
для вирусов – чтоб не прервалась жизнь! –
лежал поэт с душой-метеоритом,
и всё глядел в мерцающую высь.

Текли века, и праздные зеваки,
раскрывши рты, толпились за стеклом,
за Понт сражались с римлянами даки,
неслась Земля в космический облом,

а он, с простым блокнотом на коленях,
смотрел, не замечая кутерьмы,
в первопричину светопреставленья –
источник света, бьющего из тьмы.

В стеклянном кубе, в строгом карантине,
вдали от мерзопакостных грязнот,
он плыл сквозь время, как на бригантине –
но был, увы, пустым его блокнот.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК – поэт, прозаик, культуртрегер, президент ассоциации «Эмигрантская лира» и главный редактор одноименного литературно-публицистического журнала. Организатор Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» и выездных поэтических чтений в разных городах мира (Москва, Кёльн, Париж, Нью-Йорк, Иерусалим, Амстердам, Кишинёв, Лондон, Пекин, Харбин, Хельсинки, Краснодар, Ставрополь, Санкт-Петербург).

Дважды входил в шорт-лист специального приза и диплома «Русской премии» (2014, 2017) «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» (за проект «Эмигрантская лира»).

Публиковался в поэтических сборниках и журналах разных стран мира. Автор нескольких книг стихов, а также сборника публицистических материалов о поэзии «Лира» (2015) и исследова-

ния проблемы комплексного сопоставления христианских истин со сходными доктринами нехристианских религий «Зёрна истины» (2017).

Живет в Бельгии.

Евгений СЛИВКИН

Они вне дома прикрывали рты
во избежанье лишних разговоров.
Не собирались в замкнутых пространствах
и правильно везде себя вели.
Старались ни на что не начихать.
Короткий кашель мог быть истолкован
как знак неодобрения. Никто
из них, однако, не был застрахован
ни в первый раз, ни во второй, ни в третий.
Когда случалось – молча выражали
сочувствие, но в гости не ходили.

ЕВГЕНИЙ СЛИВКИН – поэт. Автор нескольких книг. Публиковался в литжурналах «Новый Мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Арион», «НЛО» и др.

В середине 80-ых начал внештатно работать в редакции художественного вещания Ленинградского телевидения, писал и снимал сюжеты для программы «Монитор», потом, уже в перестройку, участвовал в создании программы «Пятое колесо».

В 1993 году уехал в США и поступил на аспирантуру при кафедре славистики Иллинойского университета, где защитил докторскую диссертацию. Преподавал русский язык в Джорджтаунском университете и русскую поэзию XIX века в университете Джорджа Вашингтона. Работал на русском отделении института иностранных языков Министерства обороны США в Калифорнии. Опубликовал около двух десятков исследовательских статей по русской литературе XIX и XX веков.

Живет в США.

Борис ХЕРСОНСКИЙ

отмахнуться от вируса отсидеться дома
лучше скука дома чем в реанимации кома
лучше дышать перегаром чем искусственным аппаратом
знал бы вирус нас лучше не связался бы с нашим братом
но он связался поскольку он знает плохо
тех кто лежит и ни выдоха сделать ни вдоха
с каждой клеткой связался взломав оболочку
вот и слушай его как в советское время радиоточку
все делается в китае дешево и сердито
красной нитью протянуто белыми нитками шито
сняты люди в масках вроде как в балаклавах
сидят и едят сквозь марлю в «китайских стравах»
между колен у каждого зажата бейсбольная бита
атрибут невеселого постсоветского быта
это что-то вроде русской весны из Китая родом
девушка раздевается раздувается с каждым годом
так все сложилось крест-накрест так повелось веками
умирать под иконами дома с чисто вымытыми руками.

Борис ХЕРСОНСКИЙ – поэт, публицист и переводчик, пишущий преимущественно на русском языке, а также психолог и психиатр. Кандидат медицинских наук.

Лауреат 4-го и 5-го международного Волошинского конкурса (2006, 2007), дипломант 7-го и 8-го международного Волошинского конкурса, лауреат фестиваля «Киевские лавры» (2008), специальной премии «Московский счёт» (2007), лауреат стипендии фонда им. И. Бродского (2008). Лауреат поэтической премии «Anthologia» журнала «Новый мир» (2008)... Специальная премия «Literaris» (Австрия) за книгу «Семейный архив» (2010), Русская премия (диплом второй степени) за книгу «Пока не стемнело» (2011).

Автор шести монографий по психологии и психиатрии. Возглавляет Союз психологов и психотерапевтов Украины (с 2011).

В 1970-1980-е годы Борис Херсонский – одна из наиболее ярких фигур в неофициальной поэзии Одессы, участник общественного дви-

жения самиздата. Публикации в русскоязычной эмигрантской прессе со второй половины восьмидесятых годов.

Наиболее значительным литературным трудом Херсонского считается книга «Семейный архив», в которой из отдельных биографических стихотворений-очерков складывается эпическое полотно жизни и исчезновения евреев на Юге Украины на протяжении всего XX века. В 2006 году «Семейный архив» стал первым сборником Херсонского, изданным в России – издательством «Новое Литературное Обозрение» (НЛО). Второй книгой поэта, изданной этим издательством, стала «Площадка под застройку» (2008). В Москве, Киеве, Харькове, Санкт-Петербурге выходят его новые книги.

Живет в Украине.

Михаил ЭТЕЛЬЗОН

Когда мой город опустеет
в каком-то невозможном сне,
и, словно крепостные стены,
дома проступят в тишине
вокруг уже безлюдных улиц,
безголубиных площадей,
где фонари, сильнее сутулясь,
найти пытаются людей;
где заколочены витрины
и двери обросли плющом,
холодный ветер, писк крысиный
и в окнах куклы за стеклом;
где без движения дороги
и сотни брошенных машин,
где все исчезли по тревоге,
но я остался там один,
чтобы увидеть и запомнить
сквозь наважденья пелену,
как все пропали в катакомбах,
в эвакуации, в плену...
И кто-то перепись затеет

среди пропавших душ и тел,
когда мой город опустеет,
когда мой город опустел.

Михаил ЭТЕЛЬЗОН – поэт, автор трех книг стихов, победитель международного конкурса в Брюсселе «Эмигрантская лира» (2009). Публиковался в изданиях «Нева», «Арион», «Новый Журнал», «Настоящее время», «Зеркало», «Метро», «Слово/Word», «Новое Русское Слово», «Форвертс», «Информпространство», «Листья», а также в многочисленных поэтических сборниках, изданных в России, Канаде, Англии и США.

Живет в США.

Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ

Сократили орла, Прометея клевавшего в печень.
Вот такие дела, ведь платить-то работнику нечем.
Экономия, да, все одно – поменяли на грифа.
И на бирже труда паразитом назвали Сизифа.
Боги смотрят с небес, у самих-то пустые кормушки.
Разорился Гермес – никому не нужны побрякушки.
Хромоногий Гефест со своим залежалым товаром
три недели не ест, и разит от него перегаром.
А внизу-то народ возмущается, ходит кругами,
и чего-то орет. Да куда ему спорить с богами?
Аппарат ИВЛ раздобыл Писистрат в суматохе.
Лишь Аид располнел: «А дела-то, ребята, неплохи!».

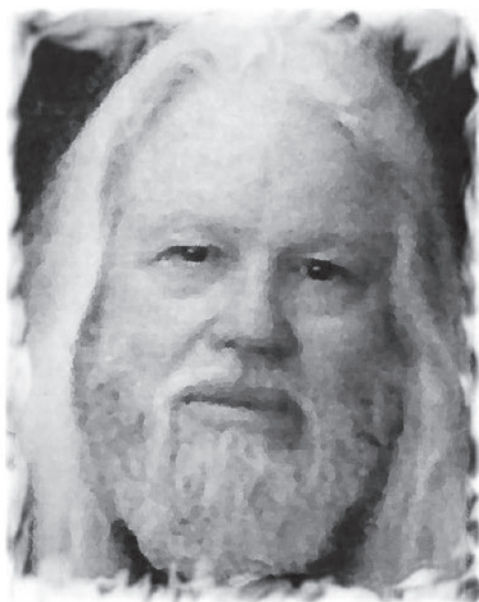
Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ – поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, юрист по профессии. Трижды лауреат конкурса молодых поэтов Санкт-Петербурга (2003, 2007, 2008.).

Автор поэтических книг «В первом приближении» (2008), «Взамен утраченного» (2012) и «Дорожный плац» (2018). Публиковался в журналах «Звезда», «Сибирские огни», «Нева», «Зинзивер», «Времена», петербургских литературных альманахах.

Живет в России.

Эрих фон НЕФФ

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ НА ХРУСТАЛЬНОЙ РОЗЕ



Это воспоминания о моём деде, Уолтере Роббе (1880–1970). Мои родители – и отец, и мать – много работали и были слишком заняты, чтобы заниматься моим воспитанием. Поэтому в раннем детстве я находился на попечении родителей моей матери – Уолта и Долли (они сами настаивали, чтобы я их так называл). Уолт принимал участие в Земельной гонке 1893 года¹, а его старший брат Чарли недолгое время был членом печально знаменитой банды Далтонов². Хотя все, кто был лично знаком с Чарли, считали его добрым стариком. Но дух того самого Дикого Запада оставался в нём, порой прорываясь наружу – к примеру, однажды Чарли пригрозил соседке из дома напротив, что отдубасит её своим револьвером, после того как

она обозвала «ниггером» моего друга Кена Букера. Также стоит упомянуть о том, что когда Уолт и Долли переехали жить на Филиппины (с 1907 по 1941 год), мой дед водил дружбу с генералом Дугласом Макартуром³. (У меня есть их переписка в качестве подтверждения). По внешнему виду казалось, что Уолт вполне приспособился к двадцатому столетию. Однако внутри таился характер покорителя Дикого Запада, в любой момент готового к схватке.

МУЖСКАЯ БЕРЛОГА

Уолт в одиночестве сидел в своей мужской берлоге. Это было помещение, выкопанное под нашим домом, что находился на бульваре Викториа Мапа, 182. Толстая дубовая дверь запиралась на латунный засов. Стол красного дерева, несколько кресел и тусклая электрическая лампочка под потолком. Вот и вся обстановка. Если бы кто-то увидел фотографию этой комнаты, не зная о точном её расположении, то, наверное, решил бы, что это подземное бомбоубежище где-нибудь в Англии. Или, по причине строгой простоты интерьера, навеянной стилистикой школы Баухаус⁴, это могла быть гостиная в Берлине. Но ничего подобного, архитектором помещения был не кто иной, как мой дед, Уолтер Робб (1880–1970), вдохновлявшийся лишь одной идеей, что ему нужна комната, где он мог бы сидеть с друзьями. Пить, курить и разговаривать о всяком таком, о чём любят поговорить мужчины. Женщины сюда не допускались – ни его жена Долли, ни дочь Мэрион. Если возникала необходимость доставить в мужскую берлогу поднос с пивом «Сан Мигель» и сигары, то Долли приходила, ставила поднос под дверь, стучала, а затем уходила.

«Это женозащитная комната», – самодовольно заявлял Уолт.

А затем кто-нибудь из его друзей – Джо Хаберер, или Джок Нецорг, или генерал Макартур – отпирал дверь, забирал поднос и под смешки и одобрительные возгласы водружал его на стол. Разговоры чаще всего вертелись вокруг вероятной войны с Японией. Генерал Макартур утверждал, что филиппинцы смогут и сами оборонить себя от японцев или, по меньшей мере, сумеют продержаться до подхода американского военного флота. Уолт и остальные категорически возражали против такой позиции. Джо Хаберер мог до

отвращения надоесть своими рассказами про буйные ссоры с женой-филиппинкой. А Джок Нецорг говорил, что он тут не один такой. «Верно, – соглашался Джо, – но твоя жена хоть тарелками не бросается». И, само собой, были разговоры о красивых женщинах и о сексе, и в них было много преувеличений, очень много. Мужские разговоры, подпитываемые табачным дымом и пивом «Сан Мигель».

Месяцем раньше доктор Линдси Флетчер сообщил Уолту ужасающий диагноз: рак простаты. Доктор Флетчер сказал, что может провести нужную операцию. Однако Долли велела ему отложить скальпель в сторонку и объяснить, что он собирается делать и как. А затем сказала: «Нет, ни за что». Откуда-то она разузнала про хирурга в Лос-Анджелесе, который считался хорошим специалистом по раку простаты. Уолт и Долли купили билеты на корабль «Донья Аницета», который, как потом оказалось, был последним, что отплыл из Манилы перед нападением японцев на Пёрл-Харбор⁵.

До отъезда оставалось меньше часа. О чём Уолт думал, когда сидел один в своей мужской берлоге? Может быть, вспоминал своего брата Чарли, который покинул семейную ферму в Оклахоме, чтобы присоединиться к банде Далтонов. Или вспоминал, как гнал запряжённый лошадьми фургон в той Земельной гонке 1893 года. Или как едва не замёрз до смерти зимней оклахомской ночью, но чернокожий ковбой Джейк не дал ему погибнуть. Или как ходил на занятия по анатомии, где познакомился с Долли. Один из студентов шулки ради подбросил ей на стол пенис, отрезанный от трупа. А Долли подняла мёртвый член и швырнула шутнику прямо в лицо. А может, он вспоминал, как лошади тащили тяжёлый фургон через непролазную грязь. Было несколько моментов, которые он вспоминал всю свою жизнь, снова и снова. Полоса Чероки в 1890-х была чертовски суровым местечком. Я уверен, что у деда были секреты, которыми он не поделился ни с кем.

– Уолт, такси ждёт, – крикнула Долли. Даже теперь, когда запрет уже не имел значения, она не стала заходить в мужскую берлогу.

Уолт в последний раз затянулся сигарой, сделал глоток пива, и пошёл наверх.

Весь их багаж состоял из двух дорожных сундуков, Уолт и Долли рассчитывали вернуться обратно через три месяца. Они подня-

лись на борт «Доньи Аницеты» 19 октября 1941 года. В Лос-Анджелес прибыли 30 октября; до нападения на Пёрл-Харбор оставалось чуть больше месяца.

Мои родители, Мэрион и Джон фон Нефф уехали раньше, на «Донье Нати», который прибыл в Лос-Анджелес 15 декабря 1940 года. Мы поселились в доме сестры моего отца, Маргариты, по адресу Сент-Эндрюс Плейс, 107. И вскоре моя мать превратилась в служанку, которая тёрла полы, стирала и гладила бельё, мыла посуду – всё, что велела Маргарита своим вкрадчивым голосом. А ведь раньше моя мать занималась бальными танцами. В её представлении хорошим времяпрепровождением были зажигательные танцы с другом юности Тони Собралем в ночных клубах Шанхая. Зачастую – с бокалом виски со льдом в одной руке и сигаретой в длинном мундштуке из чёрного дерева – в другой. Ей было нужно постоянное движение. Ей было нужно веселье. Ей был нужен горячий секс. Но нет, здесь в доме 107, Сент-Эндрюс Плейс, она была лишь послушной служанкой. Вдобавок, это она написала диссертацию мужа, а он об этом нигде не упомянул.

Отец был заядлый курильщик, и в его представлении лучшим развлечением было чтение исторических книг в клубах сигаретного дыма. Ах да, ещё были поездки в город по воскресеньям. Мы забирались в семейный автомобиль марки «мармон», и отец вёз нас в ближайшую дешёвую аптеку, где нам на двоих с матерью доставалась одна детская порция мороженого. И дом, и «мармон», конечно, были отцу не по карману – с его-то зарплатой преподавателя. И то, и другое он унаследовал от своего отца, который был автодилером, продавал эти самые «мармоны». В нынешние дни «мармон» в приемлемом состоянии стоит около пятидесяти тысяч долларов, но чаще всего ещё больше.

Удивительно, как матери удавалось сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри она, по её собственному выражению, просто кипела. Отец смолит «кэмел» и листал исторические книжки. Его сестрица Маргарита придиралась по любому поводу. Мать драила полы. Гнев копился, день за днём. Кипел внутри.

Вряд ли нашлись бы две другие семьи, что имели больше различий. Отцовская семья, фон Неффы, самые настоящие германо-швейцарцы. Семья матери – Роббы и МакКеи – шотландцы, вы-

сокие, голубоглазые. Отец был невысок, а его глаза были карими. Вдобавок, по некоторым причинам его лицо имело азиатские черты. Что-то перепуталось в ветвях генеалогического древа. Не была ли подсказка в склонности к выпивке? Помнится, однажды я завис в баре с ёмким названием «Место», что в Норт-Бич. И бармен, дядька по имени Гас Слотер, сказал мне: «Бухаешь, как не в себя. Будто варвар с востока».

Предки со стороны матери принимали участие в американской Войне за независимость. И отцовские предки – тоже. «Ну что же, он хотя бы не англичанин», – заметила бабушка, когда моя мать вернулась в Манилу из Беркли вместе с моим отцом, которого встретила в Калифорнийском университете. «Вы должны обвенчаться в Епископальной церкви, – сказала Долли, не терпящим возражений тоном. – А до той поры и не думайте спать вместе».

Раскаляясь день ото дня, моя мать продолжала мыть и убирать. Наконец пришло освобождение. 30 октября на корабле «Донья Аницета» приплыли Уолт и Долли. Мы сели в «мармон» и поехали в порт. Я отчётливо помню момент, как они сходят по трапу, как пожимают руки встречающим, смех, объятия. Затем на том же «мармоне» все вернулись в дом 107, Сент-Эндрюс Плейс. Отец опять курил и листал книги по истории. Тётя Маргарита оставила мою мать в покое и старалась казаться любезной, но притворство было видно за милую.

После двух недель пустых любезностей Уолт и Долли съехали, забрав меня вместе с собой. Теперь мы жили по адресу Саут-Вестерн авеню, 433½. Квартира была тесная, но всё же это была их квартира. И никаких больше заядлых курильщиков с их жутковатым ночным шелестом переворачиваемых страниц. К тому же они были шотландцами, а он – нет. Ну и всё на этом.

7 декабря 1941 года началась война и своей, почти сексуальной энергией взбудоражила всю страну.

Тебя – в моряки, тебя – в морпехи, тебя – в солдаты. Моего отца тоже призвали, но вскоре комиссовали по причине слабого зрения. Мать получила должность на авиационном заводе «Дуглас». У неё была настоящая работа. Она могла поступать по собственному разумению. Добиться развода. Обрести свободу.

Она познакомилась с Деллом Фрейзиером, мелким голливудским дельцом. Он как будто знал всех и каждого, был в курсе, где

намечается веселье. Сигареты, виски, дикие ритмы свинга. Они сведут тебя с ума. Лишат рассудка. Каким-то образом Делл заполучил армейское звание и теперь мог щеголять в военной форме. Вместе с ним моя мать отрывалась на всю катушку. Помню одну вечеринку на голливудской вилле. На полу гостиной лежала шкура белого медведя. Мать затолкала меня в маленькую спальню, сказала:

– Делл приготовил тебе сюрприз.

Делл пришёл с каким-то долговязым темноволосым мужчиной.

– Это Красный Всадник⁶, – объявил он.

– Ты не похож на Красного Всадника, – выпалил я в ответ.

Делл и тот мужик, которого он назвал Красным Всадником (а это действительно был Рид Хэдли⁷), оба рассмеялись. Я был совсем мал; вскоре меня сморил сон. Красный Всадник, надо же! Отчего он совсем не похож на Красного Всадника из радишоу?

Другое воспоминание, более яркое. Делл, по своему обыкновению, наряжен в офицерский мундир и ведёт «форд-универсал», чей корпус наполовину сделан из дерева. Я смотрю в окно. Кварталы похожи один на другой. И вдруг мы видим, как у перекрёстка толпа моряков дерётся с толпой морпехов. Делл бьёт по тормозам.

– Хрен ли ты делаешь? – кричит моя мать, когда он выскакивает из машины.

На свою беду Делл ввязывается в драку на стороне моряков. В ту пору морпехи носили широкие кожаные ремни с тяжёлой медной пряжкой, которыми пользовались очень умело. К тому же морпехи могли и вовсе раздеться догола, если их начинали одолевать в схватке. Делл вернулся к машине излупцованный в кровь.

Да уж, не ту он выбрал сторону.

САН-ФРАНЦИСКО

Мама рассталась с Делом Фрейзиером. Прости-прощай, разошлись, как в море корабли. Всё, больше никаких кутежей, никакого соперничества со стаей голливудских девиц. Подобно плакатной «клепальнице Розы» мама теперь работала на авиастроительном заводе «Дуглас» в Эль Сегундо, неподалёку от того места, где нынче расположен аэропорт Лос-Анджелеса. Она монтировала пушки на дугласовские штурмовики, в том числе и на знаменитую модель

А-1 «Скайрейдер»⁸. Уолт, Долли и я навещали её время от времени. Помню, что по дороге я всё смотрел наверх, зачарованный висящими в небе загадочными аэростатами, а потом опускал глаза и видел, как мама, улыбаясь, бежит навстречу, раскрыв руки для объятий.

Уолта призвали на службу в Управление военной информации⁹ как специалиста по Филиппинам. Через год его переназначили в Сан-Франциско, где Уолт арендовал у шотландца по имени Кеннет МакРоу квартиру на первом этаже, имевшую небольшой зелёный дворик. В Сан-Франциско нас отвезла моя мама, а сама вернулась обратно в Лос-Анджелес, на работу, где ей платили 85 центов за час.

К городу мы подъезжали по автостраде Бэйшор. И вот он – Сан-Франциско! Раньше я такого не видал: город был укутан туманом, таким густым, в который даже военные лётчики предпочитают не соваться. Затем мы заехали на территорию военной базы Пресидио¹⁰. Уолт предъявил своё удостоверение часовому, и мы поехали дальше по улице, вдоль которой стояла ровная шеренга деревьев, миновали Врата Аргуэльо¹¹. Свернули на Вторую авеню, подъехали к дому 564 ½ и постучали в дверь Кеннета МакРоу.

В первую же ночь и все последующие на окна опускали плотные шторы светомаскировки, в то время как снаружи лучи прожекторов обшаривали тёмное небо. Бабушка крепко прижимала меня к себе, словно боялась, что если она вдруг меня отпустит, то мне грозит неминуемая гибель. «Хорошо, что ты с нами», – повторяла она без конца. И так каждую ночь. Думаю, так проявлялось её беспокойство о собственном сыне, моём дяде Джеймсе, который попал в плен к японцам, прошёл Батаанским маршем смерти¹², и теперь находился в концлагере в Билибиде¹³. Жена Джеймса, Моника, и его дочь Дженнис, как и многие знакомые моих дедушки и бабушки, находились в лагере для интернированных Санто-Томас¹⁴ в Маниле. Знал ли мой дед о страданиях Джеймса? Уолт служил в Управлении военной информации и был достаточно хорошо осведомлён о зверствах японцев. Впрочем, не думаю, что он делился подробностями с Долли. То, о чём писали в газетах, и так было слишком скверно. Картину дорисовывало её собственное воображение и ночные кошмары.

СВЕТОМАСКИРОВКА

По обыкновению шторы в доме были задёрнуты. Я чуть-чуть отодвинул одну в сторону, наблюдая за лучами прожекторов, расчерчивающими небеса. До сих пор никто не засёк ни одного вражеского самолёта, но от этого только становилось ещё тревожнее. В любой момент мог случиться налёт японской авиации. Как в Пёрл-Харборе.

В доме было тихо. Раздавался лишь стрекот бабушкиной швейной машины «Зингер». Долли сшила мне тряпочную таксу, размером как настоящая. Под умиротворяющий шум швейной машины Уолт, покуривая трубку, предавался воспоминаниям о своём брате Чарли. «Как-то вечером Чарли оседлал коня и ускакал прочь, чтобы присоединиться к банде Далтонов. С тех пор мы его не видали». (Полагаю, впрочем, что Чарли был в банде недолго.)

Когда я обернулся от окна, то увидел, как бабушка вытирает глаза платочком, и понял, что она плакала. Отчего-то я почувствовал себя виноватым. Уолт взглянул на меня и сказал:

– Батаан, Эрих. Батаан.

Как будто это всё объясняло.

Я знал только, что мой дядя Джеймс где-то на Филиппинах, на войне с японцами. Но для меня война была лишь тёмными шторами на окнах и забавной беготнёй прожекторных лучей по ночному небу. Но Уолт, служивший в Управлении военной информации, под Батааном имел в виду Батаанский марш смерти.

По пути на кухню я заметил, что висевший в коридоре японский свиток семнадцатого века, изображавший тигра, куда-то делся. И я больше не видел ни одной тарелки имари, теперь мы пользовались только китайским фарфором.

Мы ужинали в молчании, и без обычного радио. Бабушка уже слышала достаточно плохих новостей с фронта. После ужина дедушка и я принялись мыть посуду, а бабушка вернулась к своей швейной машине. И снова тишина дома нарушалась лишь стрекотом педального «Зингера». Но мне нравился этот звук. На Филиппинах Долли сама придумывала и шила платья, у неё даже была своя школа для портних. Теперь, в шестьдесят три года она всё ещё могла сидеть за машиной по десять часов в день, и у неё на уме всегда

была новая задумка. Похоже, что шум швейной машины оказывал успокаивающий эффект на всех нас, и мы с Уолтом разговаривали вполголоса о его молодых деньках на Полосе Чероки.

Потом Уолт сходил к леднику и принес кусок белого маргарина и красителя. Мы положили маргарин в глубокую тарелку, добавили краситель и принялись перемешивать. Весьма утомительное занятие, но, по неведомым причинам, считалось, что этим мы помогаем ковать победу. Может и так, потому что пока мешаешь маргарин с красителем, это тупое занятие выбешивает настолько, что ни о чём другом думать уже не получается. Забываешь даже про войну, по крайней мере, на время.

– Уолт, а почему мы не едим белый маргарин? – спросил я однажды.

Но дед мне так и не ответил. И, думаю, что никто не ответил бы на этот простой вопрос.

На другое утро я проснулся в обнимку с улыбающейся таксой, которую сшила моя бабушка. С кухни пахло овсянкой. Овсянка с молоком, изюмом и кусочком сливочного масла была нашей обычной трапезой по утрам. Однажды я спросил у дедушки, почему так. И получил ответ: «Потому что именно это едят шотландские горцы». И Уолт, и Долли – оба были потомками шотландских иммигрантов, приехавших в Америку в середине XVIII века. Из этого «логически» следовало, что как минимум трижды в неделю мы должны вкушать сие освящённое традициями жидкое варево. На завтрак, обед или ужин – без разницы. Потомки шотландских горцев, сражавшихся в Войне за независимость, должны вкушать священную пищу не реже двенадцати раз в месяц, а иначе они волшебным образом превратятся в жителей равнин. Может ли для шотландца быть участь печальнее?

Я ел свою «горскую овсянку» с большим аппетитом. Мне нравилась овсянка, хотя я никогда не мог постичь её мистической силы. Позавтракав, я спрашивал разрешения выйти из-за стола и отправлялся в туалет. В нашей квартире была только одна ванная комната, совмещённая с туалетом, и если Уолту требовалось по-маленькому одновременно со мной, то он справлял нужду прямо в раковину, открыв горячую воду. Я не мог дожидаться дня, когда и сам смогу проделать подобное. Мальчики и девочки писают в унитаз. Взрослые

мужчины имеют достаточно высокий рост и достаточно длинный пенис, чтобы писать в раковину. Женщины так не могут. Следовательно, мужчины принадлежат к особому братству. Мысль об этом различии появилась у меня, пока я застёгивал свои штанишки. Справившись с молнией, я примерился к раковине. День, когда и я смогу приобщиться к братству, должен был наступить ещё не скоро.

Из туалета я отправился в спальню. Уолт посмотрел на меня с улыбкой, как будто догадавшись, что было у меня на уме. Быстро собравшись, Уолт вышел из дома, чтобы сесть на трамвай, на котором ездил на службу. А бабушка взяла меня с собой на курсы кройки и шитья, которые она вела в средней школе Марина Джуниор. Посещали их, главным образом, жёны итальянских иммигрантов.

А ночью за окном опять были лучи прожекторов, обшаривающие небо от края до края. Ищущие неусыпно.

¹ Земельные гонки (англ. Land run) – исторические события, в ходе которых проводилась распределение (или продажа) незаселённой государственной земли на ранее приобретённых США территориях, большей частью бывшей Французской Луизианы (большинство – на землях индейской территории будущего штата Оклахома). Распределение проводилось Земельной контрольной США на основе Закона о гомстедах 1862 года, чаще всего после заезда по принципу «кто быстрее доберётся до участка». Крупнейшей стала так называемая «Гонка на полосе чероки», состоявшаяся 16 сентября 1893 года. В ней участвовало более ста тысяч человек (здесь и далее примечания переводчика).

² Банда Далтонов – группа преступников, организованная братьями Граттоном, Бобом и Эмметом Далтонами. Банда Далтонов занималась ограблениями банков и поездов на американском Диком Западе в период 1890–1892 гг. 5 октября 1892 года, в ходе перестрелки во время попытки ограбления сразу двух банков в городе Коффивилл, Граттон и Боб Далтон, а также двое других членов банды, были убиты. Эммет Далтон получил более двадцати огнестрельных ранений, но выжил и впоследствии был приговорён к пожизненному заключению. В 1907 году Эммет Далтон был помилован, отбыв в заключении 14 лет; умер в 1937 году в возрасте 66 лет.

О банде Далтонов снято несколько фильмов в жанре вестерн, в частности – «Последний налет банды Далтонов» (The Last Ride of the Dalton Gang), посвящённый перестрелке в Коффивилле.

- ³ Дуглас Макартур (1880–1964) – американский военачальник, обладатель высшего звания – генерал армии, фельдмаршал филиппинской армии (24 августа 1936), кавалер многих орденов и медалей. За его руководящую роль в ожесточённой обороне Филиппин был награждён Медалью Почёта. На посту верховного командующего союзными войсками на Тихом океане Макартур 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» принял капитуляцию Японии.
- ⁴ Баухаус (нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung – Высшая школа строительства и художественного конструирования) – учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год. Самая влиятельная школа прикладного искусства, дизайна и архитектуры XX века. За четырнадцать лет своего существования она произвела художественную революцию, стала тем местом, где художники и архитекторы разных стран пытались переосмыслить мир. Представители Баухауса стали основоположниками принципа практической полезности и рациональности форм, заложили новый подход к обучению, работе с городскими ландшафтами, мебелью и предметами быта.
- ⁵ Пёрл-Харбор (англ. Pearl Harbor) – гавань на острове Оаху (Гавайи). Большая часть гавани и прилегающих территорий заняты центральной базой тихоокеанского флота военно-морских сил США. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Пёрл-Харбор, что послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.
- ⁶ Красный Всадник (также Ред Райдер; англ. Red Ryder) – персонаж популярной серии комиксов в жанре вестерн, выходящей с 1938 по 1965 год. Комиксы про Красного Всадника стали основой для радиосериала (1942–1951), телесериала и цикла полнометражных фильмов.
- ⁷ Рид Хэдли (1911–1974) – американский актёр радио, кино и телевидения, более всего известный своими работами в фильмах 1940-х годов. За свою карьеру Хэдли сыграл более чем в 100 фильмах. Благодаря своему глубокому голосу первоначально добился успеха на радио, где в 1940-е годы исполнял роль Реда Райдера / Красного Всадника.
- ⁸ А-1 «Скайрейдер» – американский штурмовик, разработанный авиастроительной фирмой «Дуглас» в середине 1940-х. В серийное производство был запущен уже после окончания Второй Мировой войны. За период с 1945 по 1957 г. было изготовлено 3180 самолётов данной модели.
- ⁹ Управление военной информации (англ. The Office of War Information, OWI) – ведомство, в задачи которого входила координация информационной де-

тельности государственных учреждений США во время Второй мировой войны, а также пропаганда и агитация. В указе от 13 июня 1942 года было сказано, что создание нового ведомства имеет целью обеспечение права американского и других народов антигитлеровской коалиции на получение правдивых сведений об общих военных усилиях союзников. Расформировано 31 августа 1945 года.

- ¹⁰ Пресидио (англ. Presidio) – территория на северной оконечности полуострова Сан-Франциско. Название происходит от названия испанского форта El Presidio Real de San Francisco, основанного в 1776 году. В ходе американо-мексиканской войны 1846-1848 гг. форт был захвачен американской армией. Военная база на территории Пресидио существовала до 1994 года, когда решением Конгресса США зона была демилитаризована и передана в ведение Национальной службы парков. Является одной из достопримечательностей Сан-Франциско. На территории парка расположены несколько исторических зданий, военно-исследовательский институт и госпиталь и Музей сухопутных войск.
- ¹¹ Врата Аргуэльо (англ. Arguello Gate) – архитектурное сооружение в виде четырёх пилонов из песчаника, украшенных рельефом с военной символикой. Установлены в 1896 году на бульваре Аргуэльо перед въездом в Пресидио; архитектор – Дж. Б. Уитмор. Бульвар Аргуэльо назван в честь Хосе Дарио Аргуэльо, коменданта Пресидио и губернатора Калифорнии в то время, когда она была испанской колонией.
- ¹² Марш смерти на полуострове Батаан – трагическое событие, произошедшее во время Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий. 9 апреля 1942 года, после поражения при битве за Батаан, генерал-майор Эдвард Кинг сдал свою группировку, насчитывающую 78 тыс. солдат, противостоящей японской армии. Пленных солдат прогнали пешим маршем протяженностью 97 километров до концентрационного лагеря в Кабанатуане. Около 10 тыс. пленных погибло от голода, жажды, ран или были убиты конвоирами без всяких причин. Батаанский марш смерти признан военным преступлением.
- ¹³ Билибид – концентрационный лагерь близ города Кабанатуан, Филиппины, созданный японцами для содержания пленных американских и филиппинских военных во время Второй мировой войны.
- ¹⁴ Лагерь для интернированных Санто-Томас – лагерь для интернированных гражданских лиц, созданный японцами после оккупации Филиппин в 1942 году. Располагался на территории католического университета Сан-

то-Томас в Маниле. По состоянию на февраль 1942 года в Санто-Томасе содержалось 3200 американцев, 900 британцев, 40 поляков, 30 голландцев, а также граждане Испании, Мексики, Никарагуа, Кубы, Бельгии, Швеции, Дании, Китая и других стран. Среди заключённых лагеря находилось и около 400 детей. Санто-Томас был освобождён в ходе битвы за Манилу 3 февраля 1945 года.

ГЕЙЛ Сан-Франциско, 1949

Мама припарковала наш «студебекер-рокне» на крутом склоне Филберт-стрит¹, под углом к обочине. Модель «Рокне» получила название в честь известного футбольного игрока и тренера команды «Нотр-Дам» Кнута Рокне²; расчёт был на увеличение продаж. Это был большой четырёхдверный пассажирский автомобиль с двумя запасками, прикреплёнными с обеих сторон за передними крыльями. «Рокне» не дотягивал классом до модели «президент», но всё же машина была стильная, и моей матери явно нравилось, как она сочетается с её ухоженными белокурыми волосами, отлично пошитым бежевым пальто, длинным платьем, тесно облегающим бедра, и помадой сдержанного оттенка красного. Маме нравились танцы в ночных клубах и барах Сан-Франциско: «Goman's Gay 90's», «The Top of the Mark», «365 Club»³... Она бывала там, хотя эти заведения представлялись ей второсортными в сравнении с шанхайскими клубами конца тридцатых, где она танцевала со своим другом Тони Собралем.

Мама переходила улицу лёгкой, танцующей походкой – в конце концов, она же была балериной. Она позвонила в дверь дома № 486 и в нетерпеливом ожидании закурила «честерфилд».

– Кто там?

– Это я, Мэрион.

Толстая дубовая дверь распахнулась настежь.

– Входи, дорогая.

Гейл, лучшая мамина подруга, раскрыла руки для объятий.

– Так-так, надо же, как чудно выглядишь. Осторожнее на лестнице.

«Осторожнее на лестнице». Для меня это ритуальное преду-

преждевание ничего не значило, по лестнице я бежал бегом. На самом деле взрослые вовсе не думали спотыкаться и падать на этой лестнице. И я тоже не собирался.

– Только гляньте, кто пришёл, – сказал Эдди, приятель Гейл.

Он сидел в кресле, одетый в синие брюки и молочно-белую рубашку с расстёгнутым воротом. Эдди не носил галстук, зато носил золотые запонки. Позади него вдоль стены выстроился целый ряд шифоньеров. Через несколько лет после того, как Эдди не стало, Гейл сказала моей матери, что он был тот ещё фронт. Всё, что он имел, – шифоньеры, забытые до отказа, в основном, рубашками, большая их часть так и осталась неношенными.

Гейл вместе с моей матерью перешли в гостиную, смеясь над чем-то своим. Что их развеселило? Воспоминание о моряке, с которым у Гейл случилось мимолётное свидание однажды, во время войны? Или рискованная шутка? Или они смеялись над чем-то, случившемся в магазине модной одежды «Мэйси», где обе работали? Гейл была похожа на Лаверн Эндрюс⁴, одну из сестёр знаменитого вокального трио, что было особенно популярно в сороковые. Она обладала знойной привлекательностью и любила приговаривать: «В постели все одного роста». Наверное, стоит заметить, что Гейл была заметно выше Эдди.

Неужели и вправду она предпочитала моряков морпехам? На протяжении всей войны и ещё немного после сам воздух был напитан необузданной сексуальностью. Моряки в увольнительной, набившись в трамвай, ехали в парк развлечений Плейленд. Девушки строили им глазки. Варианты выбора: аттракцион «Поездка сквозь хохочущую тьму», двадцать приятных минут в темноте; аттракцион «Мрачная тайна», также двадцать приятных минут в темноте. Ещё можно было уединиться в какой-нибудь фотобудке. Или даже в туалетной кабинке ресторана «На скале». Перепихнуться по-быстрому. Девушкам хотелось поразвлечься.

Если тебя призвали на службу, используй шанс, наслаждайся жизнью. Быть может, завтра тебя отправят за океан. Иводзима, Гвадалканал, Нормандия, Анцио. И обратно ты можешь уже не вернуться. И как, чувствуешь ли ты острее аромат женских духов? Да, несомненно.

Я оглядел стены комнаты. Голый цемент. Точно как в подвале

нашего дома на 42-й авеню. Зато потолок в комнате был высокий, выше, чем в большинстве домов.

– А почему у вас стены не покрашены? – не удержался я от вопроса.

Сейчас-то я понимаю, что это было невежливо. Тем не менее, Гейл ответила мне:

– Нам с Эдди так больше нравится.

– Как насчёт обоев? – спросил я.

– Мне не нравятся обои, – сказал Эдди.

Я посмотрел на потолок, там не было ни плафонов, ни люстры. Комната была освещена лампами, стоявшими на столе и на полу. Во всех домах и квартирах, где я бывал раньше, имелись светильники на потолке. И стены там были оштукатурены, оклеены обоями или облицованы плиткой. Упоминание, что Гейл и Эдди не были женаты, наверное, уже ничего не добавит.

Впрочем, что насчёт нас с матерью? Наш «Студебекер-рокне» был довольно примечательной машиной, такой я не видел больше ни у кого. А много ли жительниц Сан-Франциско провели юность, отплясывая в ночных клубах Шанхая?

– У вас нет светильников на потолке, – заметил я.

– Нам они не нужны, – ответил Эдди. – У нас есть лампы.

Я оглядел комнату ещё раз. Даже моему ненамётанному глазу было заметно, что углы в комнате неровные, а пол слегка покатый.

Но погодите-ка – квартира была расположена как раз в районе Норт-Бич, и год был 1949-й, самая заря эры битников. Именно здесь, в Норт-Бич, начинали собираться поэты, писатели, музыканты.

Кеннет Рексрот, Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Нил и Кэролин Кэссиди⁵. «Vesuvio Café», «Caffe Trieste», «Co-Existence Bagel Shop»⁶...

Но что я только что описал? Я описал жилище битников, где жили Гейл и Эдди, которые не были поэтами-битниками. Однако тот факт, что сами они не сочиняли битнических стихов, не имеет отношения к сути. Если бы в ту пору вы затеяли кино про жизнь битников и выбирали место для съёмок, то с квартирой Гейл и Эдди точно не прогадали бы.

Забегая вперёд: Гейл и Эдди так и не поженились. Жили как богеменная пара. Как битники. Как Гейл и Эдди.

Я прошёлся по комнате, представляя себе, как бы она выглядела, если покрасить стены и застелить пол ковром. Сделать тут нормальное освещение, выровнять пол, оштукатурить стены. Превратить в обычную унылую квартиру.

Эдди сидел в кресле и читал газету, пока на кухне моя мама и Гейл смеялись и разговаривали о чём-то своём. Быть может о вольных, но чертовски трудных военных временах, когда моя мама работала на авиазаводе «Дуглас» в Лонг-Бич. Или о том самом моряке, с которым Гейл провела одну-единственную ночь. Одно можно было сказать наверняка: мама курила сигареты марки «честерфилд», оставляя на фильтре следы красной помады.

Наконец Гейл и моя мама вернулись из кухни. Я продолжал мерить шагами комнату, а Эдди всё ещё читал газету. Потом Гейл проводила нас к машине; мама курила очередную сигарету.

Мы навещали Гейл и Эдди ещё несколько раз, пока они не переехали в Хантерс-Пойнт. Пятнадцать лет спустя Гейл умерла.

Мама очень сильно переменилась.

Дом № 486 по Филберт-стрит снесли и построили новый. Углы в комнатах были прямые, пол ровный, и, разумеется, лампочки под потолком. Стены были оштукатурены и покрашены.

Больше никакого голого естества, никакого шершавого цемента.

¹ Филберт-стрит – одна из достопримечательностей Сан-Франциско, считается самой крутой улицей города, на участке между Хайд и Ливенворт уклон составляет 31,5% (здесь и далее примечания переводчика).

² Кнут Кеннет Рокне (Knut Kenneth Rockne, 1888 – 1931) – известный американский спортсмен, тренер университетской футбольной команды «Нотр-Дам».

³ «Goman's Gay 90's», «365 Club» – популярные увеселительные заведения Сан-Франциско, существовавшие в середине XX века. В «365 Club» выступала молодая Рита Хейворт, до того, как начала успешную кинокарьеру.

«The Top of the Mark» – ресторан, расположенный на верхнем этаже элитного отеля «Интерконтиненталь Марк Хопкинс» (InterContinental Mark Hopkins). Открыт в 1939 году, существует по настоящее время.

⁴ Лаверн Софи Эндрюс (LaVerne Sophie Andrews, 1911 — 1967) – американская певица и актриса, старшая из трёх сестер Эндрюс, составлявших

вокальное трио The Andrews Sisters, активно выступавшее с 1937 по 1953 годы.

⁵ Кеннет Чарльз Мэрион Рексрот (Kenneth Charles Marion Rexroth, 1905 – 1982) – американский поэт, эссеист и переводчик, считается центральной фигурой так называемого «культурного возрождения Сан-Франциско», был организатором еженедельных литературных салонов, где выступали Аллен Гинзберг и другие поэты-битники.

Ирвин Аллен Гинзберг (Irwin Allen Ginsberg, 1926 – 1997) – американский поэт второй половины XX века, наряду с Джеком Керуаком и Уильямом Берроузом считается основателем литературного движения битников, автор знаменитой поэмы «Вопль» (англ. Howl), оказал значительное влияние на контр-культуру 1960-х годов.

Джек Керуак (Jack Kerouac, 1922 – 1969) – американский писатель, культовая фигура поколения битников. Скитания по стране, в которых Керуак провёл значительную часть жизни, легли в основу его самых знаменитых романов – «В дороге» (англ. On the Road) и «Бродяги Дхармы» (англ. The Dharma Bums).

Нил Леон Кэссиди (Neal Leon Cassady, 1926 – 1968) – одна из важнейших фигур поколения битников, близкий знакомый Аллена Гинзберга и Джека Керуака, послужил прототипом для нескольких литературных персонажей, в частности – Дин Мориарти в романе «В дороге» и Коди в романе «Бродяги Дхармы».

Кэролин Элизабет Робинсон Кэссиди (Carolyn Elizabeth Robinson Cassady, 1923 – 2013) – жена Нила Кэссиди, также водившая близкое знакомство с Джеком Керуаком и Алленом Гинзбергом, послужила прототипом Камиллы из романа «В дороге». В 1990 году опубликовала книгу мемуаров «На обочине: Двадцать лет с Кэссиди, Керуаком и Гинзбергом» (англ. Off the Road: Twenty Years with Cassady, Kerouac and Ginsberg).

⁶ «Vesuvio Café» – знаменитый бар, где часто бывали Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Нил Кэссиди и другие видные представители движения битников. Бар был открыт в 1948 году и существует по настоящее время; расположен на Коламбус авеню, напротив независимого издательства и книжного магазина City Lights.

«Caffe Trieste» – сеть итальянских кофеен в Сан-Франциско. Популярность сети началась с кофейни, открытой в районе Норт-бич, с середины 1950-х она стала излюбленным местом для представителей богемы, здесь бывали Кеннет Рексрот, Лоренс Ферлингетти, Алан Уоттс, Ричард Бротиган, Боб Ка-

уфман, Аллен Гинзберг, Джек Керуак. Именно в этой кофейне Фрэнсис Форд Коппола написал большую часть сценария к фильму «Крёстный отец».

«Co-Existence Bagel Shop» – кафе-бар в районе Норт-бич. Этому культовому для эры битников месту посвящена поэма Боба Кауфмана «Bagel Shop Jazz».

Перевод с английского Олега Куцова

Эрих фон Нефф – американский писатель и портовый рабочий из Сан-Франциско. Родился в 1939 г. По окончании школы им. Джорджа Вашингтона проходил военную службу в Корпусе морской пехоты США. В 1964 г. окончил госуниверситет в Сан-Франциско со степенью бакалавра искусств, в 1974 году получил степень магистра. В 1980-1981 г.г. проходил аспирантуру в университете Данди, в Шотландии, затем получил степень магистра философии.

Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе: «The Quan Shang Opera», «The Red Lancia Roars Down Lombard Street», «Gang 87», «Prostitutes By The Side Of The Road», «The Cocaine Whores».

Состоит в обществе «Французских Поэтов», а также в «Обществе французских поэтов и художников». Опубликовал несколько книг поэзии и прозы во французских переводах. Русские переводы его рассказов публиковались в литературных журналах «Дон», «Эдита», «Ликбез», «Новый берег», «Зарубежные задворки».

Недавно увидел свет на русском языке сборник его рассказов «Проститутки на обочине».

Григорий МАРГОВСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

ВЕРЕТЕНО

Я увидел, съезжая с холма,
Как зарделась небес бахрома.

Заалел гобелен облаков,
Кое-где розоват и лилов.

И страстей светозарный накал
Мириадами нитей стекал.

А навстречу ему травостой,
Горемычный, с улыбкой святой.

Тростниковая пряжа озер
В херувимский вплеталась ковер.

Колыхалась душистая вязь,
В серафимовы дали струясь.

И внушало мне веретено,
Что бессмертие обретено.

И братались луга с синевой,
Сочетая предгрозье и зной.

Так евангельский вечный сюжет
Был вечерним сияньем воспет.

МАДОННА

Блаженно вобрала её душа
Затишье сада, таинство лазури,
Льняное масло каплет из ковша,
И свищет подмастерье, штукатуря.
Но растиранью красок второпях
Сопутствует формированье школы,
И как смешался минералов прах,
Так символы сойдутся и глаголы.
Пусть юная, с младенцем у груди,
Питает мир необозримым млеком,
Расхристанности алчной посреди
Связуя человека с человеком!
Пред нею неوفиты разных сект,
Инстинкт обожествляя материнский,
Трепещут, и Пьемонта диалект
Внезапно понимает по-тюрингски.
Не положить предела доброте,
Противны состраданию кордоны,
Наш континент выращивали те,
Кто загляделся на лицо Мадонны!
А сам художник, выбившись из сил,
Под грушею присев как вяхирь сизый,
И вовсе, может быть, изобразил
Кормилицу Франциска из Ассизи.

КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ*

С тех пор как развеял монах
Тибетскую мандалу взмахом,
Бессмертия нет в именах
И сыплется замысел прахом.

Ничьи письма не горят
На пышущем лавою склоне,
И путник проходит свой ад
Без карты и без чичероне.

Лишь пенится гуще река,
Вздываясь при каждом раскате,
Как в дряблых руках старика –
Багровая чаша фраскати...

О чем же над Сенной досель,
Рыданьем отлита трехмерно,
Горюет Камилла Клодель –
Медея эпохи модерна?

* Скульптор, художница. Стала для Огюста Родена источником вдохновения, его моделью, ученицей и любовницей.

КАЛИФОРНИЯ

Калифорния! Тающим гроздьям
Уподоблю, от счастья нем,
Я твою тридевятиую роздымь,
Что течет, как малиновый джем.
Ты в моем эротическом списке
Удостоишься верхней строки:
Асфодели цветут по-альпийски,
Протирают глаза мотыльки.
На воде уж видны колебанья,
Ходят волны колосьями ржи,
И, отфыркиваясь после бани,
Выползают на брюхе моржи.
Леденцами лечить от ангины
Предстоит их теперь храбрецу –
И сангвиниками пингвины
По ранжиру замрут на плацу...
Не страшны этим паркам секвойным
Наши карликовые бои:
Даже к звездным коммерческим войнам
Равнодушны просторы твои.
Не решаюсь молить о союзе:
Я готов убелять гобелен,

Подвенечные платья медузы
Расшивать, не вставая с колен!
По значению равная Дельфам! –
Ни в кого уже так не влюблюсь:
Мне бы только мятущимся эльфом
Танцевать под мучительный блюз.

КАРДИНАЛ

Отраднo ли тебе поется
Среди валежника и скал,
Кустарниковые болотца
Облюбовавший кардинал?

Чай не какой-то там подранок,
Нахохленный простолюдин
Из воробьев или овсянок –
Прелат всех троллей и ундин!

Почто ж ты так топыришь перья,
Таская корм у старой скво?
Тебя сжирает червь неверья?
Гнетет плачевный статус кво?

Отнюдь не распрями конклава
Твой нервный продиктован взмах –
Но тем, что гниlostная слава
Восходит на семи холмах.

Такой теперь пошел епископ
В краю духовных воротил:
Сутяги, пакостники – близко б
Ты их к себе не подпустил!

Сапсана аспидные крылья
Над стаей бабочек кружат;
Орел плюгавый от бессилья
Когтит беспомощных стрижат;

А сам понтифик, страус эму,
Окучивает аббатисс:
Ему, привыкшему к гарему,
Без этих крякв не обойтись.

Но как существовать на грани?
Ты к возвращению готов?
Не опостылело в изгнание
Клевать улиток, слизняков?

Молчишь. Ужель свистать не в силах?
А был ведь с Ангелом знаком
И возрождал больных и хилых –
Избранник с острым хохолком!..

Лишь на закате бездыханно
Лобелий нежных лепестки
Там-сям алеют – как сутана,
Разорванная на куски.

СИРЕНА

Двух девушек обняв за плечи,
Уже почав бутылъ «Бурбона»,
В потоке их прелестной речи
Барахтаюсь раскрепощенно.

Подобный трюк никем не видан,
Чтоб от стихов рождались дети, –
Но нам с тобою, Мартин Иден,
Недостает всего на свете!

Ты прав, певец свободы духа:
Когда-нибудь сольются реки...
И равнодушно внемлет ухо
Гвадалквивиру ипотеки.

Да, у меня ни цента в банке –
А мне и море по колено:
Любовь еврейки и армянки
Вкушаю я одновременно.

Невольно думаю о чуде,
Когда, впитав созвездий млечность,
Призывно набухают груди:
Как плюс и минус бесконечность.

НА МОСТУ

Памяти Сергея Ганиева

Я заприметил в Ньютоне одно
Местечко сюрное: там клены,
Пока совсем не сделалось темно:
Добротно ль их нутро отражено? –
В протоку плятятся, наклонны.

Как та орава кельтских забулдыг,
Толпятся шмыгая носами,
И вдруг свеченье алое – бултых! –
Прощальный штрих на амальгаме
Поминовенья Всех Святых...

Там старый железнодорожный мост,
Рассохшиеся шпалы лежнем,
Малиновки бранятся из-за гнезд;
С убитым вздохом: "I'm lost!.."
Присяду помечтать о прежнем.

И вот грядет откуда-то напев:
Гад буду, это Фредди Меркьюри!
Замковый камень украшает лев,
Цветет чертополох на эркере,
Мир выжил, гниль преодолев.

И мы бредем бакланя по Тверской,
Едва переставляя ноги:
Опять ГКЧП такой-сякой, –
Но пусть кто хочет пьет за упокой,
А мы сегодня вздрогнем у Сереги!

РУХЛЯДЬ

Как любил я подростком
Чердаки и подвалы!
Пробираясь по доскам
И шепча «елы-палы»,
Натыкался на кресел
Подлокотники в страхе
И во тьме куролесил,
Примеряя папахи.
Не коллекция сабель
Рядом с чучелом лисьим,
Так заброшенный штабель
Фотоснимков и писем,
Где для розовых щечек
Мадригал вдохновенный
Сочинял пулеметчик,
Пожираем гангреной.
Не фонарик предавний
И с зазубринкой ножик,
Так собранье преданий,
Вееров и застежек,
Да сережек, что в ухе
Золотились картинно
Одинокой старухи,
Умиравшей без сына...
А теперь мне ни в подпол,
Ни наверх неохота;
Прожил день, смену отбыл,
Подоспела суббота.
Что за радость нам в хламе,

Грызунам на съеденье,
Прозябать меж чехлами
Для передних сидений?
Наклонюсь над кроватью,
Чтоб подушку припухлить:
Ни с какою загадкой
Ты не связана, рухлядь.

АВГУСТ

Плоды алеют там и тут
Шиповника в сыпучих дюнах,
Стрижи в созвездьях златорунных
Ткачами бодрыми снуют.

Маяк за пристанью потух,
Креветки, прячься в анемоне
От осьминоговой погони,
Блаженно переводят дух.

И мы давай передохнем
В краю несуетных желаний,
По осени скучая ранней
И ворожа перед огнем.

У глеющего камелька,
Среди рыбацких сонных хижин,
Дабы, вне сердца непостижен,
Нам ответ юности мелькал.

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВ

Я в Третьяковской галерее
Картину помню «Мокрый луг»,
Оттенки неба чуть свежее,
На версты никого вокруг,
Лишь нимбы мягкие на кущах,

Колодец ветхий, три скворца
Да ожерелье трав цветущих
На тонкой шее озерца...
Почто морочила менада?
Какой мерещился хорал?
Зимою, струи водопада
Перекричав, он захворал.
Так пал без страха и упрёка
Художник двадцати трех лет!
За мать-и-мачехой осока
Тянулась в ангельский просвет.
Мазками восхищался Репин,
Но и с оглядкой на мольберт
Не стёр талант, великолепен,
Трагедии беспечных черт.
И шепчет ветер златоусто,
В мытарствах преломляя хлеб,
Что первым признаком искусства
Пребудет подлинность судеб.

КВАРТЕТ

Стояли жаркие деньки,
И джазовый квартет
Халтурил в поисках деньки,
Неряшливо одет.
Гитара, флейта, саксофон
И с ними барабан,
А мир глазел со всех сторон,
Пам-пара-пара-бам.

Проворно подтянув колки,
Бренчал седой старик,
Что жаловаться не с руки,
К лишениям он привык.
И две красотки из метро,
Нежны к его скорбям,

В ответ хихикали хитро,
Пам-пара-пара-бам.

Флейтист, верзила из верзил,
Молодцевато рыж,
Вовсю рулады выводил,
Аж доставал до крыш.
И очень нравился мотив
Залетным воробьям,
Они порхали, подхватив:
Пам-пара-пара-бам.

На саксе милый толстячок,
Как бегемот урча,
Лабал отвязно, и со щёк
Сбегали три ручья.
И жадно воздуха глотнуть
Старался барабан,
Да оставалось жить чуть-чуть...
Пам-пара-пара-бам!

Григорий Марговский родился в 1963 в Минске. Окончил Литинститут и в 1993 репатриировался в Израиль. В 2001 переехал в США.

Автор пяти сборников стихов, двух романов и книги новелл. Печатался в «Юности», «Дне Поэзии», «Новом журнале» и многих других изданиях.

Алекс ЩЕГЛОВИТОВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

БЕЗУМИЕ

Я помню те безумные года,
Вопросы, не нашедшие ответа,
Я помню, как стоячая вода
Срывалась водопадом в это лето.

ОВИР. Баул. Моторами взревев,
Разрезал небо белокрылый Боинг,
Пространство и года преодолев,
Нас перенёс за линию прибоя.

Два берега. Два мира. Две страны.
Одно и то же небо и планета.
Безумие. В нём были рождены,
Но убежали в середине лета.

ОСЕНЬ ЖЁЛТАЯ

Блеск луны отразился в озере
Гольшом скользнул по воде
Желтизна одинокой осени
Отпечаталась на холсте

Жёлтый лист на воде качается
И от берега вдаль плывёт
Осень жёлтая не кончается
Осень белая подождёт

ЮТЯСЬ В ПЛЕНУ САМООБМАНА

ютясь в плену самообмана
Алексей Глуховский

Всю жизнь придумывая что-то,
Ютясь в плену самообмана,
По крохам выбираю квоты
И заполняю бесталанность.

Слова нанизываю в строки,
Таланта трачу атрибуты,
Ютясь в плену своих пороков,
Боюсь чего-нибудь напутать.

И до утра не засыпая,
В конце строки поставив точку,
Я выпиваю чашку чая,
Ютясь на кухне в одиночку.

Я ПРОШУ, НЕ ХОДИ ЗА ЧЕРТУ БЕЗОПАСНОСТИ

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
Иосиф Бродский

Я прошу, не ходи за черту безопасности.
Я прошу, не ходи за порог безнадёжности.
Я готов накормить тебя разными баснями,
Если даже ты будешь последней безбожницей.

Я прошу, не ходи за порог ощущения.
Мир за дверью наполнен пророками лживыми.
Я прошу, не ходи – ты последняя женщина,
Для которой пишу я словами красивыми.

Баррикады мозаики разных нелепостей
Погружают нас в мир виртуальной пространстваи.

Я прошу, не ходи туда. Лишь в моей крепости
Ты найдёшь для поступков своих мотивацию.

Мир погибнет с уходом последней возлюбленной,
Просто некого будет мне ждать тихим вечером.
Я прошу, не ходи за черту, где погублено
То, что было всегда идеалами вечными...

Я прошу не ходи...

ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Осколки солнца в жёлтых листьях осени
Ещё хранят тепло твоих ладоней,
Рисует утро на оконной плоскости
Улыбку рафаэлевской Мадонны.

Уже фольгой похрустывают лужицы,
Всё глубже осень промерзает за ночь.
И первый снег вот-вот уже закружится,
В два раза удлиняя Verrazano.*

Нью-Йоркская палитра поздней осени:
Сегодня снег, а завтра дождь..., но между
Опавший лист строку наполнить просится
И подарить твоих ладоней нежность.

* Verrazano-Narrows Bridge (англ.) – мост, соединяющий Бруклин и Стейтен Айленд, районы большого Нью-Йорка.

РАСТВОРИМАЯ НОЧЬ И ДВЕ ЛОЖЕЧКИ САХАРА

Расставания, встречи, минор ожидания,
Белокрылые ночи, Луной опалённые,
Под окном в хороводе берёзки жеманятся,
И дубы на опушке немного влюблённые.

Растворимая ночь и две ложечки сахара,
Твой любимый пирог зачерствел полумесяцем,
И кудряшки, с умелой руки парикмахера,
На подушке лежат, но никак не уместятся.

Мне не спится давно, то ли кофе причиною,
То ли мысли... шарами бильярдными мечутся.
Лик Марии, очерченный тонкой лучиною,
Мне всё время на белой подушке мерещится.

Не кощунствую. Нет. Видно, просто старею я.
Ночь разбавлена сливками утренней свежести,
Всё пытаюсь создать я свою Галатею,
Подчиняясь любви и её неизбежности.

КОГДА СЛЫШУ В НОЧИ ЗАТИХАЮЩИЙ СТУК КАБЛУЧКОВ

Когда слышу в ночи затихающий стук каблучков,
Выхожу на балкон и смотрю в темноту Недоверья.
И Луна поправляет за тучами дужки очков,
И собака скулит за неплотно прикрытую дверью.

И куда-то спешат непрерывной толпой облака,
Грустный клён за окном не даёт успокоиться ветру,
Каблучки затихают... Наверно, ты так далека,
Что уже ни к чему приносить бесполезную жертву.

Алекс Щегловитов родился и вырос в Украине. По образованию инженер-электронщик. В США с 1992 года. Представлен в интернете множеством страничек на различных литературных порталах. Автор тематических сборников стихов «Целая жизнь» (2016) и «Пролог» (2017), сборника стихов «В созвездии рака» (2008) и соавтор двух коллективных сборников «Облако в стихах» (2002) и «Стихия I» (2004). Дважды лауреат международного литературного конкурса «Пушкинская Лира» (Нью-Йорк, 2016 и 2017).

Член Литературного клуба Нью-Йорка и Клуба русских писателей.

Джейкоб ЛЕВИН

ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЁНЫМИ ГЛАЗАМИ

У Валери Фортенски, тридцативосьмилетней жительницы Нью-Йорка, миловидной женщины с красивыми ногами, произошло несчастье. После пятнадцати лет совместной жизни от неё неожиданно ушёл муж. Они жили дружно, между ними как будто не было особых конфликтов, выяснения отношений или ссор. Просто так – однажды утром он взял бритвенный прибор, увеличительное зеркальце на подставке и пинцет для выдёргивания волос из носа и ушёл неизвестно куда.

Он только успел сказать ей:

– Прости меня, но я никогда к тебе не вернусь, не ищи меня. Я встретил другую спутницу жизни. Я приду через три дня, когда «жара спадёт», и обо всём тогда поговорим. Я всё объясню.

Она сразу поняла – это всерьёз.

Двенадцатилетняя дочь Германика, сев за стол завтракать, сказала Валери:

– Когда папа меня поцеловал, я ещё спала и не смогла проснуться.

– Да, да, конечно, – рассеянно сказала Валери. – Ты не забыла, что завтра ты возвратишься в Спрингфилд к бабушке? Возьми с собой несколько пар носков и десять пар трусиков. Остальное я постираю и привезу потом.

– Когда, мама?

– Ещё не знаю.

Стуча зубами от озноба, Валери позвонила в редакцию, где она проработала дизайнером тринадцать лет, и срочно попросилась в отпуск за свой счёт. На три недели. Хозяин удивился и спросил:

– У тебя всё в порядке?

– Да, да, всё в порядке, просто я хочу поработать дома. Всё, что надо закончить, я сделаю дома.

Как она проживёт следующие три дня, она ещё не знала. Мысли

ходили по кругу и замыкались на одном: «чем лучше меня та, к которой он ушёл?»

Она позвонила по объявлению, наняла частного детектива и, уплатив за двадцать четыре часа почти тысячу долларов, снабдила его фотографией мужа. Это было дорого для неё, но выхода не было. Она хотела узнать, куда и к кому ушёл муж.

В день, когда муж должен был появиться, детектив приехал на фургоне с надписью «Boris Heart» («Сердце Бориса» – англ., прим. ред.). Это было почти точной копией рекламы компании «Boar's Head» («Голова вепря» – англ., прим. ред.), которую знают все жители Нью-Йорка. С той разницей, что «Boar's Head» занимается доставкой мясных и колбасных изделий, и на его фургоне изображена голова разъярённого вепря, а на фургоне детектива было написано, что он доставляет детские надувные игрушки, и на нём изображена была розовая добродушно улыбающаяся свинка. Но Валери не заметила этой разницы.

Было ещё рано, когда детектив устроился в фургоне напротив её дома и стал ждать мужа.

Всё, что она смогла придумать за три дня, это было: «Ведь должен же он где-то спать? Если он где-то спит, то непременно у него в кармане плаща будут ключи от этого жилища». Муж всегда осенью и весной держал ключи в кармане плаща.

Всё было логично. Ведь совсем не спать человек не может.

Вскоре, предварительно позвонив, появился муж. Он привычно повесил плащ на вешалку, спросил, уехала ли дочь в Спрингфилд, и прошёл в гостиную. Она хорошо знала своего мужа, потому первый вопрос, который задала ему Валери, был:

– Что же такого она тебе делает, чего не делала я?

– Разговор между нами коснётся только алиментов, нашей квартиры, дачного домика, машины и совместного счёта в банке.

– Да, да, конечно, – сказала Валери. – Но на совместном счёту у нас осталось только сто пятьдесят долларов. Ты обо этом уже успел позаботиться. Теперь всё на твоём персональном счёту, не так ли?

– Не скрою, я решил развестись с тобой не вчера.

– И всё это время молчал?

Слезы брызнули из глаз Валери, и она бросилась на мужа со слабо сжатыми кулаками, но тут же выдохлась и горько заплакала.

– К сожалению, как я и предполагал, сегодня разговора не получится, – сказал муж, расстегнул «молнию» на брюках и пошёл в туалет. Валери бросилась проверять карманы его плаща.

В левом кармане лежала знакомая ей связка, где были ключи от машины, от дачи, от рабочего кабинета и брелок в виде ирландского трилистника. Но в правом кармане было два незнакомых ключа. Один, по-видимому, от наружной двери и один ключ от французского замка, с короткой цепочкой и брелоком в виде «Микки Мауса». Вот их Валери и взяла.

– Пусть теперь заказывает для себя другие ключи, – со слабым злорадством подумала она. Это была её маленькая беззубая месть.

Муж собрался уходить.

Уже вслед ему она сказала:

– Запомни: ревновать молча я ещё не научилась. Жди неприятностей.

Какими неприятностями она угрожала мужу, она пока не знала.

Почему она решила завладеть его ключами, она ещё толком тоже не понимала. Возможно, где-то так и поступают... И на вопрос, зачем она это сделала, ответа у неё не было.

Вечером позвонил детектив и сообщил, что всё известно. Её муж живёт в Манхэттене, в одном квартале от 96-ой улицы, напротив закуской, в старинном угловом коричневом односемейном доме, теперь разделённом на четыре квартиры. Одна квартира на первом этаже имеет вход на уровне земли, под ступенями лестницы, её занимает полисмен, две другие – на втором и ещё одна большая, хозяйская, на третьем этаже. Её муж живёт в одной из квартир на втором этаже с высокой брюнеткой, лет двадцати восьми-тридцати. Её зовут Гленда. Она ходит на высоких каблуках, держит голову прямо, довольно вызывающе смотрит прохожим в глаза, беззащитно их разглядывает и пользуется яркой помадой. У неё дорогая кожаная сумка, эффектная причёска и лёгкая пружинистая походка.

– Возможно, кто-то бы назвал её красивой, но не я, – сказал детектив. – Они вместе с подружкой владеют небольшой картинной галереей в Гринвич Вилледж. Дела у них идут – не очень.

Коротышка-детектив добавил, что женщины такого типа ему не нравятся.

– И вообще, вашему мужу она не пара, – попытался успокоить

он. – Фотографий её я не делал, потому что мы не договаривались. К тому же фотографии стоят ещё сто долларов. Но вы её легко узнаете по её спутнику, с которым вы знакомы уже пятнадцать лет, и по её изысканной одежде. Я для вас её опишу. Кроме того, в их доме всего несколько жильцов. Дом находится прямо напротив закуской, где высокие окна... А теперь, пожалуйста, возьмите карандаш или ручку и записывайте их точный адрес.

При словах «у неё дорогая кожаная сумка, эффектная причёска и лёгкая пружинистая походка» у Валери начался новый озноб. Теперь это уже был страх перед тем, что она не сможет выдержать конкуренции...

На другое утро, после кошмарной ночи, ноги сами понесли её на 96-ую улицу. Было очень рано и довольно прохладно.

Идя вдоль Центрального Парка, мимо здания Метрополитен-музея, она вспомнила, что когда-то видела здесь впечатливший её музейный экспонат. Мраморное античное надгробие из раздела древнегреческих скульптур. Полулежащий на одном боку мужчина обнимал жену. Мужчина из белого мрамора был очень красив, но у жены не было ни головы, ни лица. То есть голова и лицо были, но сильно обезображенные ударами какого-то твёрдого предмета и больше напоминали просто кусок камня. Было件нятно, что это могла сделать только ревнивая любовница мужа.

Валери поёжилась, ускорила шаг и быстро прошла мимо музея.

Повернув на 96 улицу, где теперь жил её муж, она нашла нужный номер дома и растерялась, потому что не знала, что же делать дальше.

Чтобы не встретиться с мужем, Валери зашла в закусочную и села у окна. Оттуда хорошо была видна дверь дома, который разлучил её с мужем. Дверь казалась неприступной, холодной и уже успела приобрести и другие отталкивающие черты. Симметричные, однообразные, пустые и скучные окна домов в этом квартале были совсем не такими, как на картинах художника Каналетто. Они враждебно и нагло смотрели на Валери.

Было восемь часов утра. Валери заказала кофе без сахара. Горечь кофе соответствовала её настроению. От его запаха у неё закружилась голова. Она вспомнила, что уже три дня ничего не ела, кроме давно засохшего куска пиццы.

И вот теперь она сидела здесь в ожидании появления своего собственного мужа с его любовницей. Какое странное занятие! А что будет, если вдруг двери откроются два раза, и они появятся не вместе, а по одному и пойдут на работу?

Нет, они должны появиться вместе, одновременно, и идти они будут, держа друг друга за руки, как когда-то ходила с мужем она. Ведь именно для того, чтобы ходить так, эта потаскуха и сманила его.

Вдруг, в момент этих тяжких раздумий, она увидела, что на другой стороне улицы, почти напротив, неожиданно материализовалась, как-будто из воздуха, красивая, стройная, крупная женщина высотой с трёхэтажный дом, она заполнила собой всю улицу. Их разделяло стекло закусочной и изредка проезжающие крохотные автомобили. Валери, не отрывая глаз, как зачарованная, смотрела на неё.

Однако, какое счастье, что это оказалась не «та»!

Только Валери с облегчением вздохнула и попыталась успокоить сердцебиение, как её ужалила следующая мысль: кто этот мужчина рядом с ней?

Вдруг где-то недалеко с треском ударил гром и сверкнула молния. Она вздрогнула: это был её муж! Пара повернула за угол и исчезла.

Значит это была «та»... Валери почувствовала приступ слабости и тошноты, а сердце забилось ещё сильнее прежнего. Она заплатила за кофе и, так и недопив его, вышла...

Она стояла напротив дома своей супостатки, сжимала в руке ключи и пыталась представить: что же делается там, за враждебными дверьми этого дома?

Жаль, что она должна стать участницей этой собственной драмы. Но другого выхода нет. Уклониться не удастся. Теперь для этого нужно перейти дорогу и войти в этот злой, колдовской дом.

И только теперь Валери поняла, зачем ей были нужны его ключи. Она перешла дорогу, поднялась по ступеням на уровень второго этажа и ключом открыла входные двери.

Жильё любовницы её мужа начиналось прямо за входными дверьми. Красивая ковровая дорожка, тропические растения в кадках, мягкие диваны, клетка с попугаем в декоративных зарослях

бамбука, огромный телевизор на стене – на всем были видны следы ежедневных уборок и забот хозяев дома. Но это ещё была не квартира. Справа и слева расположены две двери. А посередине были ступеньки лестницы, ведущие на третий этаж. Валери совершенно бездумно подошла к двери, нажала кнопку звонка, подождала с минутой, которая показалась десятью, потом взяла ключ с подвеской в виде Микки Мауса и с трудом вставила его в скважину. Но когда она попыталась провернуть ключ, он не поддался. Она очень нервничала. Ей поскорее хотелось убраться из этого холла. Она даже хотела совсем уйти, в холле могла быть камера слежения, но вспомнила, что это был малообитаемый, очень небольшой дом. Правда, её мог увидеть не жилец, а кто-то другой, случайный. Она довольно энергично и нервно несколько раз толкнула дверь. Неожиданно дверь открылась сама. Возможно, она и не была заперта. Валери сделала первый шаг и прямо перед собой на стене увидела большой цветной постер хозяйки квартиры. Супостатка немигающим взглядом смотрела на Валери.

Валери обернулась и притворила за собой дверь. Курок замка щёлкнул, и она осталась одна, наедине с портретом. От немигающего взгляда супостатки у Валери опять начался лёгкий озноб.

На полу лежал поролоновый коврик для занятий йогой, а на подоконнике ручные гантели. Валери на цыпочках осторожно обошла коврик и стала рассматривать школьную фотографию любовницы мужа, висящую на стене.

– Обыкновенная девка, – отметила про себя Валери. Но её любопытство нарастало, и она машинально прошла в другую комнату, которая оказалась спальней. Постель на кровати не была застелена. Одеяло свисало чуть ли не до самого пола, а на чистой белой простыне лежали чёрные женские чулки. На прикроватной тумбочке стоял будильник, лежали использованные ушные ватные палочки, очки, журнал «ELLE», стояли две чашечки с недопитым утренним кофе, а на полу лежал использованный презерватив. Сердце Валери куда-то провалилось. Она не ожидала такой быстрой и неожиданной развязки и поэтому поспешила укрыться в ванной, чтобы перевести дыхание и не думать о находке. Но и там её воображение не нашло покоя.

На полу ванной валялось непросохшее махровое полотенце.

Расчёска с пучком спутанных каштановых волос лежала перед зеркалом. У неё закружилась голова, и она без сил уселась на крышку от унитаза.

Вдруг ей на глаза попался флакон дорожных духов «Sisley». Она преодолела слабость в ногах, взяла его и побрызгала за ушами. Потом наредила губы «её» помадой. Но этого Валери показалось мало. Она стала выдвигать один за другим ящики рядом с умывальником, набитые косметикой. Она перепробовала все кремы и дезодоранты, понюхала шампуни. Почувствовав острый голод и преодолев волнение, она пошла на кухню. В холодильнике она нашла зелёный сок, то ли сельдерея, то ли шпината и пригубила его. Она открыла баночку с густым греческим йогуртом, погрузила в него свой указательный палец и облизала его. Потом оторвала от грозди несколько крупных виноградин, положила их за щеку, закрыла дверь холодильника и вышла из кухни. Но её непреодолимо тянуло опять в спальню. Наверно потому, что спальня была местом их преступления. В спальне она подошла к прикроватной тумбочке и допила остатки кофе мужа и его любовницы. Её взгляд упал на огромный одежный шкаф. Там она увидела норковую шубу. Она пахла дорогой косметикой и пришла ей впору. Валери покрутилась около зеркала и вспомнила, что мечтала о такой же. Это вызвало в ней обиду. Теперь её муж будет обнимать эту чужую норковую радость, – подумала она. Но тот мокрый презерватив, который лежал в спальне на полу, цепко завладел её воображением.

Как жаль, что она увидела его.

Однако, сегодня она узнала очень много волнующего о своём муже и его любовнице. Конечно, теперь её жизнь распалась, – тоскливо думала Валери, – но деваться ей некуда, всё это надо переварить и пережить. Она аккуратно повесила на место норковую шубу, надела своё серое пальто, закрыла шкаф, ещё раз проверила, всё ли она оставила в порядке и вышла из квартиры.

Уже по дороге домой она решила зайти и открыться своей лучшей подруге. Столько всего держать в себе ей было просто страшно.

Валери была неглупа и понимала: то что с ней происходит, только начало и может обернуться для неё той сумасшедшей, патологической ревностью, избавиться от которой она уже не сумеет.

Когда подруга увидела её, она пришла в ужас.

– Какие у тебя чёрные провалы вокруг глаз! Ты похожа на панду из китайского зоопарка. Почему у тебя на ногах разноцветные сникеры? Где нижняя пуговица от твоего пальто?

– От меня ушёл муж, – сказала Валери и тихо заплакала. – Моя голова не в состоянии больше контролировать мои поступки.

И она рассказала подруге обо всём, что с ней произошло.

– Завтра же, не иди, а беги бегом к «шринку» («shrink» – психиатр, англ., жаргонное от глагола «to shrink» – уменьшить. В данном случае уменьшить голову, распухшую от забот – *прим. ред.*)

Её подруга была типичным продуктом города Нью-Йорка и другого развития событий не предполагала.

Придя домой, Валери обнаружила, что пока она была у подруги, муж унёс два больших кожаных чемодана своих вещей. Она легла на диван и от избытка волнений тотчас же уснула.

На другое утро, в 9.00, Валери приняла решение больше никогда не ходить на 96-ю улицу.

Но выдержала только до десяти часов утра. Какая-то непреодолимая сила толкала её туда.

В одиннадцать часов она уже опять была в квартире мужа и его любовницы и рылась в её дорогом нестиранном белье. Что она там искала, ей самой было непонятно. Наверное, она искала подтверждения того, что было известно даже школьникам старших классов.

Чемоданов с вещами мужа она в квартире не нашла, но зато случайно наступила на педаль мусорного бачка. Крышка взлетела вверх, и Валери обнаружила в бачке кучу бытового мусора. Это была удача. Наконец-то она узнает всю правду о том, чем они здесь занимаются! От неё не ускользнёт ничего! Она вытащила из бачка верхний слой его содержимого: окурки с ободком яркой помады, бумажные полотенца, разбитые рюмки, упаковки от лекарств и несколько вожделенных презервативов. Она сложила всё это в пластиковый мешок и почти удовлетворённой отправилась домой. Дома она разложила находки на столе и, едва сдерживая волнение, внимательно изучила их. Более всего её интересовало то, что касалось интимных отношений её мужа.

Она понимала, что теперь она будет каждое утро проверять содержимое мусорного бачка. Не то, что ей это будет нравиться, но поиски артефактов неминуемо превратятся в азарт и очень сильно

будут волновать её. Этот адреналин явно посильнее, чем тот, который она когда-то испытала в казино.

Как-то вечером, когда Валери, отброшенная обстоятельствами в дальний угол мира онанизма, лёжа на диване, ясно ощущала свою ненужность, одиночество и тоску и предавалась одной-единственной мысли, идущей по кругу: о процессе наполнения презерватива биологическим материалом, – ей позвонила подруга.

Когда она услышала, что Валери до сих пор не нашла времени посетить «шринка», она разозлилась.

– Тебе хочется «загреметь» в психиатрическую больницу? – спросила она.

Психиатр Олаф Сверинген прослужил десять лет на военно-морской базе в Окинаве. Теперь служба была в прошлом, и он принимал пациентов в своей клинике в Манхэттене, неподалёку от Юнион-Сквер. Поскольку его прежняя жизнь была тесно связана с военной службой, он был прямой как лом. Чувство юмора было не самой сильной его стороной.

Самое ужасное состояло в том, что он не был настоящим «шринком», хотя почти все его клиенты были жителями этого сумасшедшего города.

Он сказал:

– Благодарю вас за откровенный рассказ. С тех пор, как вы узнали о том, что муж ушёл к другой, прошло всего несколько дней, но вы уже успели за эти несколько дней украсть ключи у мужа, выследить его новое место жительства, проникнуть в его жилище и примерить весь гардероб его сожительницы. Это так? Я правильно говорю?

– Да.

– А вам известно, что ревность в тяжёлой форме полностью не излечивается, и её последствия остаются в памяти на всю жизнь? Зачем же вы подстёгиваете её своими действиями?

– Как! Значит это состояние у меня никогда не пройдёт?

– Обострение пройдёт, но ненадолго. Последствия в виде сексуального фетишизма и других отклонений могут остаться на всю жизнь.

– Фетишизм – это опасно?

– Насколько это опасно, судите сами, ведь вы никогда раньше не проявляли повышенного интереса к чужому белью, к использованным презервативам с их содержимым и прочим вещам, не так ли? А теперь всё это стало частью вашей жизни.

– Да, я помню, что у нас в детстве ко всему запретному было любопытство, мы подслушивали и подсматривали за взрослыми, но ведь не до такой же степени, как сейчас... Тогда это было нормальным для детей приобретением жизненного опыта... Как же это со мной сейчас стряслось?

– Ревность – это чудовище с зелёными глазами. Она никого не украшает. Вы утратили внимание супруга, но в вашей жизни появились неодушевлённые предметы, принадлежащие ему и его любовнице. Это и есть фетишизм. Всё это теперь возбуждает ваше сексуальное влечение... Это же так просто...

– И нет никакого лекарства?

– К сожалению, нет. Фома Аквинский считал ревность способом расчистить дорогу настоящей любви. Кстати, вы считаете себя ревнивой или просто хотели бы вернуть своего мужа домой? Чего у вас больше? – спросил психиатр.

– Вернуть мужа домой? Нет. Пожалуй, теперь нет. Теперь это уже невозможно. Но мне бы хотелось узнать, когда прекратится это сумасшествие. Когда я перестану навещать эту квартиру в их отсутствие?

– А зачем вы её навещаете? Что вы ищете там? Ведь то, что там происходит, это обыкновенный банальный секс. То, что случается в мире каждую секунду. Вы не согласны со мной?

– Согласна. Понимаю, но ничего с собой поделать не могу.

– Видите ли, если бы ваш супруг был пустым, бездарным человеком, ничтожеством без всякой морали и перспективы, то излечить вас от ревности было бы несложно. Но вы мне сказали, что он известный и талантливый журналист, и вам рядом с ним жить было интересно. Значит, муж вам будет нужен до тех пор, пока над вами доминирует идея сверхценности.

– Значит это надолго?

– Буду откровенен: боюсь, что да. Мне вас жаль, но я доктор, а не «шринк», и как доктор я не могу вам больше ничего сказать. Исключение для ревнивцев составляют случаи, когда объект их ревно-

сти уходит в «мир иной». Но, как мы знаем, это крайность. Вы меня понимаете?

Валери на миг задумалась.

– Понимаю, – сказала она.

На другой день после визита к психиатру, который облегчения ей не принёс, она проснулась разбитой. Было довольно поздно. Она оделась и без всяких эмоций и настроения поплелась на 96-ую улицу. Там она, как всегда очень тихо, на цыпочках, вошла в квартиру мужа и его любовницы.

Уже полмесяца она приходила в эту квартиру. Страх быть пойманной за своим занятием у неё постепенно исчез. Допустим, муж её обнаружит. И что? Он, хоть и человек настойчивый, но мягкий, что он ей сделает? В конце концов, это его вина в том, что она потеряла голову и не знает, что теперь с ней происходит. Другое дело, если появится «она»...

С этой потаскухой у Валери будет другой разговор...

Валери вошла и изнутри заперла за собой дверь. Первым делом она проверила постель, нет ли на ней каких-либо новых пятен или других следов прелюбодеяния. Потом она допила остатки кофе из двух кофейных чашек на кухне и достала из своей сумки фотографию, украденную у супостатки. Она положила её на разделочную доску для мяса и привычным взмахом воткнула ей меж глаз огромный кухонный нож. Когда Валери покончила с этим ежеутренним ритуалом, она пошла в ванную и сняла с себя всё, что было на ней. Она открыла ящик с нижним бельём, выбрала себе трусики супостатки, надела на себя и понемногу возбудилась. На дверях ванной висел новый халат её мужа. Правда, этот халат был бы для него несколько тесен, но для Валери он оказался в самый раз. Валери решила, что супостатка наконец стала покупать вещи её мужу. Ну что ж, значит уже пора...

Она надела его халат, запахнула полы и завязала пояс. Потом она открыла мусорный бачок и стала рыться в нём. Два использованных презерватива были ей наградой.

– Ого! – подумала Валери. – Похоже, что вчера эта сука неплохо повеселилась.

Она вышла в своём наряде из ванной комнаты и направилась к напольному зеркалу. По пути её взгляд упал на большую картонную

коробку. Она открыла её. В коробке лежало роскошное белое боа из каких-то диковинных «экзотических» перьев. Валери накинула его на плечи поверх халата и обернула вокруг шеи. Синтетический пух волнуяще щекотал её ноздри. Она долго крутилась в нём перед зеркалом. Потом она танцевала с воображаемым мужем, нежно обнимая его, гримасничала, подмигивала каким-то воображаемым мужчинам, кокетливо наклоняла голову, закрывала то один, то другой глаз и принимала всевозможные томные позы. При этом она закидывала боа то на одно, то на другое плечо. Наконец, это занятие утомило её. Она села в кресло и мгновенно уснула. Она давно не спала так сладко.

– Кто вы? Что вы здесь делаете? Я вижу, что вам понравилось моё боа? – сквозь раскаты грома услышала Валери. Это спрашивала женщина, стоящая перед ней.

– А ты кто?

– Я здесь живу.

– Ты живёшь здесь с моим мужем? – уточнила Валери и окончательно проснулась. Внутренне она давно была готова к этому разговору. Она встала с кресла, подошла к окну и взяла с подоконника гантель.

– Что вы хотите сделать? Ни с кем я не живу! Иногда ко мне приходит мой друг... – испуганно пролепетала женщина и, отступив, прикрыла лицо руками...

В это время тяжёлая гантель опустилась на её голову. Валери била свою супостатку до тех пор, пока та не опустилась и не села на пол. Какое-то время она сидела на полу, молча, пытаясь что-то сказать и удивлённо смотрела на Валери. Кровь стекала по лбу, по кончику её носа и капала на пол. Потом она вытянулась и затихла.

Валери сбросила с себя окровавленный халат мужа, оделась, осторожно открыла дверь и вышла в холл.

Она затворила за собой дверь и обмерла. Навстречу ей по лестнице поднимались двое – её муж со своей спутницей...

– Что ты здесь делаешь, Валери? – удивлённо спросил он. – Познакомься, Гленда, – это Валери, – сказал он и обернулся к своей спутнице.

Валери обмякла, низко опустила голову и безразлично сказала, ни к кому не обращаясь:

– Я ошиблась дверьми. Это была не та квартира...

Она медленно, ссутулившись, шла по улице. В воздухе, где-то высоко над ней, хохотало, свистело, хрипело, улюлюкало, щёлкало пальцами, подмигивало и стонало чудовище с зелёными глазами...

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. Несмотря на то, что по образованию он инженер по обработке металлов, всегда интересовался историей и знает ее на профессиональном уровне. Основная тема его художественных произведений – Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.

Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в ньюйоркском сабвее», «Encounter in the New – York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.

Джейкоб Левин – постоянный автор журнала «Времена».

Борис САНДЛЕР

В ПОГОНЕ ЗА БАБОЧКОЙ

В поздний листопад ее жизни, она пришла сквозь время и расстояние, чтобы еще раз пройти по Виа Долороза той юной девушки. Быть может, ей удастся осветить потаенные уголки ее души, разглядеть и осознать то «зачем», которое привело ее к самоубийству?

Блюма Лемпэл, «Жертва»

Напев, который тихо струился в пространстве, мог быть и колыбельной, и плачем, и молитвой, в него вплеталась и нежность матери, убаюкивающей дитя, и печаль дочери, оплакивающей утрату матери.

Молодая женщина по имени Санда сидела в шезлонге. Глаза ее были закрыты, голова слегка отклонена в сторону, словно она отвернулась в смущении. Густые рыжие волосы мягко оттеняли силуэт ее бледного лица. Плавная линия начиналась от лба, слегка отклонялась, следуя очертаниям ее прямого носа, и тянулась дальше к излучке губ и чуть надменному подбородку, а потом линия обрывалась и вновь спускалась вниз четким контуром ее длинной шеи.

На коленях темно-коричневой обложкой вверх лежала открытая книга, словно и не имевшая уже отношение к реальности. Пальцы левой руки, нашедшие опору на переплете, слегка дрожали, позволяя уловить проблеск жизни в слабом, истомленном теле молодой женщины.

И все же казалось, что эта слабая рука способна была влиять на ход рассказа в книге, не позволяя истории развиваться лишь по воле ее автора.

И напев души медленно вливался в пространство текста и соединялся с ним...

Когда все случилось почти год назад, очнувшись после страш-

ной боли, Санда даже не сразу поняла, что причина ее муки исчезла. Она от нее освободилась, исторгла из себя. Она переживала странное состояние, когда смотришь эпизод уже однажды виденного фильма, но не помнишь развития сюжета, и лишь после просмотра осознаешь, что когда-то уже видел это. И так кадр за кадром, пока фильм не закончится.

Она хотела забыть.

Она не хотела жить, чтобы перед ней снова и снова проносились все эпизоды трагедии и с жутким осознанием, что это все было с ней, когда в конце ей пришлось бы увидеть на постели лужу крови, в которой захлебнулся ее нерожденный ребенок.

Она бы хотела сразу увидеть конец этого фильма ужасов, в который превратилась ее жизнь.

Затем пришла серая апатия, и все цвета и звуки потеряли вдруг свою четкость и сочность, вылиняли и стали приглушенными, как глухой шелест увядших листьев. Холмик сожженных осенних листьев. Санда тогда подумала, что лучше сгореть в костре, чтобы ветер разметал пепел, чем засохнуть и гнить под ногами. Сочно-зеленые листики, сорванные с ветки, кружились у нее перед лицом, дразня веселой суетой жизни, но, не достигнув земли, быстро увядали в воздухе.

Ночи ее были без звезд. Их накалывали на булавки и, как коллекцию светлячков, потухших и бесчувственных, хранили в темной коробочке. Летом на даче Санда вместе с отцом ловила бабочек сачком, похожим на ночной колпак. На поляне посреди леса росла густая трава с маленькими разноцветными цветочками, и бабочки зигзагами носились над ней, перелетая с цветка на цветок. Санда останавливалась, ее руки замирали в воздухе, сжимая палку сачка. Она сама становилась похожей на тонкий стебель с красной маковкой, на которую вот-вот усядется бабочка. Ее зеленые глаза зорко высматривали самых красивых бабочек, и сачок в мгновение ока накрывал их вместе с цветком.

В зимние вечера Санда с отцом разглядывали прекрасных бабочек, застывших с распростертыми крылышками в стеклянном ящичке. Головки бабочек пронзали тонкие булавки, навсегда припечатывавшие их к белому дну. Они были мертвы, и их неподвижность уже не вызывала воспоминаний.

Слепые ночи без хоровода звезд, без проблеска лунного света, обволакивали ее черными накидками, которые пригибали ее к земле. Она же хотела превратиться в огонь...

При всей ее отрешенности от ночей и дней, от окружавшей ее жизни, которая продолжалась своим чередом, лишь одна мысль давала ей надежду на существование – она найдет средство, чтобы положить всему этому конец. Мысль о том, что и из безысходности есть выход, подвела ее к коробочке с пилюлями, которые доктор прописал ей от депрессии. Эта затея почти развеселила ее: это же так просто! Проглотить все пилюли разом... Как назло, Эмануэль вернулся домой слишком рано. Он сразу все понял и вызвал скорую...

С тех пор, как Санда вернулась из больницы, она больше не спала с мужем в одной кровати, постелив себе в другой комнате, которую до несчастья они мечтали сделать детской. Они намеренно ничего не готовили для малыша – ни колыбельку, ни игрушки, ни вертушки, следуя примете мамы Санды: не к добру это, готовить вещи для ребенка до его рождения. Они просто освежили комнату, покрасив стены и дверь. Дневной свет падал в комнату с потолка через четырехугольное узкое окошко. Муж Санды Эмануэль шутил, что его сын, очевидно, вырастет астрономом. Да и ангелам будет проще заглядывать к нему.

С Эмануэлем Санда познакомилась в сайте знакомств. Стоило маме Санды лишь заикнуться о замужестве, как лицо Санды вспыхивало, ведь у нее были рыжие волосы, которые и без огня пылали. А электронный «шадхен» был удобен – не смущал и не осуждал. Среди сотен сватов она выбрала еврейский сайт JDAte.com. Через полгода после знакомства Санда и Эмануэль решили жить вместе и сняли квартиру. Почти два года потребовалось, чтобы понять, что их «биопсихологическая совместимость» позволяет им создать семью. Через несколько месяцев Санда забеременела...

И вот, Эмануэль не позволил ей уйти легко и просто — всего-навсего уснуть, чтобы мука прекратилась. Санда ему этого не простила.

В ту ночь круглая физиономия луны нагло заглядывала в комнату. Она не могла уснуть. Таблетка, которую она приняла перед сном, не помогла. Теперь, прежде чем уйти на работу, Эмануэль сам

давал ей таблетки, которые нужно было принять в течение дня. Он клал их в маленькую коробочку с окошками: «утро», «обед» и «вечер». Мама убеждала Санду, что Эмануэль очень преданный муж. Он стремится предвосхитить все ее желания. Он предугадывает все ее шаги. Что у нее еще будут дети. И доктор так говорит...

Да, вероятно, мама права. И у нее еще будут дети. Возможно... Но не от Эмануэля. Им нужно расстаться.

Свет из потолочного окна разливался по постели, где лежала Санда. Ее глаза были закрыты. Она почувствовала прохладное прикосновение к ресницам, которое могло быть приятным, но по телу вдруг пробежал пронизывающий озноб. Ее тело содрогнулось и мгновенно сжалось в тугий, невыносимо болящий узел, и пытка длилась, пока судорога не отпустила, и клубок боли не разжался.

Боль сменилась волной горячего пота, который медленно остывал, и это морозящее ощущение после страшной судороги оказалось неожиданно возбуждающим.

Санда была напугана. Встав с кровати, босая, в ночной рубашке, она направилась к двери спальни. На мгновение она застыла, затаив дыхание, как если бы ей было нужно прокрасться в чужое пространство. От ее легкого прикосновения дверь приоткрылась, и она переступила порог.

Полная луна сопровождала ее, подглядывая сквозь высокие окна, в спальне она освещала жидким светом постель ее мужа. Эмануэль ее не видел. Сбросив одеяло, лежа на спине с закрытыми глазами, он онанировал. Вдруг он повернулся к двери, где в замешательстве, словно призрак, застыла Санда. Эмануэль резко развернулся к ней спиной и скорчился, как будто у него вдруг прихватило живот. Она подошла к постели и легла рядом с ним, уткнувшись носом в его голое плечо. Влажные кончики ее пальцев дотронулись до его все еще возбужденного и твердого члена. Эмануэль не стал ее останавливать. Он тихо то ли постанывал, то ли всхлипывал, повинуюсь слабым движениям жены. Она не останавливалась и продолжала удерживать его и после того, как он содрогнулся в глубоком рыдании, и она почувствовала на ладонях и между пальцами теплую липкую влагу.

Он отвел ее руку и, все еще лежа к ней спиной, прохрипел: «иди...иди...».

Прошло время, а, как и обещает любимая мудрость мамы Сан-

ды, время лечит. Летом родители на месяц снимали дачу, как они называли деревянный домик в окрестностях Пенсильванского городка с индейским названием Шохола. Санда и Эмануэль обычно тоже бежали из Нью-Йорка в июле, где влажная жара изводила даже очень здоровых людей. Как правило, в Париж, где жил кузен Эмануэля и его подруга, и проводили время вчетвером. Санда любила Париж, который дарил легкость и вносил в ее жизнь свет, и в то же время – непостижимую тоску по старой Европе ее любимых книг и бабушкиных воспоминаний.

Этим летом доктор рекомендовал Санде не ездить в Европу, а провести отдых недалеко от Нью-Йорка, в тихом месте в горах, в лесу. Было решено, что они снимут в той же Шохоле «дачу» побольше. Санда побудет несколько недель у родителей, а Эмануэль будет приезжать на выходные.

И действительно, в Шохоле Санда выздоровела. Красивый деревянный домик стоял на холме, посреди лужайки, окруженной деревьями. Лежа в шезлонге на открытой веранде, Санда наблюдала за игрой прекрасных бабочек. Казалось, что ничего не изменилось с далеких летних дней ее детства. Что стоит ей перепрыгнуть через две-три ступеньки и погнаться с сачком за бабочками, и исчезнет груз прошедших лет...

Но она помнила о тех чудесных бабочках из папиной коллекции и о том, что их тонкие пурпурные крылышки распростерты, но парят они в своей неподвижной вечности, пригвожденные ко дну ящичка булавкой...

Перед поездкой подруга дала ей книгу еврейской писательницы Блюмы Лемпэл, переведенную на английский. Санда вспомнила о книге только на третий день. Она начала читать, и рассказ увлек ее, и Санда все глубже втягивалась в сплетенную словами сеть чувств и мыслей. Особенно Санда прониклась судьбой польской девушки Эстер, для которой Париж тех далеких 30-х был городом мечты, где «шумят улицы, дома, бульвары и улочки, и особенно, Монмартр. Париж бурлил художниками, атлетами, профессиональными бездельниками, революционерами, фашистами, борцами за свободу»...

Санда не могла оторваться от чтения. Она так увлеченно следила за происходящим, словно была не только частью той жизни, но стала еще одним персонажем этого романа.

Поэтому Санда почти не удивилась, когда рахитичный тип с кривыми ногами и выпяченным животом назвал ее, Санду, именем Эстер, которая уже несколько дней жила у своей кузины в доме номер 13 на Рю-д'Арсель. Санда хорошо знала, где находится эта улица – нужно только выйти на станции Барбес. И, кстати, это совсем недалеко от бульвара Клинянкура, где живет кузен Эмануэля. В Париж Эстер не приехала, а бежала. В Лодзи, где она жила, ее могли арестовать за распространение «коммунистических листовок».

Кузина жила стесненно, и единственная комната служила «кухней для готовки, спальней и ателье для работы», а свободное место на железной кровати, которую недавно покинул муж кузины, сбегавший с «французенкой», теперь занимала Эстер. Нет, не о таком Париже мечтала девушка – «Париж, который ее притягивал, был городом буйным, бушующим, брызжущим жизнью. Городом романов, искусства и света...»

А в действительности был рахитичный сын консьержки, который однажды подкараулил в темном коридорчике возвращающуюся с вечерних курсов Эстер, схватил ее, прижал к стене и начал целовать. Эстер еле вырвалась из его грубых лап... Санда почувствовала его слюну на своей щеке и с отвращением несколько раз вытерла щеку ладонью...

Эстер записалась на вечерние курсы. Кузина наставляла: чтобы найти приличную работу, нужно иметь документы, а чтобы получить бумаги и приличную работу, нужно знать язык...

Санда как в реку окунулась в жизнь и переживания Эстер, дышала ее вдохами, радовалась ее радостью, плакала ее слезами. Ей не раз хотелось уберечь Эстер от поспешных, необдуманных решений, она очень хотела, но не могла изменить ход событий.

Санда могла лишь следовать за Эстер, привнося в сюжет свой жизненный опыт. И это возвращало ее к прочитанной когда-то мысли, что писатель лишь напоминает читателю о вещах, о которых тот забыл или хотел бы не вспоминать.

Санда, казалось, уже совсем преодолела омут своего недуга и вырвалась из порочного круга самоистязания. Она снова видела звезды на небе. Даже те, что наблюдала из своего девичьего окошка удаленная от нее пространством и временем Эстер. А звезды смотрели из своей вечности на соединенных судьбой двух молодых

женщин, чьи жизни, казалось, сплелись душой и телом. Возможно, пережитые заново через образ Эстер страдания, смогут принести Санде полное исцеление...

А писательница, и сама уже ставшая звездочкой где-то в вечности, рассказывала парижскую историю дальше.

Чтобы избавиться от рахитичного «возлюбленного», Эстер вынуждена была оставить дом, покинуть узкую кровать своей брошенной кухни. Она перебралась на другую квартиру, недалеко от фабрики, где жарили кофе. Санда хорошо помнила, что в том же квартале, где снимала квартиру Эстер, находился кофейный дом, и аромат свежего кофе чувствовался издалека. И он снова пьянил, теперь уже их обеих, ведь сейчас их можно было называть Эстер-Санда или Санда-Эстер.

И вечная суета, и романтическое таинство сумерек, стелившихся по парижским улочкам во все времена, увлекли и Эстер. И однажды на Монмартре она встретила польского паренька, который ждал своего часа, чтобы перебраться через Пиренеи в Испанию и там бороться за свои идеалы.

Санде вовсе не пришелся по сердцу болтливый паренек с рыжей бородкой, которого писательница даже не сочла нужным назвать по имени. Ее жизненный опыт, казалось бы, далекий и от того времени, и от тех событий, подсказывал, что не умеющий ценить собственное счастье не сможет принести счастье другим, даже если борется за их свободу. Но Эстер, одурманенная своей любовью к «суженому», не хотела ничего видеть и слышать, кроме этой любви, и очнулась от любовного угара, только когда снег в горах растаял, и ее суженый пересек границу. «Сразу после его ухода Эстер спохватилась, что она немножко беременна»...

Теперь уже они обе, соединенные в одну истерзанную душу Эстер-Санда, вступили на вечный путь страданий, свою Виа Дolorоза. Санда несла груз вины за потерю ребенка, а Эстер – вину за грех, плод которого зрел у нее под сердцем. Они обе приняли решение о самоубийстве. Ничего лучше в юную голову Эстер не пришло, и она доверительно рассказывала об этом Санде: первым делом, пилюли, которые через заднюю дверь приведут в райский сад. Можно повеситься на красной ленте, которая задорно выбивается из-под черных волос... «Удержала меня от этой великолепной идеи, – как

бы оправдывалась Эстер, – мысль, что после самоубийства тела вскрывают. Не для того меня создал Бог, чтобы я пришла в мир иной со вспоротым животом».

Рядом с Эстер не было такого человека как Эмануэль, который бы «предугадал ее шаги». Теперь Санда еще острее почувствовала, какой верный и преданный у нее муж. Удержать Эстер от рокового шага на этом пути отчаяния было некому. И Санда за книгой разделяла с ней тяжелое испытание. В ход пошли все народные средства. Как описывала писательница: «Она принимала горячие ванны. Она дробила и глотала ядра мускатного ореха, запивая их стаканом красного вина...».

В этот момент Санда почувствовала, как ее тело поднимает в воздух неведомая сила, которая существует лишь во сне. Только во сне она могла бы с такой легкостью перенестись в свое детство и опуститься на заросшую лужайку посреди леса. Охваченная детским азартом, она снова гонялась с сачком за красивой бабочкой. Вот-вот она ее накроет и поймает, набросив на бабочку прозрачный чепец. И вдруг ею овладела совсем недетская мысль: зачем? Зачем ей ловить это живое существо? Не затем ли, чтобы вонзить в ее голову тонкую булавку и положить конец и без того короткой жизни?..

И вдруг в том же сне исчезла волшебная сила, легкость и радость полета, исчезли бабочки на цветочках, и Санда ощутила, как ее затягивает скользкая теплая трясина. И ноющий напев снова висел над ее головой, как сотканный из тумана неизвестности и печали свадебный балдахин.

Нет, она не будет поддаваться печали и предаваться причитаниям по утраченному времени. Она хочет жить и иметь детей, и петь им колыбельные, а не траурные молитвы. Она еще может протянуть руку и крикнуть, позвать своего мужа... Она должна сказать ему нечто очень важное...

Санда с трудом открыла глаза. Эмануэль стоял на коленях возле шезлонга и тихо ее успокаивал. Она обняла его и наконец вырвалась из топкой трясины дурного сна.

– Эмануэль... Ты здесь... Как вовремя...

– Да, милая, – по-своему понял ее слова Эмануэль, – я сегодня закончил работу пораньше и решил не ждать до завтра, а приехал прямо сюда.

Она легко вздохнула и прошептала ему на ухо: «Я утром проверяла... Я беременна»...

Из открытого окна слышался голос мамы Санды.

– Мы идем пить чай с вареньем. Самовар уже на столе!

Санда и Эмануэль рассмеялись. Как же может быть иначе – дача и без самовара?!

Уже на пороге Санда на мгновение задержалась и оглянулась. Она как будто с кем-то попрощалась и услышала в ответ тихий голос из далекого времени: «Каждая звезда – это цветок. Когда небо было темным, а звезды яркими, она увидела его. Он бродил среди цветов. Когда он наклонился к цветку, который она выбрала для себя, – она узнала, что ее созвездие будет сиять, и всякий раз, как она будет поднимать глаза к небу, она будет видеть звезду, которую он поцеловал».

***Борис Сандлер**, известный еврейский прозаик, родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при Литинституте им. Горького (Москва, 1981-1983), работал на молдавском телевидении, где вел программу на идише «На еврейской улице».*

В 1992 году Б.Сандлер репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском Университете (Иерусалим); возглавляет издательство «Лейвик-фарлаг» и издает единственный в мире детский журнал «Кинд-ун-кейт».

С 1998 г. по 2016 главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты «Форвертс».

Издан 15 книг прозы и стихов. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных премий в Израиле, Канаде и США.

Живет в Нью-Йорке.

Виктор НОРД

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА-ЭПИКУРЕЙЦА

«МИШИГЕНЕ!..»

«Если только я узнаю, – говаривал дед, – если только узнаю, что ты пошел по моим стопам... Я проклянью тебя, клянусь, проклянью тебя из могилы! Понял?»

Мне было года четыре или чуть меньше. «Понял, – с привычной готовностью отвечал я. – Я никогда, ни за что не буду врачом. Уж лучше мне быть летчиком. Или водолазом».

«То-то! – хмыкал дед удовлетворенно. – А теперь ложись ко мне на колени – и получай».

Я был ученым: знал, что положено делать. Я забирался к нему на колени, и улегшись на живот, подставлял зад. Была суббота, дед не ходил на дежурство, и по субботам мы с двоюродной сестрой должны были получать по заднице за всю неделю. Если успевали достаточно набедокурить – хорошо, если случайно вдруг нет – тогда *авансом*. Шлепал дед не больно, даже не спускал нам штаны, исключительно в воспитательных целях. При этом приговаривал: «Нá-нá-нá-нá-нá! – еще?» – «Еще, – привычно просили мы, зная, что за неделю успеем проштрафиться. Он шлепал еще несколько раз, потом решительно говорил: «Будя!» – и мы должны были подходить к его руке и говорить: «Спасибо, дедушка, что ты учишь меня уму-разуму». Таков был заведенный им обычай.

Комментируя этот обычай, бабушка шептала себе под нос, но так, чтобы всем, кому надо, было слышно: «*Мишигене...*»

Дед был, что называется, чудаком. Немало знавших его считали, что он слегка выжил из ума. Много позже, в Англии, я узнал, что слыть эксцентриком считалось особым шиком среди снобливой аристократии. Но в Киеве 1949 года это было свойством совсем небезопасным: в стране свирепствовала кампания против всего экс-

траординарного, выходящего из привычных, общепринятых рамок. Каждый обязан был выглядеть и вести себя *как все*. Все необычное в человеке считалось *космополитизмом*, то есть поклонением вражескому Западу. Особенно если человеку при этом выпало на долю быть евреем. Да еще ко всему – и врачом.

Дед происходил из богатой еврейской семьи, где из одиннадцати детей семь стали выкрестами. Глава семейства, купец первой гильдии барон Г., отнесся к этому с безразличием: не его дело, пусть поступают как вздумается. Все дети, однако, были посланы получать образование за границей, чтоб не думать и не знать ни о каких процентных нормах. Дед же мой решил оставить вероисповедание таким, как оно было записано при рождении: его, поклонника Просветителей, сместила сама идея смены одних *религиозных оков* на другие.

Легче всего деду было говорить, ругаться и читать на французском. «По-еврейски» (на идиш) он понимал только одно слово: «*Мишигене*». Этому научила его бабушка; родом из местечка Бровары, она была младше деда на двадцать шесть лет; подозревали, что именно своими странностями он и завоевал ее сердце. Дед называл ее исключительно ведьмой с Лысой горы, или еще – Бабой-Ягой, но это уже позже, когда у них появились мы, внуки, звавшие ее *бабой*.

Этому была реальная причина. У бабушки действительно была некоторая склонность к колдовству. Она перед сном посыпала нас солью (от дурного глаза). Если кто-то из нас зевал – требовала, чтоб зевнувший немедленно сплюнул через левое плечо, а если чихал – через правое, и при этом что-то она приговаривала малоразборчивым шепотом. А уж если случалось нам простудиться – необходимо было каждые два часа поджигать какое-то ароматическое зелье и при этом повторять: «У кошки – болИ, у собаки – болИ, а у Витеньки – не болИ!»

Дед издевался над бабкиными предрассудками; он верил в Монтеस्कье, в Дидро, любую религию называл не иначе как *опиум народов*, и часто повторял, что в Америке, в каком-то там никому не ведомом городе Сэлем, бабке пришлось бы худо от таких же *обскурантов*, как и она сама.

Бабка соглашалась: «Хорошо, Мося, хорошо, значит я – обскурант...» Она не возражала слыть колдуньей. Она ведь не была обычной русской ведьмой, старой каргой с бородавкой на носу, без зубов

и с метлой, чтоб летать в ступе, о нет! Бабка была молодая и пухлая, как свежесвеженный калач; в эпоху советских дамских сиреневых панталон по колено *с начёсом* она носила шелковое, интригующе черное (выкрашенное ею самою!) белье, подводила брови жженой пробкой, а губы – моим детским карминным карандашом по особому контуру, называвшемуся *би-стинг*, в стиле роковой звезды кино Клары Боу. За бабкой не прочь были приударить дедовы коллеги-врачи, многие куда его моложе – да и немало бывших пациентов деда, любивших его навещать. Дед ворчал, что все они «ходят кругами, как акулы, принимают и клацают зубами», но ничего не предпринимал, чтобы такие визиты прекратить. Втайне ему, по всей вероятности, льстило, что его белотелая рыжеволосая Баба-Яга пользуется таким успехом.

Совсем забыл упомянуть: дед был чудовищно близорук. Про него шутили, что доктор Г. носом стирает собственные рецепты, когда их выписывает. Сколько помню, он всегда носил пенснэ на особых *гигиенических* французских пружинках или старые золотые очки, глубоко врезавшиеся в переносицу. Особые стекла – комбинированный близорукий астигматизм, по сфере и цилиндру, различные для правого и левого глаза, для него специально изготавливали в Кремлевской лечебнице ЦЛК, бывшем Лечсанупре. И то оттого только, что и сам он там служил замзавом отделения. Только много, много позже я начал понимать, отчего дед всегда двусмысленно ухмылялся, упоминая новое название его службы – Це-Эл-Ка...

Чудовищно вспыльчивый его характер в сочетании с уже известным нам астигматизмом и ревностью сделал деда в моей памяти персонажем множества невероятных историй, и если смогу, я попытаюсь о них рассказать, по мере того, как они будут возникать из прошлого.

НЕТЕРПЕНЬЕ ВЕДЕТ К ИМПОТЕНЦИИ

Насколько близорук, настолько был дед и ревнив. Можете представить себе такое сочетание. При трудном его характере это было похлеще, чем мужчине быть одновременно и толстым, и лысым коротышкой. Дед при этом был огромного роста, а ревность его

объяснялась знанием непостоянства женского сердца: с самой ранней молодости он был не прочь – я чуть было не сказал: побегать, но нет! – приволокнуться за дамами. Бегать по своей близорукости он, конечно, не мог – ходил он осторожно, медленно, с неизменной тросточкой, чтобы не споткнуться на брусчатке крутых киевских улиц. Однако любую привлекательную особу дед тотчас же замечал с любого расстояния, какого бы возраста она ни была. И никакой астигматизм здесь ему не мешал: дед объяснял это хорошим периферийным зрением, которое якобы компенсировало врожденные дефекты его хрусталиков.

«Там, слева на скамейке, погляди-ка, – бывало, говорил он мне, – *аккурётная* девочка, а?» Этим странным, им самим изобретенным словом он определял понравившихся ему женщин.

«Да, эта ничего вроде, – солидно соглашался я, хотя на самом деле и не всегда был уверен, о ком речь: – Стоит, чтоб выписать ей путевку в Трускавец».

«Что? Куда??»

«В Трускавец, в санаторий». – Такой комментарий я подслушал у деда на работе, когда приятель его, специалист по женским болезням, соблазнил пациентку: «...Сначала, представьте, выписал ей путевку в Трускавец, затем подъехал туда в санаторий, якобы проверить, как действуют воды, задержался на двое суток, а потом и вообще ушел – от жены и двоих детей, а она – от мужа... Но уже через месяц, представьте, оба надоели друг другу до чертиков, рассорились со скандалом – и оба остались *на бобах* ...»

«И чего он в ней нашел необычного, – недоумевал тогда дед, – это при его-то специальности? Ну подумались бы *quantum satis* там на курорте – и *basta... Merde!*» Ругался дед, как уже упоминалось, по-французски, ибо по-русски не получалось. Очень редко ругался – по-польски: «*Пишякрев!*» и еще реже, на никому уже не понятном, чисто киевском сленге: «*Сапперлипанём!*»

«Запомни, – обращался он ко мне, подымая вверх длинный указательный палец: – даже самая блестящая дама не может дать больше того, что у нее есть. Особенно – специалисту по женским расстройствам. Это я тебе как общий интернист говорю».

«Да понял уж, – басом отвечал я, и дед довольно хмыкал: «То-то...»

«И вообще, – развивал он свою мысль, – женщина – это исчадие

ада! Для тех, разумеется, кто не умеет владеть своими внезапными капризами и прихотями. Вот ты, например, скандалил вчера посреди Крытого рынка: «Хочу лук со стрелами, купи! Прямо здесь и сию минуту! Хочу! Хочу!» (Дед произносил «хочу!» открыто, окая, с киевским акцентом, не по-московски: хАчЮ, а – ХОчУ-У!)

«Такого рода капризы – залог неуспеха у женщин, запомни. *Ad impatientiam impotentia!* Повтори!

«Ад импатиенциам – импотенция!» – старательно повторял я, сохраняя его нравоучительный тон.

«То-то! Только терпение, умение выжидать приносит плоды».

И дед подробно, со всеми деталями, в который раз пересказывал мне легкомысленный студенческий вариант басни Лафонтена, о том как ветер устроил бурю, пытаясь сорвать плащ с дамы, но та лишь плотней в него укутывалась, тогда как солнце своим теплом заставило ее саму разоблачиться донага.

«А вот в театре публику раздевает тетя, – заметил я. – «Люди сами сдают ей пальто за номерок – и потом еще дают рубль на чай».

«Осла! *Trente-six cochons, тридцать шесть свиней!* – сердился дед, – вырастешь – узнаешь, о чем эта басня. О том, что одними криками «хочу!» ничего не добиться! Запомни пока. Это – главное, понял?»

«Понял – криками не добиться. Но вот ты, дедушка, – с бабушкой вы муж и жена или брат и сестра?»

«Что за чушь, муж и жена, официальные, разумеется. Ты же знаешь мою сестру, ее Аня зовут».

«Значит, на бабушке ты сам решил добровольно жениться? И мама и дядя Яша – ваши дети? То есть бабушка их для тебя родила?»

«Разумеется, *trente-six cochons...* »

«Да, но ведь женился ты на ней только от того, что было холодно, правда?»

«Что? Что??»

«Ну, потому что тебе было холодно, а криками ничего не добиться...»

«Что-о???»

«Ну, оттого то есть, что без женитьбы у тебя никак не получилось бы залезть к ней под одеяло?»

«Что-о?!?!»

У деда побагровел нос, слетело пенснэ, он остановился, нахло-

нился и стал близоруко шарить палкой по тротуару, пытаясь его найти. Я поднял чудом уцелевшие стекла и подал ему в руки.

«*Merde!*.. Да кто... *Quiaindi!*.. то есть, кто посмел... кто сказал тебе такую чушь? – от злости дед чуть не забыл, что со мной следует говорить по-русски.

«Кто, кто? – да сын твой, Яша, вот кто».

«Это... это он тебе, тебе такое говорил?!»

«Нет, ну не мне, конечно, а гостям...»

«Пшякрев! Тридцать шесть тысяч свиней! *Trente-six mille cochons!* А что еще он говорил, помнишь? Постарайся припомнить по-точней!»

«Как же не припомнить? Ну... что ей не было и шестнадцати, когда вы встретились, ты старше был, чуть ей не в деды годился. Он еще много говорил, что маму Женю бабушка родила шестнадцати с половиной лет – и лишь за пять минут! А в семнадцать с половиной – самого Яшу, и тоже раньше времени. И что мама Женя еще дразнила Яшу за это: «Недоно-ошенный, семиме-есячный...», а он от этого известку грыз со стен, потому что у него недоставало пальца».

«Кальция, *merde!* Кальция! У твоего дяди язык как у *двадцатимесячного*, его выпороть следует! И потом – все это враки, легенды, запомни. Удобные семейные мифы! Она сама мне на ногу под столом наступала, каждый вечер! И руку долго жала на прощанье, не хотела отпускать. Запомни, я поймал уже вполне созревший, падавший с дерева плод! Спас ее семью, можно сказать, от осложнений: к ней уже местный телеграфист вовсю льнул, они как минимум обнимались там по углам, я уверен, ясно? Но об этом чтоб – никому больше. Ни слова. Молчок!»

«Да понял уж, – басом сказал я.

«То-то! – проворчал дед, явно удовлетворенный моей сообразительностью.

НЕЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

Дед считался одним из лучших диагностов в Киеве. Тридцать лет он без перерыва проработал в Кремлевской лечебнице ЦЛК, бывшего Лечсанупра. Никаких привилегий ему при этом не полагалось, кроме разве личного телефона для срочных вызовов в ком-

нате большой коммунальной квартиры, где жили они с бабушкой. К телефону, пока дед бывал на работе, выстраивалась целая очередь соседей, пользовавшихся бабушкиным дружелюбием и неспособностью отказывать в просьбах – одной из причин дедовой ревности.

Дед не любил свое дело. Он объяснял это тем, что со времен Парацельса все, чему медицина научилась – это только резать! Остальное как было, так и осталось в области интуиции, в потемках, а все – из-за множества невежд, шарлатанов, консерваторов и обскурантов в этой профессии. Несмотря на недовольство начальства и партийной организации клиники, дед громким и сварливым голосом настаивал в коридорах, что внутренняя диагностика осталась искусством, а никакой не наукой, и что *игнорамус* и в самый сильный микроскоп ни черта не видит. Кстати и некстати он твердил назло своим коллегам о том, что заболеваний вообще не существует, а есть только пациенты, больные!

Многие университетские профессора ненавидели его за это и называли за спиной ретроградом, воинствующим вульгарным клиницистом. Русское название своей специальности – терапевт – дед тоже терпеть не мог: оно ассоциировалось у него с физиотерапией, или еще с психотерапией – принятым тогда в Швейцарии названием деятельности психиатров. Профессии своей он учился в Лозанне, у знаменитого профессора Этьена Ру. Дед отлично прошел испытания и защитился сразу по двум областям: медицина и биохимия.

Степени доктора биологии дед так и не получил – только доктора медицины. Во-первых, у него не хватило на это времени: за немалую взятку власти кантона Во согласились только на две лишние недели его пребывания там для церемонии присвоения. Во-вторых, заграничные степени в Российской империи вообще не признавались. Деду пришлось заново экстерном сдавать все экзамены по-русски в Казанском университете. Пройдя все остальные испытания с отличием, один из экзаменов – фармакологию, дед по вздорности характера чуть не провалил, поспорив с экзаменатором по какому-то пустяковому вопросу. Стало ясно, что в православной Казани с ее процентной нормой деду – поклоннику идеи Дидро, Монтескье и одновременно страстному бонапартисту, лучше было биологии, философии и вообще абстрактных наук не касаться. Пришлось удовлетвориться степенью доктора медицины.

ЛЕГЕНДАРНОЕ ОРУЖИЕ РЕВОЛЮЦИИ

Вскоре по возвращении деда в Россию разразилась революция, царь был низложен; в Киеве начали с калейдоскопической быстротой меняться власти; каждая называла себя оплотом отечества и требовала от врачей немедленно стать под свои знамена, либо, как гласила одна повестка, «в случаях неповиновения и неявки в срок, подлежать действию военно-полевого суда как дезертиру, вплоть до публичного за шею повешения или расстрела перед строем».

Иными словами – дед шел, что называется, нарасхват.

Револьвер деду покупать не пришлось: как военному врачу, он полагался ему от любой власти бесплатно. Каждая из них считала себя истинно справедливой и революционной. Дед же к любому оружию относился с недоверием и не спешил его получать: при его близорукости оно мало чем могло ему пригодиться.

Все правительства объединяла, впрочем, одна особенность: при малейших затруднениях во всех бедах они тут же начинали обвинять евреев. Местное население интерпретировало это по-своему, как молчаливое дозволение погромов – и начинало евреев грабить и убивать.

Большевики, среди которых евреев было немало, издавали свирепые приказы по армиям, под страхом трибунала запрещавшие погромы, но это помогало слабо.

Единственным, пожалуй, исключением – властью, которая за погромы действительно казнила на месте – был Нестор Махно. И в его войсках у деда было наибольшее число благодарных пациентов, хотя и весьма специфических. Девять десятых из них были хроническими венериками, и настолько запущенными, что не могли уже держаться в седле, но только ездили в бричках с притороченными к ним пулеметами. Именно такой неожиданной причиной дед и объяснял изобретение и популярность махновской тачанки, этого легендарного оружия революции.

От Махно дед и получил свою первую награду – именной бельгийский «Бульдог» за возвращение в строй бойцов революции. Дед с опаской повертел в руках воняющий маслом *рэвольвэр*, но отказаться не посмел: вспыльчивый *батька* мог разбушеваться по пустяку (как, впрочем, и сам дед), а впасть у него в немилость было опасно для жизни.

От каждой власти, включая Деникина, у деда при этом были охранные грамоты, справки о том, что он призван на действительную службу и является лицом неприкосновенным. Интернисты, будь они хоть трижды евреями, ценились всеми армиями на вес золота: вспышка эпидемии в боевых частях означала проигранную войну. По фронтам меж тем свирепствовал тиф, сыпной и возвратный, но еще больше – сифилис, недуг по прозвищу «обезьяна болезней», настолько любому специалисту было легко запутаться в его симптомах. Сифилитикам ставили ложные диагнозы – ревматизма или даже простой ангины. Дед же почти безошибок выявлял признаки возбудителя и щедро назначал препарат 606 Эрлиха – сальварсан, в изобилии имевшийся тогда у всех оккупантов, от немцев до румын. Слухи о магическом диагнозе и его препарате пересекали линии фронта, слава его росла, и нередко за дедом по ночам приезжал автомобиль без опознавательных знаков, и под конвоем его тайно переправляли к какому-нибудь начальству через линию фронта. А наутро как ни в чем не бывало дед уже принимал больных по эту сторону фронтовой полосы.

Одним из тайных его пациентов случайно оказался председатель уездного Ревкома Ян Гамарник, впоследствии занявший одну из самых важных должностей в большевистском правительстве Украины. Помимо застарелой гонореи дед избавил Предревкома еще и от возвратного тифа, и этим уж точно спас его жизнь.

Захватив власть и упрочившись в Киеве, Гамарник особым декретом, под страхом расстрела повелел деду немедленно закрыть частную практику и принять назначение в правительственную клинику Лечсанупра. Ее-то впоследствии и переименовали в Кремлевскую лечебницу, или ЦЛК.

Под покровительством своей бывшей сокурсницы княжны Веры Гедройц, к тому времени ставшей уже не княжной, но напротив, лояльной режиму *красной лесбиянкой*, писательницей и приват-доцентом Киевского мединститута, дед в относительной безопасности спокойно проработал в той клинике всю свою жизнь, пока не ушел на пенсию.

Однако, из-за всех этих угроз расстрелом на месте, повесток, приказов и декретов, свою медицинскую профессию он тяжело возненавидел, и тоже – на всю жизнь.

ПОЛОН ДОМ МУЖЧИН

Глубокой ночью черный броневедомобиль РВ-тип С привез деда в город, домой на Виноградную. Промахнувшись дважды и дав задний ход, броневедомобиль остановился наконец у ступеней нужного подъезда. Щиток был опущен, сквозь смотровую щель в темноте трудно было разобрать номер дома, а электричество отключали в одиннадцать.

Взвизгнув, отодвинулась тяжелая дверца, и деду помогли сойти два конвоира в косматых папахах, сперва приняв на руки его тяжелый саквояж. Пока дед, прежде чем ступить на булыжник, опробовал его в темноте своей тростью, бойцы взвели затворы своих карабинов и взяли их в правую руку. *Дохтуру* вполголоса предложили тоже достать свой Бульдог калибра 444, но курок пока не взводить, чтоб не покалечиться самому. Дед ворча подчинился, стараясь не вдыхать вонь оружейного масла, идущую от револьвера.

Они медленно двинулись друг за другом: дед шел вторым; замыкающий Мишка, то и дело оглядываясь, направлял впотьмах наугад во все стороны свой короткий ствол. Мишка был старшим и он отвечал за жизнь *дохтура Мосы* головой. Оставшемуся в авто водителю было приказано перейти в башню, взвести «Льюис» и *обеспечивать* вход в подъезд, а в случае чего врубить прожектор и сыпануть по нападающим длинной очередью.

В подъезд взошли и до третьего этажа добрались без происшествий, только дед тихо ругался, нащупывая во тьме своей клюшкой ступени. Синий свет мишкиного фонарика был слаб; лифт, конечно же, ночью не работал, внутри него безжизненно раскинулся на полу консьерж. По оглушительному храпу, впрочем, можно было понять, что он цел и невредим. Конвоиры опасались однако, что дед в темноте может нажать спуск и всадить в них, а то и в себя здоровенную пулю и потому на всякий перевели действие револьвера на одиночное.

На площадке перед квартирой деда передний боец вдруг резко обернулся и зашипел: ссс-сс! Замыкающий тут же погасил фонарик. Остановились. Из-за двери квартиры просачивался неровный, но достаточно заметный свет! Среди крошечной тьмы лестничных пролетов многоэтажного дома чуялось что-то недоброе в этой мерцающей желтой полоске под дверью.

Было около четверти четвертого. К этому времени в домах обычно переставали выть и колошматить чем попало по железу и меди. В этом была своя логика. К трем часам ночи грабители обычно уже успевали обменять свою добычу на спирт, отдохнуть, перекусить и напиться. Для ночной работы у них бывало достаточно времени, ибо электричество подавали только между шестью и одиннадцатью, а темнота на юге наступает быстро, без сумерек.

Дома стояли молчаливыми громадами с черными провалами окон, широко распахнутых – с тем, чтобы при первых же криках «Ратуйте!» выпустить из окон в ночь тысячеголосый вопль в сопровождении *еврейского набата*: жестяных ударов по котлам, тазам, сковородкам и ведрям.

Это известное *жидовское вытье* было многократно описано свидетелями киевских погромов 1919 года – как антисемитами, так и их противниками. Лучше других об этом написал Шульгин, редактор черносотенной газеты «Киевлянин»: «...В темноте улицы появится кучка пробирающихся «людей со штыками», и, завидев их, огромные пятиэтажные, шестиэтажные дома начинают выть сверху донизу. Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат нечеловеческими голосами, дрожа за жизнь. ...Кричат «жиды». Кричат от страха. Жутко слушать эти голоса послереволюционной ночи.»

На самом деле, куда более чем страхом, евреи руководствовались вполне практическими соображениями. Это был их способ противостоять массовым убийствам. Дело в том, что командованием Доброармии грабежи еврейских квартир были официально запрещены. Даже юдофоб Шульгин, требуя для евреев суровых мер, указывал на недопустимость самосуда. *Главначальствующий* же Киевской области генерал Драгомиров вообще считался *жидовским прихвостнем*: в своих приказах он грозил налетчикам военнопольным судом, да ко всему еще и самого его звали Абрамом!

Разумеется, отощавших и поизносившихся добровольцев никакие суровые меры не останавливали – отнять у жидовки козу или гуся уже давно не считалось военным грехом, однако массовых жертв при ограблении мародеры старались избегать, тихо действуя небольшими группами с наступлением темноты. Евреи достаточно быстро сообразили, что чем быстрее и громче поднять шум и крик, тем скорее грабители, не дожидаясь конных патрулей, уберутся по-

дальше в пригороды, в более тихие и безопасные места. Один за другим целые кварталы превращались в источники криков отчаяния, и вызывали они тем больший ужас, что неслись из домов, погруженных в полную темноту.

Мало-помалу в городе установился определенный распорядок: самым опасным временем для евреев считалась полночь; в третьем часу вой начинал стихать, а к трем все налетчики уже расходились на покой, и дома, наконец, засыпали до следующих тревог.

Вот почему неурочный свет в квартире не на шутку встревожил конвойных. Парни и сами не были новичками в налетах на обывательские квартиры, всякое в их жизни бывало. Глубокой ночью свет мог означать многое: и засаду с пулеметом, и груды обезображенных трупов на полу, но мог и – просто казаков, перепившихся у *спиртоноса* и заснувших вповалку вместе с хозяином, не притушив фитиль лампы.

Бойцам было настрого приказано, доставив доктора домой невредимым, тотчас возвращаться к своим. По договору с Доброармией их части не должны были находиться ближе двадцати верст от Киева, на расстоянии дневного перехода. Их броневик поэтому не имел опознавательных знаков и специально был вымазан печной сажей, чтобы ночью тайно отвезти домой врача, *пользующего* начальника штаба армии УНР, у которого были *слабые легкие* (таков был тайный врачебный код, означающий хронических венериков). Неудивительно поэтому, что конвойные сильно нервничали из-за света под дверью.

Деда же одолевали тревожные подозрения совершенно иного рода. Ему вдруг отчетливо припомнилось, как одна генеральша по ночам тоже оставляла для него зажженную лампу в окне, сигнализируя, что мужа не будет до утра и путь в ее спальню открыт.

Конвоиры вжались в стены по обе стороны тяжелой двери. Дед сбоку легонько постучал по двери кончиком трости. Прислушались – внутри было тихо, но под дверью колыхнулся неровный свет. Мрачные предчувствия деда сгущались, как грозовые тучи, и очевидно, под их действием рука его сама перехватила трость посередине и сильно ударила по двери набалдашником. «Открывай! – громко приказал дед, прежде чем конвойный оттащил его в сторону.

Наконец, откуда-то из недр квартиры раздался испуганный женский голос: «Кто вам нужен? Доктора нет дома». Придерживая деда свободной рукой, конвоир вполголоса потребовал по-украински поскорее отворить дверь, «бо время нема чекаты».

«Да кто же это? – раздалось за дверью, – ты, Мося?»

«Открывай сейчас же! – заорал дед, и забарабанил тростью по двери из всех сил.

Дом затаился. За дверью слышались приглушенные всхлипывания. На противоположном конце площадки им начала подвывать соседка Марья Андреевна. Это послужило как бы сигналом для проснувшихся жильцов. Где-то ударили в медный таз для варенья, и через секунду уже весь дом разразился нечеловеческим воем. В кромешной тьме оглушительный «еврейский набат» леденил бы и самую храбрую душу.

«Тикай мозвыдси, швыдко, борозирвуть! – крикнул боец Мишка, оба застучали сапогами, сбегая в темноте вниз – через минуту затарахтел мотор их броневика – и затих, удаляясь, потонул в шуме м криках.

Но на деда вой не произвел никакого впечатления: «Открывай, стреляю: раз, два... – дед взвел курок.

«Сейчас, сейчас, – плача отвечала из-за двери бабка. «Эй, кто-нибудь – Саша, Миша, Абраша – что же вы? Откройте там, стучат».

«Открывай сию минуту! – взревел дед, услышав мужские имена. – «Сию минуту!»

«Да, да! Секундочку, умоляю: я еще не одета... – запричитала бабка.

При этих словах Отелло показался бы рядом с дедом просто плаксивым гимназистом. «Ба-бб-ахх! – дед ахнул прямо в притолоку тяжелой пулей 444-го калибра. Отлетел кусок лепнины, посыпалась штукатурка; каким-то чудом рикошетирующая пуля прошла мимо уха деда, не задев его. Вопли на лестничной клетке достигли апогея. В квартире заскрипели, защелкали замки и засовы; дверь приоткрылась, впустив деда в прихожую. Там, в одной ночной рубашке прижалась к стене в полуобмороке опухшая от слез бабка. Стоявшая на полу керосиновая лампа снизу просвечивала ее подол насквозь, и от этого она казалась настоящей блудницей.

«Не двигаться! – прошипел дед.

«Что, Мося, что? – не расслышала она из-за воплей на лестнице.

«Стоять на месте – изрешечу! Где они все?»

«Кто, Мося? Никого здесь... это чтоб налетчики не думали, что я тут одна...»

«Прячешь кавалеров, ведьма?! Лучше сама скажи, где они? Говори, ну!!!»

«Никого, Мося, нико... – прошептала бабка, теряя сознание и медленно сползла по стене на пол.

«Ах так?! – дед перешагнул через нее и двинулся в спальню. Там в темноте он начал шарить клюшкой под кроватью пока она не наткнулась на что-то тяжелое. «Вылезай, – закричал дед, вспомнив, что надо снова взвести курок, – считаю: раз, два...!» – и выстрелил под кровать. Что-то звякнуло в тон «еврейскому набату», и из-под кровати начала медленно расползаться по полу темная лужа.

Тренированный нос деда тут же подсказал, что это не кровь, а моча: выстрелом был задет ночной горшок, но это деда не остановило; он подобрался к огромному платяному шкафу. «Выходи по одному, руки за голову, – и дед снова взвел курок, – не то всех перестреляю!» Он рывком распахнул зеркальные дверцы. В полумраке на него молча смотрели шинели и шубы, и по ним дед выпустил еще три заряда подряд. На пол посыпались осколки зеркала, дверца косо повисла на одной петле. На том все было кончено. Дед продолжал нажимать на спуск, но патроны в барабане были отстреляны. Тогда выудив в луже мочи свою трость, дед побрел назад на свет лампы, в прихожую.

«Я в последний раз тебя спрашиваю.., – начал он, но осекся, увидев на полу бабку в бесстыдно задранной кверху рубашке, лежащую в глубоком обмороке, с открытыми глазами. Отчего-то такой ее неприличный вид успокоил деда; он быстро нащупал ее пульс – биение было слабым, но ритмичным – и держась за стены, проковылял к себе в кабинет. Там на особом столике стоял телефонный аппарат «Сименс и Гальске» для экстренных вызовов. Пользоваться им для исходящих звонков запрещалось: это был прямой провод от Главноначальствующего, генерала от кавалерии Абрама Драгомирова. Дед нащупал и крутанул ручку вызова; трубка ответила сонным голосом дежурного адъютанта. «Санитарную карету на Вино-

градную, двадцать А, живо, – рявкнул дед, – это доктор Гинцбург на проводе!»

«Сожалею, барон, – ответила трубка, – но сантранспорт весь отправлен на позиции. Могу выслать конный патруль. Разбудить генерала?»

«Не нужно. Но патруль пусть непременно захватит носилки – и чтоб только офицеры мне были там, ясно?»

«Слушаю, барон, через десять минут будут: Виноградная, двадцать».

«А! А! Виноградная, двадцать А, ясно?»

«Понял. Высылаю».

Когда прибыл патруль, весь квартал уже – домов десять, а то и больше – выл и гремел, нарастая мощным крещендо. На горизонте между тем светлело небо, и как только стало возможным различить силуэты конников, весь «набат» разом, словно по команде властного дирижера, прекратился. В звенящей тишине высыпавшие на лестничные площадки жильцы глядели, как под конвоем двух штыков разоруженного деда вывели из подъезда и посадили в подъехавший автомобиль комендатуры. За ним двое патрульных вынесли носилки с бабкой, едва прикрытой ночной рубашкой, и поставили их на ступеньки в ожидании второго авто. Бабка между тем постепенно выходила из обморока, и мужская часть жильцов, хотя и изрядно перепуганная, с нескрываемым интересом изучала ее белые круглые колени.

А наутро в комендатуре, когда ее стратегия с домом, полным мужчин, разъяснилась, бабка сама уже громче всех смеялась над происшествием. Дед же по привычке ворчал и выговаривал дежурному адъютанту за то, что тот упорно обращался к нему: «барон» – и это деда, презиравшего титулы вольтерьянца, невероятно злило. Бароном, впрочем, был лишь его отец, глава семьи Гинцбург, а дед предпочитал носить фамилию матери и представлялся как доктор Гольдберг. Полный почтения юный адъютант просто не знал, что титул барона не передается евреям по наследству, и в его глазах дед был чуть ли не наравне с самим Врангелем, тоже бароном.

По приказу проснувшегося к тому времени генерала деду возвратили «Бульдог», да еще подарили в придачу целую *цинку патрон*

для его редкого калибра 444. А заодно вернули и швейцарский микроскоп, *по ошибке случайно* конфискованный одним из патрульных. Бабке же генерал прислал свой собственный купальный халат, чтобы ей было добираться до дому не неглиже, а в приличном виде. Генералу Драгомирову приятно было думать, что среди выдуманных хорошенькой докторшей мужиков фигурировал и некий Абраша – возможно, в подсознании у нее отложилось его имя.

А когда генеральский «Пирс-Арроу» привез помирившихся супругов домой на Виноградную, их внизу уже поджидал одетый в штатское егерь. Он прибыл сообщить, что с наступлением темноты за доктором Гольдбергом приедет броневтомобиль «Неуязвимый». Доктору предлагалось принять участие в консилиуме по поводу здоровья начальника штаба войск – только теперь уже не УНР, а ЗУНР: у того тоже подозревались эти самые *слабые легкие*...

УЦЕЛЕЛ И НА ЭТОТ РАЗ

Еще в ранние студенческие годы в Лозанне дед увлекся историей Наполеона и стал самым фанатичным бонапартистом. Это его спасло в черные 50-е годы (он служил общим диагностом в ЦЛК, Центральной лечебнице Кремля). При обыске по подозрению в связи с сионистами и «врачами-отравителями» гебисты обнаружили в его кабинете четыре (4!) различных бюста, два гипсовых и два из бронзы, но все четыре – в шляпах-треуголках. Стали допытываться, что за бюсты – он заявил: одного из самых великих людей в истории, и начал цитировать его Кодекс по-французски. Записали: бонОпартист, по собственному признанию. Дед даже сам исправлял орфографию с О на А, топя на ГБ ногами за невежество. На допросе ему задали только три вопроса: что за партия, какая платформа, из кого состоит. Дед, топя ногами заорал, что каждый школьник должен знать, что она состоит из одного только человека: великого Наполеона Бонапарта!

Зачеркнули «бонапартист» и написали в деле: «сумасшедший, считает себя Наполеоном».

Хотите верьте, хотите нет, но деду дали после этого неделю отпуска по болезни в санатории-психушке Пуцца-Водица – и оставили на работе! На его папке сам Хрущев написал: «закрыть дело, нам

(искать) настоящих врагов надо, а не помешанных». Придя из отпуска, дед благополучно ушел на пенсию по здоровью, самому себе поставив диагноз нервного истощения – *hysteron neurasthenia*, а еще через неделю умер Сталин и поиски еврейских врачей-отравителей прекратились.

* * *

Беспощадное свирепое время гналось за ним, преследовало, наступало деду на пятки, и казалось, из-за чудовищно вспыльчивого вздорного своего характера он должен был бы пасть первым в списке жертв российских катаклизмов. Однако вопреки всем прогнозам, дед благополучно вышел на пенсию, дожил до 1957 года и даже получил еще и от руководства клиники на прощанье подарок: вечное перо (так дед называл авторучку) «Монблан» с надписью: «За тридцать лет бессменной службы трудовому народу. ЦЛК».

Показывая эту надпись знакомым, дед прятал за стеклами пенсне знакомую всем его близким циничную усмешку, дабы никто не смог уличить его в недостаточной благодарности трудовому народу за такой щедрый подарок.

Виктор Норд – режиссер и сценарист. Ему было 19, когда по его репортажу был сделан документальный фильм «Ночной вокзал». Это помогло ему поступить в Институт кинематографии на факультет режиссуры. В 1973 году В. Норд уехал в Израиль. Первой его работой там стали военные репортажи для Си-Би-Эс и документальный фильм «Третий день войны» («Война судного дня» 1973 г.) Главную роль в его художественном фильме «Сад» (1976) сыграла 17-летняя актриса Мелани Гриффит, и это положило начало ее успешной карьере в кино.

С 1982 года Виктор живет и работает в Нью-Йорке. Работы его представлялись на фестивалях (Канны, Сан-Франциско, Торонто, Таормина). В 2014 году в Москве был издан его роман «Непредвиденные последствия» – первая большая работа, публикуемая на русском языке. Постоянный автор журнала «Времена».

Владимир ФРУМКИН

НОМО SOVETICUS – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ?

Сегодня стыдно за тот псевдорелигиозный псевдоидеализм и идиотизм. Однако как сладко было жить с сознанием причастности «ко всему лучшему».

Юрий Пивоваров

Публицистику, размышления насчет идеологии и пропаганды вы довели до психологии и психиатрии. То есть советский человек (китайский, северокорейский) – это клинический случай...

Сергей Баймухаметов.

Из письма автору

В последнее время часто вспоминаю две строчки Булата:

*Уходит взвод в туман, туман, туман,
а прошлое ясней, ясней, ясней.*

Потому вспоминаю, что сам ухожу в туман. Во мглу, имеющую странное свойство: она не снаружи, не вокруг меня. Она внутри. В черепной коробке. Заползает в глаза, мешает читать и писать, ходить уверенно и прямо. Мешает жить...

Ну, а как насчет прошлого? Непонятно почему, но оно и у меня *ясней, ясней, ясней*. Как у тех окуджавских солдат, уходящих на войну под грохот барабана. Сквозь противную, изматывающую муть в голове и немислимо длинную череду прожитых лет всё отчетливее проступает многое из того, что происходило со мной с малолетства, с трех-четырёх лет. И все яснее, как на рентгеновском снимке, видится мне картина моего детства. Картина довольно-таки причудливая. Она двухчастна. Диптих. В первой части – пестрота, хаос.

Поступки и помыслы не выстраиваются в сколь-нибудь последовательную линию. Зигзаги. Загогулины. Сумбур. Во второй половине, постепенно, по мере приближения к отрочеству, сумбур сменяется подобием порядка. В моей темной, беспутной голове забрезжил свет. И возникли очертания Цели. Меня осенило: вот, оказывается, зачем я тут, для чего родился, в чем смысл моей жизни! Я могу сделать мир лучше. Более справедливым и более счастливым.

Прошли годы – и заветная Цель обернулась химерой. Утопией, реализация которой унесла миллионы человеческих жизней. Одновременно с верой в Цель рассыпалась вера в свое предназначение. В то, что моя жизнь имеет некий высший смысл. Я оказался – психологически, духовно – у разбитого корыта. Вдобавок к этому мне открылось, что я не умел логически мыслить: на поступавшую в мой мозг информацию о внешнем мире я реагировал не анализирующим разумом, а при помощи заложенных в меня условных рефлексов. О природе этих рефлексов, сделавших меня подобием подопытной собаки академика Павлова, я расскажу в конце моих заметок. Начну я их фрагментами из первой, «стихийной» части моего детства.

I

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

Детство мое протекало в невероятно далекие 30-е годы прошлого века в невероятных местах – в белорусской глухомани, вдали от не только больших, но и малых городов и городишек. В краю дремучих лесов и топких болот, обширных, но худосочных колхозных полей и крохотных, но ладных, любовно ухоженных приусадебных хозяйств. В рабочих поселках, окутанных парами 96-градусного этилового спирта-ректификата, изготовлением которого заведовал мой отец. Оказался я в этом краю через пару недель после моего появления на свет. Это событие произошло 10 ноября 1929 года в славном городе Брянске, откуда моим родителям пришлось немедленно бежать с четырьмя своими отпрысками, чтобы спастись от крупных неприятностей. «Год великого перелома», как назвал 1929-й товарищ Сталин, переломал немало человеческих судеб: вождь

прихлопнул введенный Лениным НЭП, Новую Экономическую Политику, и легковерные граждане, осмелившиеся открыть мелкие бизнесы, в одночасье превратились в граждан второго сорта.

Презренные частники – нэпманы – были лишены всех гражданских прав. «Лишенцами» стали и мои папа с мамой – за то, что превратились в капиталистов, владельцев крохотной пекарни, которая кормила изголодавшихся при военном коммунизме брянчан вкусными булочками. Нам крупно повезло: у папы была профессия, которой он обучился у своего отца, служившего винокуром у помещика. А тут как раз спиртзаводу в поселке Комаровичи Гомельской области понадобился технорук, и отец, скрыв свое капиталистическое прошлое, эту должность получил. И начал свою жизнь заново. Как говорится, с чистого листа.

Я помню себя лет с трех-четырех, но свои экскурсии в детство начну с эпизода, случившегося на пару лет позже.

ВЕЧНО ЖЕНСТВЕННОЕ ВЛЕЧЕТ НАС ВВЫСЬ...

Ранняя осень, поселок Рудобелка Глусского района Могилевской области. Здесь, недалеко от заводской проходной, меня, шестилетнего малявку, впервые поразила, прямо-таки пронзила красота женского лица. Лицо было обрамлено серым, грубоватым деревенским платком и принадлежало девице лет 17-ти, сидевшей со своими односельчанами у костра, источавшего восхитительный запах печеной картошки. Сгущались сумерки. Как видно, колхозники, которые, выполняя свою *государственную повинность*, привезли на завод выращенное ими зерно, были из неблизкой деревни и решили заночевать прямо тут, под открытым небом. Лицо девушки, подсвеченное пламенем костра, показалось мне неизъяснимо прекрасным. Так получил я свой первый привет от того самого вечно женственного, которое, как сказано в «Фаусте» Гете, *влечет нас ввысь*.

Но недолго удержался я на этой выси, ох, недолго. Съехал вниз, наслушавшись своих дружков (все они были на 2-3 года старше меня), которые объяснили мне, где спрятаны у женщин настоящие чудеса. А также – как и где эти невероятные прелести можно увидеть. Очень просто. Под платформой нашей железнодорожной

станции. «Она дощатая, понял? А между досками – щели, и сквозь них, Вовка, ты увидишь такое! Ведь у некоторых баб под юбкой ничего нет. Никакого белья! Давай, пошли с нами!»

И я пошел. Залез на карачках под платформу, где в ожидании местного поезда собрались отъезжающие и провожающие, а потом и приехавшие. Но как ни пялил глаза через найденную мною щель, никаких чудес не увидел. Не повезло и моим сексуально озабоченным просветителям – их результат был нулевым, как и мой.

Много интересного узнал я от своих словоохотливых друзей. Однажды они мне рассказали о том, откуда берутся дети. Я был в шоке. Отказывался верить. «Как! И мои мама с папой тоже... делали это? Нет, не могло такого быть!»

Те же старшие дружки открыли мне мир потайного фольклора, в котором мне больше всего запомнились не вполне приличные пародии на известные песни. Знаменитую песню о легендарной 27-й дивизии

*В степях приволжских, в безбрежной шире,
В горах Урала, в тайге Сибири,
Стальной грудью врагов сметая,
Шла с красным стягом Двадцать седьмая!*

народ переиначил так:

*Стальной грудью прижали к стенке,
Ломали целки!*

Не пощадили народные юмористы-зубоскалы и новую песню о счастливой советской стране. Называлась она «Молодость» и заканчивалась так:

*На газоне центрального парка
В скромной грядке цветёт резеда.
Можно галстук носить очень яркий –
И быть в шахте героем труда!
Как же так: резеда,
И героем труда?
Почему, растолкуйте вы мне?
Потому что у нас*

*Каждый молод сейчас
В нашей юной, прекрасной стране!*

Вот как этот куплет пелся в народе:

*На газоне центрального парка
С пионером гуляла вдова.
Пионера вдове стало жалко,
И она пионеру дала.
Как же так, что вдова
Пионеру дала?
Почему, растолкуйте вы мне?
Потому что у нас
Каждый молод сейчас
В нашей юной, прекрасной стране!*

«Молодость» зазвенела по радио в 36-м году, когда в моем доме зазвенели голоса двух девочек, 6-ти и 10-ти лет, дочек нового директора нашего завода Лысковского, молодого, высокого, улыбчивого, носившего военную гимнастерку, перепоясанную широким ремнем. Сестрички (мне больше нравилась старшенькая: в ней уже было что-то от «вечно женственного»...) часто приходили ко мне играть. Имен их я не запомнил, а вот фамилия сидит в моей памяти саднящей занозой: она погубила всю их семью. Но об этом – чуть позже. А сейчас – еще несколько картинок из вольной, безалаберной поры моего деревенского детства.

И СМЕХ, И ГРЕХ

1

Среди моих рудобельских дружков яснее других помню мальчика лет семи по имени Ваня. Это для нас он был Ваня, а для его китайских родителей, скорее всего, – Ван. Отец его работал на нашем заводе. По-русски и по-белорусски Ваня говорил свободно, без тени акцента. И обладал уникальным талантом, который мог бы продемонстрировать в цирке, будь его номер чуть поприличнее. Чтобы полюбоваться на это чудо, наша компания удалялась в укромное место,

подальше от взрослой публики, на лужайку среди густого кустарника на берегу небольшой речушки. Мы выстраивались полукругом, Ваня становился напротив нас. «Ну, Ванёк, давай! Не тяни резину!» Ваня и не думал тянуть. Ему явно нравилась роль артиста. В его узких глазах прыгали озорные искорки, рот растягивался в улыбке. Ловко изогнувшись, Ваня спускал штаны и трусики, гасил улыбку, открывал рот – и включал свой фонтанчик, струйка из которого взмывала вверх, загибаясь к лицу...

Это юное дарование следовало бы увековечить в бронзе и сделать фонтаном – наподобие знаменитого брюссельского Manneken Pis (Писающего мальчика). Уверен, что новый, сюрреалистический Pis стал бы еще более популярен и любим, чем классический брюссельский...

2

Где-то лет около семи я совершил первую в своей жизни кражу. Стибрил у отца честно заработанную пятерку. И отправился в рудобельское сельпо (магазин сельского потребительского общества), где на одной из полок лежал предмет моей мечты – сигара, непонятно каким образом попавшая в нашу глухомань с немыслимо далекого острова Куба. Красивая и упоительно душистая. Цена – 5 советских рублей. Наврал продавщице, будто меня прислал отец, технорук спиртзавода, большой любитель гаванских сигар. Тетенька мне поверила. Сигара перекочевала с полки в мой карман. Дома я спрятал ее под подушку, чтобы назавтра продемонстрировать своим хлопчикам. Нас обуяла новая страсть – курение. Вдруг все как один загорелись желанием вдохнуть дымка, «курнуть» махорки или папироской затянуться. Все равно чем. Главное – вырасти в своих глазах. Повзрослеть. Посолиднеть. Но как это курево достать? Предлагались разные планы и способы, но дальше разговоров дело не шло. И вот я явлюсь перед своими огольцами не с какой-нибудь там дешевой махрой и газеткой для самокруток, а с изящной заграничной сигарой! Я уже и коробок спичек припас. Закурю первым, потом, великодушно улыбаясь, пущу по кругу. Полный триумф.

Эх, сорвалось. Не было триумфа. Мать, прибирая мою постель, обнаружила под подушкой сигару. Мне устроили допрос. Я чисто-сердечно признался. Родители отнесли сигару в сельпо. Она верну-

лась на свое место на полке, а злополучная пятерка вернулась в папин кошелек. И тут кому-то из нас пришла в голову светлая мысль: сделать табак самим.

Был конец лета. Выдалось оно жарким и засушливым. До того жарким, что листья сирени, в изобилии росшей вдоль речки, не просто пожухли, а почернели. И стали сухими и ломкими. Они легко крошились, если их сильно потереть между ладонями. Потерли несколько листиков. Понюхали. Вроде ничего. Пахнет заманчиво, терпко. Натерли целую кучку, свернули самокрутки из газетной бумаги, чиркнули спичкой, запалили, вдохнули дымок. И начали отчаянно отплевываться. Дымок оказался нестерпимо горьким и едким. Жуткая, невероятная гадость. Так я получил прививку от курения. На всю свою долгую жизнь.

3

Примерно в это же время я выпил первую в своей жизни рюмку алкоголя. В рюмке был спирт. Наш, родной, рудобельский. Наверное, разбавленный: вряд ли угостивший меня мужик налил бы мне, семилетнему пацану, 96-процентный ректификат. Мужик был нашим соседом по коридору, занимал он ответственную должность *подвального* – хранителя огромных цистерн с готовым спиртом. Он остановил меня, когда я проходил мимо дверей его квартиры. И протянул мне граненую стопку с прозрачной жидкостью: «На, хлебни. Попробуй продукцию своего папаши». Недолго думая, я хлебнул. Обожгло так, будто я огня глотнул. Перестал дышать. Зашелся в кашле. Очухался через минуту-две – и увидел входящую в дом знакомую супружескую пару. Вспомнил: родители пригласили их к нам на ужин. Гости заулыбались, залопотали что-то приветливое, о чем-то спросили с деланным интересом. То ли спьяну, то ли их приторный тон меня резанул по живому, но я ответил им длинной тирадой, сплошь состоявшей из отборного мата. Которому я научился у крестьян, приезжавших в наш поселок, чтобы сдать сырье на заводской склад. Телеги, груженные зерном, выстраивались в очередь, в которой то и дело вспыхивали споры, возникала перепалка и звучали слова, поразившие меня своей необычностью и красочностью. Это была не просто матерная ругань. Это была вдохновенная импровизация. Отдельные бранные слова соединялись в сложные,

как бы многоэтажные фразы и периоды, и каждый из спорящих старался превзойти противника и выразиться еще более пространно и изощренно. Мой дебют в этом трудном жанре вполне удался: нежно щебетавшая пара мгновенно онемела и с вытянувшимися лицами двинулась к дверям нашей квартиры.

Мне повезло: они на меня не наступали. Пощадили – то ли моих родителей, то ли меня. Преступление осталось без наказания...

4

Что такое голод, я узнал только во время войны. Даже «голодомор» начала 1930-х, отправивший на тот свет миллионы моих сограждан, почти не затронул мою семью. Нас спасла барда – жидкие отходы от производства этилового спирта, светло-коричневая жижа, пахнувшая либо зерном, либо картофелем, то есть тем сырьем, из которого гнали спирт. Отличный корм для скота и домашней птицы, да и неплохое удобрение. Рабочие и служащие четырех белорусских заводов, где мой отец за одиннадцать довоенных лет успел поработать техноруком, получали барду в неограниченных количествах и притом бесплатно.

Благодаря даровому корму для скота спиртзаводы представляли собой редкие островки относительной сытости в перманентно недоедавшей советской державе. Платили рабочим и служащим сущие гроши, зато у них было приусадебное хозяйство, такая мини-атюрная ферма, допустимые размеры которой были строго регламентированы советской властью. Разрешалось держать одну корову, несколько свиней и практически сколько угодно кур, уток, гусей, индюков. Да еще иметь огород и картофельное поле. Заводить лошадь категорически воспрещалось: владение тягловой силой делало советского гражданина кандидатом в кулаки-эксплуататоры.

Я подключился к сельхозработам с малолетства: вскапывал, окучивал, пропалывал, давал корм корове, свиньям, птице, собирал в курятнике только что снесенные, еще тепленькие яйца, сбивал сливочное масло и даже однажды, выклянчив разрешение у матери, попытался подоить корову, которая тут же меня бесцеремонно отвергла. Когда забивали кабана, участвовал в многотрудном процессе заготовки продуктов из свинины: коптил окорока холодным и горячим способами, причем для последнего выкапывалась неглу-

бокая траншея, которая накрывалась листовым железом, у входа в «тоннель» раскладывался костер из хвойных веток, а у выхода подвешивался сырой окорок.

Весна. Мне поручают последить за выводком только что вылупившихся утят во время их первой в жизни прогулки по двору. Сначала из хлева, важно покачиваясь, выходит мать, за ней, неуверенно ковыляя, – дюжина крохотных птенцов. Замечаю, что один из них ковыляет медленнее других. Прихрамывает, припадая на левую лапку. Отстает. Беспомощно замирает. Останавливается и выводок. Разворачивается и ковыляет обратно. Ну, думаю, сейчас помогут несчастному утенку. Куда там! Какая помощь! Клевать они его начали нещадно. Ждал я, что мать-утка вмешается. Ничего подобного. Стоит, смотрит спокойно, как дети ее расправляются со своим братишкой. Или сестренкой. Не повезло утенку родиться здоровым. И его родная семья, повинувшись неведомому мне закону природы, лишает его жизни. Жестокий закон. Жестокая природа. Оказывается, не только люди убивают себе подобных...

СТРАХ И ИСПУГ

Директора завода Лысковского арестовали ночью. Через две недели, тоже ночью, увезли его девочек и жену. По поселку поползли слухи: директора подвела фамилия. Четыре последние буквы: ский. У нас теперь за поляков принялись. То ли шпионов среди них много, то ли врагов народа...

Так оно, оказывается, и было. В августе 1937 года в стране началась «польская операция НКВД». Длилась она год. Результат – десятки тысяч арестованных, 111 тысяч расстрелянных. Не все репрессированные были поляками. В жернова террора попадали случайные люди, имевшие «подозрительные» фамилии: чекисты, выполнявшие «польскую операцию», зачастую выискивали своих жертв, пользуясь телефонными книгами... Наш директор вполне мог быть поляком, потомком жителей польской деревни Лысков. Но мог быть и русским, выходцем из древнего приволжского села Лысково. Теперь это – город в Нижегородской области, административный центр Лысковского района...

Но не это занимало меня тогда. Поляк – не поляк, какая разни-

ца! Не давало покоя другое. Дядя Лысковский, симпатичный, веселый – враг? шпион? Да может ли такое быть! Неужто и он – *оказался*? Как и те партийные вожди и полководцы, которых недавно разоблачили, судили и расстреляли? Они – *оказались*. Слово это звучало все чаще и чаще. И все более зловеще. Неприятное, царапающее слово. Учившее не доверять и подозревать, разоблачать и доносить.

Именно тогда, после исчезновения Лысковских, в мое сознание, в дальний, потайной его уголок вполз страх. Который причудливым, непостижимым образом сосуществовал с зарождавшейся во мне верой в непогрешимость моей страны и правильность избранного ею пути.

Этот липкий, гложущий страх никак не походил на испытанные мной до этого детские испуги. Самый первый из которых случился на берегу реки Березина, в местечке Березино Минской области, где мы жили до переезда в Рудобелку. Ранняя весна, мой старший брат Абраша ведет меня, 4-летнего, за руку вдоль покрытой льдом Березины. Впереди виднеется железнодорожный мост. Вдруг – оглушительный взрыв, из реки в небо взмывает гигантский столб ледяных осколков. Еще один взрыв. И еще. У меня заложило уши, под ногами качнулась земля. Ужас. На грани обморока... Брат потом объяснил: рвали лед перед мостом, чтобы его не снесло во время ледохода.

Другой случай произошел в том же местечке, в нашей заводской квартире. Родители оставили меня под присмотром Эммы, сестренки, старше меня на 8 лет. Часа через два Эмма сказала, что ей срочно надо выйти во двор: в нашем доме (как и в других домах местечка) не было теплой уборной. И услышала категорическое «нет!». Потерпи, говорю, не хочу я тут быть один ни одной минуты. Какая там минута: сортир был далеко, один на несколько домов. Терпения у Эммы хватило ненадолго. Она незаметно выскользнула из квартиры, но я тут же увидел ее в окне идущей по двору. Издав крик отчаяния, я бросился к окну и со всего размаха ударил кулаком по стеклу. Звон, боль, кровь...

Конечно же, это был не просто мгновенный испуг. Я панически испугался потому, что боялся одиночества. Это была фобия, от которой я благополучно избавился через пару лет. Между тем страх, впервые испытанный мной в годы Большого террора, окончательно исчез только 20 марта 1974 года в воздушном лайнере, навсегда

уносившем меня из пределов моей страны. Полжизни я прожил с чувством, которое гнал от себя, которого стыдился и старался заглушить, задвинуть поглубже, опровергнуть. Это было чувство полной, тотальной незащищенности. Ощущение своей ничтожности перед всемогущей, ничем не сдерживаемой силой, которая может сделать с тобой все что угодно: отнять свободу, лишить жизни, стереть в порошок. Как стирали одного за другим наших недавних кумиров – героев революции и гражданской войны.

В нашей школе портреты разоблаченных врагов народа снимали со стен и вырывали из учебников. Я учился во втором классе (поступил в него, минуя первый). Однажды к нам на урок явилась директриса. И произнесла невероятное: «Дети! Вам нужно из ваших учебников вырвать портрет товарища Сталина. Листок отнесете домой, разрежете на мелкие кусочки и выбросите». Класс оцепенел. Не может быть! Сталин? Иосиф Виссарионович? Великий вождь, отец и учитель? Оказался?! Портрет я выдрал но не разрезал и не выбросил. дождался возвращения из школы старших сестреноч Эммы и Хили. Я знал, что в их учебниках есть тот же портрет: вождь в профиль, в полувоенном френче, с трубкой в руке.

– Вам велели его вырвать? – спрашиваю.

– Велели.

– А причину объяснили?

– Нет.

Не поверил я им. Очень уж нерешительно прозвучало это «нет». Не умели врать мои сестренки. И я к ним пристал хуже банного листа. Сдались они только дня через три. «Понимаешь, в портрете был дефект. Который вкрался по вине художника. Складки на френче образуют нехорошую букву... Неприличную... Ту, что на заборах пишут... Нам сказали, что художник арестован за вредительство». Я развернул сохраненный листок. С трудом нашел преступную складку. В верхней части правого рукава. Возле подмышки. Да, похоже на х, но как-то не очень. Без подсказки не догадаться. И из-за этой ерунды – арест? И допросы? Я уже знал, как допрашивают арестованных. Узнал случайно, поздним вечером, разбуженный нервным шепотом отца. Он рассказывал матери о недавно арестованном рабочем. Его забрали, как водится, ночью и через пару недель выпустили. Небывалый случай! Первое в нашей округе

возвращение «с того света». Придя на завод, он, под большим секретом, поведал отцу, как его допрашивали. С пристрастием. Били нещадно. Выколачивали «чистосердечное признание». Когда побои не сработали, посадили голым задом «на кол» – на ножку перевернутой табуретки... Я тут же представил, что все это проделывают со мной. Долго не мог заснуть. Это была вторая, после ареста Лысковских, инъекция страха.

Мой отец тоже вернулся после ареста. Ему повезло: обвинили его не по политической статье. Хотя первый сигнал на возможность такой статьи намекал. Сигнал был напечатан в районной газете и назывался «Темное прошлое». В заметке говорилось, что у технорука рудобельского спиртзавода Арона Фрумкина не все в порядке с биографией. И более всего то, что его дед по отцовской линии был раввином. В анкете товарища Фрумкина об этом факте – ни слова. Между тем, он продолжает занимать руководящий пост на советском промышленном предприятии.

Наступили тревожные дни. Отца могли в любой момент переквалифицировать из внука раввина во врага народа. И тут, как на грех, на заводе случилась авария. Взорвался бункер, пострадал один рабочий, получивший сильные ожоги. Виновником аварии объявили технорука. Он проявил халатность. Не доглядел, не проверил вовремя. Состоялся суд, который проходил в нашем заводском клубе. Я сидел в зале с мамой и сестрами. Брат был в Ленинграде: его приняли в Политехнический институт. Суд заседал два дня и признал отца виновным. Два милиционера вывели его из клуба и увезли. Я не помню, какой срок ему определили. Просидел он недолго. Мать поехала в Минск и с помощью адвоката добилась отмены приговора. Отец вернулся похудевшим и наголо остриженным. В тюрьме он работал в мастерской по сборке каких-то машин. Несчастный случай обернулся для отца счастьем. Если бы не авария, почти наверняка навесили бы на него куда более серьезную статью и уpekли в лагерь.

II

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

До сих пор нет у меня внятного ответа на вопрос: почему то пугающее, что я видел и слышал вокруг себя, те зловещие отголоски набравшего обороты террора не помешали мне стать образцовым советским ребенком. Как-то незаметно для себя самого я превратился – годам к восьми-девяти – в идеального октябренка и пионера, который *всегда готов к борьбе за дело Ленина-Сталина*.

Но только ли всегда? На самом деле, пионерская преданность этому делу шла еще дальше, перехлестывала через всегдашнюю готовность. Мы были готовы на всё, о чем свидетельствует Булат Окуджава, вспоминая о своем детстве, которое опережало мое на пять с половиной лет:

Что мне сказать? На всё готов я был.

Это признание прозвучало в стихотворении «Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве», которое Булат прислал мне из Москвы в рукописном виде. (Впервые опубликовано во 2-м томе моего сборника песен Окуджавы, изданном «Ардисом» в 1986 году). Как это случилось? Как нас угораздило дойти до столь высокой степени самоотречения? До готовности на любой поступок, вплоть до предательства, доноса на отца с матерью, вплоть до желания отдать свою жизнь, если она понадобится родной партии? Поэт отвечает на этот вопрос метафорой, навеянной известным библейским сюжетом: нас сделал такими таинственный и всеильный обитатель Кремля, который своими руками сотворил всё, что вокруг и внутри нас:

*Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество... И мы на все готовы.*

*Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил...*

Да, он нам казался Богом. И любили мы его едва ли не больше, чем отца родного:

*...И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.*

Восхищение кремлевским демиургом почему-то не заставило малолетнего Булата взять в руки перо и сочинить в его честь восторженную оду.

А я вот сочинил. Не оду, правда, а небольшой стишок, который дерзнул отправить в «Пионерскую правду». И получил кисло-сладкий ответ: редакция благодарила меня за прекрасное намерение и давала ценный совет – поучиться основам стихосложения...

Моя вторая попытка публично признаться в любви к Вождю была более успешной.

Совершил я ее в пьесе о юном пианисте Эмиле, который едет на Международный конкурс в европейскую страну и побеждает всех своих конкурентов. Я сам эту пьесу поставил да еще и главную роль сыграл. Премьера прошла в заводском клубе и имела успех. Заканчивалась пьеса так: Эмилю вручают диплом победителя, он вне себя от радости, и тут же следом на него обрушивается другая радость – поздравительная телеграмма от самого товарища Сталина! Ошалевший от счастья лауреат зачитывает ее вслух. Занавес опускается под рукоплескания зала...

У моей безудержной художественной фантазии была крепкая реалистическая основа: в 38-м году первую премию на Международном музыкальном конкурсе в Брюсселе завоевал 21-летний Эмиль Гилельс, что лишний раз доказывало всему миру как прекрасен наш социалистический строй. Об этом окрыляющем событии неустанно твердило радио и писали газеты, печатавшие – на соседних полосах – зловещие сообщения о судах над врагами народа. Их имена вызывали ужас, омерзение и ненависть. И совсем другие чувства – гордость и восхищение – вселяли в нас имена наших молодых мастеров

искусства, которые выигрывали один международный конкурс за другим и удостоивались благосклонного внимания Вождя...

ТАЙНЫЙ ЯД СОМНЕНИЙ

– Булат Шалвович, что кажется Вам самой страшной бедой нашей страны? – спросил у поэта в 1992 году журнал «Столица». Ответил он так:

– То, что мы строили противоестественное, противоречащее всем законам природы и истории общество и сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали... Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится, психология большевизма будет и дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна и необыкновенно живуча...

(28 лет прошло с тех пор. И что? Три четверти населения современной России (76%) считает, что лучшим временем в истории страны была советская эпоха, когда мы жили в СССР. Таковы результаты социологического исследования «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском общественном мнении», проведенного Левада-Центром и обнародованного в марте 2020 года). Что же может излечить нас от этой болезни, от вируса большевизма, проникшего в нашу кровь в годы счастливого советского детства? Этот вопрос прозвучал в стихотворении «Манхэттен», написанном Окуджавой после посещения Нью-Йорка летом 1990 года, когда он был гостем нашей Русской летней школы при Норвичском университете в штате Вермонт:

*Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждет и что поможет?
Или снова нас надежда на удачу облапошит?
Или все же в грудь сомнений просочится тайный яд?
Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?*

Тайный яд сомнений – вот что может спасти нас от пустых иллюзий, от напрасных надежд. К сожалению, этот целительный яд был редким товаром в наши детские годы.

13-летнего Булата не грызли сомнения, когда расстреляли его отца, а мать на долгие годы отправили в ГУЛАГ. Горе потери не пробило броню непоколебимой веры в правоту партии. Случалось, что его коробила фальшь официальной пропаганды, когда она слишком уж явно противоречила окружавшей его реальной жизни. Но диссонансы не оставляли заметного следа. Они заглушались уверенным и звонким голосом, которым говорила с нами наша молодая героическая страна. *Страна героев, страна мечтателей, страна ученых, вся – в веселом грохоте, огнях и звонах.*

Порой казалось странным, что эта держава, которой *нет преград на море и на суше, которой не страшны ни льды, ни облака*, так сурово наказывает своих граждан за пустяковые проступки. Скажем, за несколько картофелин, подобранных на колхозном поле после уборки урожая. Или за граммы зерна, которое оставалось вдоль железной дороги после проезда груженых пшеницей платформ. Мы, поселковые мальцы, слышали от взрослых про «закон о трех колосках», по которому за хищение колхозного и кооперативного имущества можно было схлопотать «высшую меру социальной защиты» – расстрел, да еще и с конфискацией всего имущества. Знали мы и о другом законе, согласно которому возраст полной уголовной ответственности до расстрела включительно начинался с 12-ти лет (!). Знали – и лазили вечерами через забор в колхозный сад, чтоб сорвать несколько спелых яблок. Предпочтительно – антоновок. А еще устраивали набеги на колхозное поле, чтобы полакомиться сладкими сочными стручками гороха. Боялись мы не высшей меры, до 12-ти нам еще далеко было, а колхозного сторожа, который, по слухам, стрелял в убегающих воришек из ружья, заряженного солью.

Летом 1940 года был принят закон о прогулах и опозданиях на работу. К этому времени мы успели переехать на другой завод, который находился в поселке Ковгары Могилёвской области. Отец там был, как и прежде, на должности технорука, а мать устроилась табельщицей: сидела в проходной и отмечала приходящих и уходящих после окончания смены рабочих. Когда вышел новый закон, я поинтересовался у матери, как он отразился на ее работе. И услышал невероятное: мама закон не выполняет. Потому что в нем опоздание более чем на 20 минут приравнивается к прогулу и считается уголовным преступлением. А у нас такие опоздания – обычное дело.

У нее рука не поворачивается ставить в таблице цифру больше 20-ти. Людей жалко...

Ну и ну! Родная мать нарушает закон партии и правительства. Она что, несправедливым его считает? Неправильным? Слишком жестким? А если она попадетса? Как с ней-то поступят? Пожалеют ее, как она – наших рабочих? Или уголовное дело пришьют?

Это была последняя капелька яда, последнее сомнение, шевельнувшееся во мне до того, как началась война. Потом грянуло 22 июня 1941 года. И случилось небывалое, непредставимое: привычная жизнь кончилась. Местную власть как ветром сдуло. Перестали ходить поезда. Закрылись магазины. Полный паралич. Разнесся слух: наша армия отступает. Разбегается. Немцы уже в Белоруссии, через день-другой появятся здесь. Вечером 25-го июня немецкий самолет сбросил на Ковгары осветительную ракету. 26-го июня, с утра пораньше, отец выпустил наружу из заводских цистерн тысячи декалитров отборного спирта. Чтоб врагу не достался. Что делать дальше – непонятно. Уехать нельзя – не на чем. Пешком, что ли, уходить? И тут подруливает к нашему дому знакомый «газик», кинопередвижка, которая обслуживала наш район по причине отсутствия стационарных кинозалов. В машине – кинемеханик и шофер. Чего приехали? Решили от немца драпать и могут прихватить нас – единственную в поселке еврейскую семью. «Киношники» меня знали: перед показом картины, пока они втаскивали в заводской клуб и налаживали свою аппаратуру, я играл на мандолине вальсы, польки и танго, под которые публика охотно танцевала. Увы, знакомство не помогло: отъехав три километра до станции Дараганово, наши потенциальные спасители сказали нам, что бежать они раздумали, – и отвезли нас обратно. Всё. Капут. Выхода нет.

И вдруг – группа рабочих, как-то странно выглядящих: выбритые, умытые и одеты по-праздничному – так они даже на главные советские праздники не наряжались. Но марафет этот, как оказалось, был наведен не для нас – для немцев! Слово взял один, который постарше:

– Вот тут у нас двое в германском плену были... в первую мировую, значит. И говорят, что немцы – очень даже культурный народ. Умеют жить. И нас, даст бог, научат. Ты, Арон Менделевич, хоть и

еврей, но не коммунист. И работник хороший. Будешь вкалывать на немца, как вкалывал на советскую власть. А если что – мы словечко замолвим. Оставайся. Бежать-то все равно не на чем. Да и поздно.

Услышав отцовское: «Ладно, остаюсь», – я закатил страшную, сумасшедшую сцену. Не знаю, почему я так явственно ощутил неминуемость нашей гибели: вот уже года два как СССР дружил с гитлеровской Германией и старался говорить о ней только хорошее...

Мой истерический вопль спас нам жизнь. Безобразная сцена подействовала, мать меня поддержала, отец побежал на заводскую конюшню, запряг крепкую молодую кобылку, прозванную нами «Лыска» из-за большого белого пятна на лбу, – и мы с двумя чемаданами, уже затемно, рванули на восток.

На телеге мы проехали почти тысячу километров – аж до Курска. По дороге прожили недели три на родине матери, в городке Почеп Брянской области, – надеялись, что немцев погонят обратно и мы благополучно вернемся домой. Не зря же обещали нам перед войной наши вожди: «Мы не только не пустим врага в пределы нашей Родины, но будем бить его на той территории, откуда он пришел». Композиторы и поэты немедленно придали этим словам красного маршала Ворошилова песенные крылья:

*Мы войны не хотим, но себя защитим, –
Оборону крепим мы недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!*

Красивая была песня, называлась она «Если завтра война». Верилось ей беспрекословно. А что получилось? Враг громит нас. Кидает бомбы на нашу столицу. Чуть ли не каждую ночь пролетали над нами армады вражеских самолетов, издавая противный, похожий на вой прерывистый звук. Шли на северо-восток, на Москву. Мы, задрав головы, смотрели на них из траншеи, вырытой нами во дворе по приказу местного начальства. И по земле враг на столицу идет, уже по Брянщине катит: мы слышим приближающийся с запада грохот орудий, видим далеко на горизонте поднимающийся в небо черный дым.

Запрягаем Лыску, бросаем в телегу заранее уложенные в мешки пожитки.

Прощай, Почеп!

Только выехали из городка, как на нас начало медленно опускаться какое-то странное облако. Оказалось, что это сброшенные с немецкого самолета листовки. Отец остановил Лыску и подобрал одну. Мы обомлели: к бойцам Красной Армии обращается не кто-нибудь, а старший сын нашего вождя Яков Сталин, который якобы попал в плен к немцам в самом начале войны! Его портрет в военной форме занимал одну сторону листка. На другой было написано примерно следующее: «Немецкая армия непобедима. На нас идет несметная сила. Бросайте оружие и сдавайтесь – сопротивление бесполезно. Вот пароль, который вы должны произнести при сдаче в плен: «Бей жида-политрука, морда просят кирпича!».

Ничего себе оборона. Крепили ее во всю, крепили, а что вышло? А как грела душу, как радовала другая чудесная песня! Из фильма «Истребитель»:

*Любимый город может спать спокойно.
И видеть сны, и зеленеть среди весны...*

Очень беспокойно спалось в те дни и недели. Уже не капельки, а каплища яда разъедали мою нерушимую веру. Больно кольнуло и то, что я увидел в деревнях, попадавших на нашем пути. Заночевали мы как-то в избе, куда нас впустили сердобольные хозяева. Напоили всех троих парным молоком от собственной коровы. Сарая у них не было. Корову держали в избе, в специальной пристройке. Во всем доме – земляной пол. В углу иконка. Мебели почти никакой. Страшная, убийственная нищета. Вспомнил сочившуюся счастьем довоенную песню:

*Дорогой товарищ Сталин,
Посылаем просьбу вам.
Дорогой товарищ Сталин,
Приезжайте в гости к нам.
Приезжайте, отдохните,
Всем колхозом просим вас,*

*Вместе с нами посмотрите,
Как идут дела у нас...*

Представил Вождя, отдыхающего в этой хате рядом с мычащей за стеной коровой...

В Курске мы втиснулись в забытый беженцами и кишачий вшами товарный вагон с намерением добраться до Омска, где нас уже ждали мамина сестра тетя Фира и мои сестры, которые бежали – ушли пешком – из горящего Минска во время страшной бомбежки, обрушившейся на город 24 июня. Поезд наш не ехал, а тащился. Подолгу стоял на станциях и глухих полустанках. Я вылезал – выпрыгивал – из вагона, чтобы снять рубашку и стряхнуть с нее и с себя скопившихся вшей, а потом – подышать и размяться. Ночью у меня сильно затекали ноги: я не мог их вытянуть – мешала спавшая вприпрыжку ко мне щуплая старушка. Во время одной из стоянок я увидел на соседних путях другой эшелон, похожий на наш, но с зарешеченными окнами. И в них – лица, маленькие, детские, болезненно худые и бледные. Вдоль вагонов шел в мою сторону солдат с винтовкой. Остановился напротив меня.

– А ну, проваливай отсюда, малец! Неча тебе тут делать!

По пути к своему эшелону я наткнулся на железнодорожника.

– Кого везут? – спрашиваю. – Кто там в вагонах?

– Дети немцев Поволжья. Высылают оттуда всех. Детей везут отдельно.

Целый народ выселяют? И детей малых везут, как арестантов? Очередная капля, очередной укол сомнения. Капля камень точит. Точит, подтачивает, раскалывает, разрушает. В моей твердокаменной вере возникали царапины и вмятины, но она не поддавалась. Окончательный крах наступил через годы и годы. Откуда такая прочность?

Попробуем разобраться.

III

Я БЫЛ ПОДОБИЕМ СОБАКИ ПАВЛОВА

Цель тоталитарных идеологий состоит не в переделке внешнего мира и не в революционном изменении общества, а в перерождении самой человеческой природы.

Ханна Арендт

Обещание, гордо заявленное в их гимне, – *Мы наши, мы новый мир построим* – большевики перевыполнили: построили два новых мира. Один – реальный, материальный, который, как нас учили, *дан нам в ощущении*. Другой возвели в наших головах. Он имел мало общего с первым и состоял из удивительного материала, природу которого я начал постигать через много лет, очутившись, как пелось в предвоенной песенке, *далёко, далёко за морем*.

ЗАКРОМА РОДИНЫ

Талдычь без конца одно и то же, рассудку вопреки и правде наперекор, и народ, ослабленный страхом, с бациллой рабства в крови, примет эту ложь за истину, большей частью – искренне. Ну, а для тех, кто не сразу принял, есть удавка.

Юрий Нагибин.

Дневник. 30 ноября 1983 г.

Это случилось, когда я уже был американцем с солидным стажем, за плечами – полтора десятка лет жизни, ничем не напоминающей прежнюю. И вдруг – сигнал оттуда, из почти забытого СССР, прилетевший на коротких волнах моего приемника: «Труженики полей Краснодарского края, наши славные хлеборобы, – сообщили мне радостно и доверительно красивый баритон, – вырастили рекордный урожай зерновых! В закрома Родины засыпаны тысячи тонн отборной высококачественной пшеницы!»

Ну, и что я испытал, услышав посреди Америки эти до боли знакомые совковые формулы? Отвращение? Тошноту? Удивление, что эти клише все еще в ходу в моем бывшем отечестве, несмо-

тря на объявленную гласность и перестроечные реформы? Ничего подобного! Мне стало хорошо и спокойно! Я ощутил внезапный прилив оптимизма и уверенности. Но тут же, через несколько секунд, накатило недоумение, граничащее с шоком: Что за чертовщина? Где, в каких уголках моего подсознания затаился этот условный рефлекс? Я-то думал, что уже чист как стеклышко! Свободен. Безвозвратно покончил с зависимостью от языка, которым долгие годы говорила со мной самоуверенная и велеречивая советская власть. Я слышал от нее одно, а видел другое. Она мне пела про уже достигнутое изобилие, а я стоял в очередях за хлебом и видел пустые полки магазинов. Мелькала мысль: а, может, так и надо? Оптимизм лучше пессимизма. Вера в успех лучше чувства безнадежности. Наверное, там, наверху, стараются эту веру всеми силами подпитывать, чтоб люди руки не опускали. Чтоб вкалывали как следует. И глядишь – что-то сдвинется, полегчает, кончится хронический дефицит.

Наивная мысль. На самом деле, люди наверху мыслили гораздо крупнее, с поистине коммунистическим размахом. Их больше заботило не то, чем заполнены наши магазины, а то, что находится в наших головах. Построенная ими гигантская информационная индустрия работала гораздо успешнее, чем наше убогое колхозно-совхозное хозяйство. Не хлеборобы и животноводы, а бойцы идеологического фронта, инженеры человеческих душ были у нас истинными героями труда. Производители слов и музыкальных звуков, живописцы, графики и ваятели бесперебойно снабжали нас духовной пищей, которая совершила чудо: создала новую разновидность *хомо сапиенса*. Этот новый человек иначе воспринимает окружающий мир: не анализирующим рассудком, а сформированным в его мозгу мифологическим сознанием. Это уже не человек мыслящий, рефлексирующий, а человек *рефлектирующий*: на получаемую из внешнего мира информацию он реагирует не разумом, а эмоциями. Причем автоматически, рефлекторно: срабатывает система условных рефлексов, возникшая в его мозгу в результате многократного повторения одних и тех же сигналов – словесных формул, зрительных и звуковых образов. Эти условные рефлексы ученые называют *искусственными*: они подобны тем, что вырабатываются в лабораториях у подопытных животных.

В своих «Истоках тоталитаризма» Ханна Арендт замечает, что носитель таких рефлексов напоминает «ненормальное животное» – подопытную собаку Павлова: у нее желудочный сок выделяется не тогда, когда она видит мясо, а когда зазвенит звонок. В наших магазинах мы редко видели мясо. Зато постоянно читали и слышали о замечательных успехах наших животноводов. Вполне возможно, что у наиболее внушаемых из нас при этом непроизвольно выделялся желудочный сок...

Вспоминаю себя, первые 30 лет своей долгой жизни, и думаю: удачное сравнение придумала Ханна Арендт. К чему скрывать, к чему лукавить – я сильно смахивал на это самое «ненормальное животное»: то, что я *слышал* об окружающем мире из уст родного государства, убеждало меня больше, чем то, что я *видел* собственными глазами. Отличие заключалось в том, что у собаки Павлова выделялся желудочный сок при звуках звонка. В то время как я, счастливый обладатель *второй сигнальной системы*, реагировал на слова.

ОТ СЛОВ ТАКИХ СРЫВАЮТСЯ ГРОБА...

1

Не знаю, как у подопытных собак, но у людей узелок рефлекса завязывался удивительно быстро. В 1919 году – вспоминает Надежда Яковлевна Мандельштам – в киевском театре перед толпой красноармейцев выступали поэты. «Выяснилось, что существенно лишь одно – в стихах должно было мелькнуть знакомое слово из нового арсенала... Зал взревел от счастья, когда выступил Валя Стенич со стихами о заседании Совнаркома. Этот человек, слишком рано всё понявший, сочинил острые стихи, запечатлевшие один исторический миг – разрез времени, его подоплеку, а толпа реагировала не на смысл прочитанного, а на отдельные слова, на их звук, на слово «Совнарком», как на красный лоскут. Ее уже успели натренировать на такую реакцию» (Н. Мандельштам, «Вторая книга». Париж, 1972, стр. 348.)

Успели в рекордный – двухлетний – срок: Совет народных комиссаров – первое правительство Советской России – был образован 27 октября 1917 года... Столь же бурную реакцию вызывало в те годы священное слово *революция*. Евгений Хазин, брат Надежды

Яковлевны, говорил, что оно обладало в СССР такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.

Словами из «нового арсенала» шибко идейные мамыши и папаша стали называть своих новорожденных отпрысков. Среди моих ленинградских знакомых была девица по имени Революция. Помню женщину, которую звали Идея Ивановна, помню чиновника из министерства культуры по имени Авангард. Рядом с нами по советской земле ходили Аврории, Агитпропы, Атеисты, Выдвиженцы, Догматы-Перегматы, Истматы и Коминтерны. А также женщины по имени Баррикада, Диамара (от *диалектика* и *марксизм*), Индустри-на, Октябрина, Партия... Для имен выбирались слова с положительной окраской, передовые, идеологически правильные.

2

На другом полюсе государственного лексикона располагались слова, которые не вызывали ни восторга, ни восхищения, ни других положительных эмоций и ассоциаций. Они настораживали, отвращали, порождали гадливость, возмущение, гнев. Они действовали примерно так же, как знаменитые «двухминутки ненависти», которые ежедневно устраивались в оруэлловской Океании. Причем особенно сильно – когда преподносились нам в художественной обработке: в песне, стихе, частушке.

*На воров, на собак – на богатых!
Да на злого вампира **царя!**
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись, лучшей жизни заря!
(«Рабочая Марсельеза»)*

* * *

*Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.*

* * *

*Белая армия, чёрный Барон
Снова готовят нам **царский трон....***

*Мы раздуваем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сровняем с землёй.
(«Белая армия, черный Барон»)*

* * *

*Что с **попом**, что с **кулаком** –
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!
Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою.*

(«Проводы»)

* * *

*Долой, долой **монахов**,
раввинов и **попов!**
Мы на небо залезем,
Разгоним всех **богов!***

(Частушка)

3

Повара советской лингвистической кухни ловко меняли смысл слов при помощи тщательно подобранных приправ. Вы думаете, мы совершаем незаконные расправы? Убиваем людей без суда и следствия? Ничего подобного. Это законность нового типа – *революционная*. Успешно работало прилагательное *буржуазный*, которое немедленно придавало любому существительному отрицательный смысл. Его прибавляли к таким словам, как гуманизм, пацифизм, ценности.

Буржуазные гуманисты разглагольствуют про общечеловеческие ценности. Не смешите нас. Нет в природе никаких абстрактных ценностей. У каждого класса свои ценности. Нет общечеловеческой морали. У нас – революционная мораль. Вы проповедуете «Не убий». А мы говорим: «Ваше слово, товарищ маузер!». И прославляем нового героя нового времени – *чекиста*, невозмутимого и непреклонного, безжалостного к врагам и к самому себе, человека

особой, высшей породы. Даже расписывается он не так, как все, ро-
счерком, внушающим ужас и трепет:

*И подпись на приговоре вилась
Струёй из простреленной головы.*
(Эдуард Багрицкий. «ТВС»)

Мы впали в зависимость от слов подобно тому, как наркоман
впадает в зависимость от героина или опиума. Непрестанно повто-
ряющиеся речевые сигналы выстраивали в нашем мозгу своего рода
фильтр, через который мы и воспринимали факты реальной жизни.
Сознание, сотканное из искусственных рефлексов, либо отвергает
противоречащие ему факты, сомнения, страхи, либо загоняет их в
подсознание, либо находит им непротиворечивое, компромиссное
объяснение. *Рационализирует*, как сказал бы Зигмунд Фрейд. Хан-
на Арендт делает в своем исследовании интересный вывод: обра-
ботанные тоталитарной пропагандой массы *не доверяют своим гла-
зам, своим ушам, своему опыту – но лишь воображению.*

Ей вторит советский поэт:

*Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.*
(Михаил Исаковский)

Я верил. Безоговорочно. Без всяких там «может быть».

17 ноября 1935 года мы услышали по радио знакомый оте-
ческий голос, который произнес с милым кавказским акцентом:
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». Эти слова
мгновенно обрели крылья. Запестрели на страницах газет, на плака-
тах и транспарантах, зазвучали в зажигательной песне А.В. Алексан-
дрова, повторяясь (без слова «товарищи») в конце каждого куплета
(!), цитировались в речах ораторов. Ну как тут было не повеселеть
– и забыть о том, что в нашей жизни особых причин для веселья
не было? Ведь вождь знает всё, ему виднее. Как было не заразиться
радостью от новых прекрасных песен, которые, будто из рога изо-
билия, хлынули на нас с киноэкранов во второй половине 1930-х?

*Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.*

(«Песня о Родине»)

«Что поёшь, в то и веришь», заметил как-то Солженицын. Мы с упоением пели эти песни и проникались верой в то, что мы – самые счастливые люди на планете. Что только в нашей стране и нигде больше «так вольно дышит человек». И –

*Только в нашей стране дети брови не хмурят,
Только в нашей стране песни радуют слух.*

В битком набитых кинотеатрах шли новые советские фильмы. Песни из кинокомедий в голливудском стиле мгновенно разлетались по стране, они звучали по радио, их печатали в газетах и сотнях тысяч листовок, которые расходились с невероятной быстротой. Тексты этих песен сплошь состояли из *положительно заряженных* слов и как день от ночи отличались от революционных и ранних советских песен, кипевших ненавистью к буржуям, богачам, кулакам, попам и прочим врагам рабочего класса. Новые песни сочились счастьем и незамутненной радостью жизни.

Мощные инъекции оптимизма делали свое дело: заглушали, смягчали и подавляли тревогу и страх, нараставшие по мере того, как в стране раскручивался маховик Большого террора. Повальные аресты, показательные процессы, призывы к беспощадной расправе с предателями и шпионами – все это перекрывалось громом побед и свершений. Мы восторгались рекордами наших летчиков, спасением челюскинцев, трудовыми подвигами стахановцев, нашими лауреатами – завоевателями премий на международных конкурсах музыкантов. В этой атмосфере террор воспринимался как нечто страшное, но необходимое, как бывает необходима тяжелая хирургическая операция. *У нас ведь зря не сажают.* Враги есть, и их много, вот искореним их до последнего, очистимся от скверны – и наступит полное счастье, о котором мы поем в полюбившихся песнях.

Да и выглядели люди так, будто никакого террора нет и в по-

мине. Признаков тревоги, подавленности или страха не было на их лицах. Ни у наших заводских, ни у жителей Минска, куда я наезжал со своими родителями, чтобы навестить родственников мамы и погулять по красивому и всегда оживленному центру белорусской столицы. Тогдашние москвичи тоже выглядели на улицах вполне безмятежно, даже радостно, о чем я услышал много лет спустя от Наума Коржавина.

*Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам. –*

– вспоминал Наум по свежим следам, в 1944 году.

Жили-были, покорно ожидая своей судьбы, своей очереди. Внушенный массам искусственный, беспочвенный оптимизм сбивал с толку, подавлял инстинкт самосохранения. Даже те, кто все-ррез опасался ареста, как правило, не трогались с насиженных мест, не пытались скрыться, спастись...

4

Поразительна живучесть усвоенных нами реакций, оценок, представлений. Вспоминает моя сверстница Наталья Долинина, педагог, филолог, писательница, дочь выдающегося литературоведа Григория Гуковского, погибшего в тюрьме в 1950 году:

Если я не спала в полночь и из комнаты отца, где было включено радио, доносились звуки «Интернационала», я вставала из постели, босая, в ночной рубашке, завязывала поверх нее галстук и, замерев, держала салют. Мне до сих пор трудно не встать, когда играют «Интернационал».

Наталья «заболела» «Интернационалом», тогдашним гимном Советского Союза, когда была пионеркой. Признание в том, что при его звуках ей все еще хочется встать, она написала летом 1968 года. В 40-летнем возрасте...

Еще пример.

«Прощание с иллюзиями» – так назвал Владимир Познер свою книгу воспоминаний, написанную вначале по-английски и издан-

ную по-русски в 2012 году. Читая ее, я вспомнил название повести Юрия Трифонова – «Долгое прощание»: Владимир Владимирович – через 21 год после краха СССР – все еще не простился с некоторыми из своих марксистско-ленинских заморочек. Не расстался с утопической мечтой об идеальном обществе, не похожем на отвратительное общество свободного рынка:

Никаких иллюзий в отношении капитализма у меня нет. Это жестокая несправедливая система, она благоволит лишь к богатым. У бизнеса нет ни совести, ни морали, а есть лишь одна неодолимая и все определяющая черта: жажда наживы, уж извините за набившее оскомину определение. Последует ли за капитализмом другой строй, как предсказал Маркс – не знаю, хотя хотелось бы, чтобы помыслами и действиями человечества управляли не деньги. (Стр. 188)

Ох уж этот антикапиталистический вирус. До чего ж глубоко въелся он в сознание советского человека. В его кровь. Невольно вспомнил выразительную метафору, найденную Герценом, наблюдавшим из Лондона за вспышкой патриотической истерии в России – во время второго польского восстания 1863-64 года:

Дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис.

Тот давний имперско-патриотический вирус все еще сидит в сознании жителей России, порождая то *крымнашизм*, то *победобесие*, то «Можем повторить!». Насколько долговечен социалистический вирус, как обстоит дело сегодня с радужной мечтой о «другом строе», добром и чистом, свободном от омерзительной власти денег, – об этом мы поговорим чуть позже, заканчивая сие затянувшееся повествование.

НАШИ И НЕ НАШИ

В феврале 1926 года Корней Иванович Чуковский посетил преуспевающего художника Исаака Бродского. И записал в своем дневнике:

Ах, как пышно он живет – и как нудно! Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по разным ценам, а в столовой – которая и служит ему мастерской – некуда деваться от «расстрела коммунистов в Баку». Расстрел за-

ключается в том, что очень некрасивые мужчины стреляют в очень красивых мужчин, которые стоят, озаренные солнцем, в театральных героических позах. И самое ужасное то, что таких картин у него несколько дюжин. Тут же на мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро и ловко делают копии с этой картины, а Бродский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит на них свою фамилию. Ему заказано 60 одинаковых «расстрелов» в клубы, сельсоветы и т.д., и он пишет эти картины чужими руками, ставит на них свое имя и живет припеваючи.

Художник Бродский щадил своего зрителя. Не утруждал его решениями, требующими вникания, постижения, работы воображения. Творческий замысел должен был мгновенно доходить как до заказчиков картины, так и для ее потребителей в клубах и сельсоветах. Доходить до ума и – главное – до души. Внушить любовь и сочувствие к *нашим* и вызвать омерзение к *не нашим*. Первых он делает *очень красивыми*, вторых – *очень некрасивыми*.

Так же работали и авторы скульптур, плакатов, карикатур, фильмов о революции, гражданской войне и первых пятилетках. В кино зрителю ряду успешно помогала музыка: жесткие, отталкивающие звучания изображали отрицательных героев, красивые, ласкающие слух – сопровождали появление на экране героев положительных. Объединенные усилия изображения и звука делали чудеса. Отчетливо помню: на детских сеансах переломные моменты сражений – внезапная атака красных, сминающая цепи белых – неизменно вызывали неистовый рёв зала: «На-а-а-ши!»

В картине Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров», попавшейся на глаза ехидному Корнею, «очень некрасивые мужчины» находятся в нижней части полотна, окрашенной в сумрачно-темные тона. Зато легендарные бакинские комиссары изображены в героических позах на фоне голубого неба и розовых облаков, словно подкрашенных восходящим солнцем. Герои гибнут, но не зря. Дело их восторгает. Трагедия, но оптимистическая. Что и говорить: наши соцреалисты, работавшие в визуальных и словесных жанрах, умело пользовались световыми контрастами и символикой цвета, в которой самое почетное место принадлежало красному. Высоко ценились также утренние, рассветные тона:

*Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.*

«Москва майская» была одной из самых любимых массовых песен 30-х годов – брызжущих радостью и счастьем песнопений эпохи Большого террора. Почти все они звучали в ритме марша. Именно в эти годы СССР стал ведущей маршевой державой мира. Вслед за советскими коммунистами внедрением марша занялись германские национал-социалисты. Героический марш стал господствующим ритмом, под который росли и крепили оба тоталитарных монстра.

Марш, становящийся – в относительно мирное время – ритмическим наваждением целой нации, – верный признак серьезного социального заболевания.

Советская «Музыкальная энциклопедия» определила марш как «музыкальный жанр, сложившийся в инструментальной музыке в связи с задачей синхронизации движения большого числа людей (движение войск в строю, праздничные и церемониальные шествия)…» Между тем политическая песня-марш синхронизирует не столько движение, сколько психику толп и наций. Она призвана, по словам моих коллег, советских музыковедов, «объединить сознание, чувства и волю масс в действии» (М.Друскин), заразить их «одинаковым настроением или порывом к действию, сплотить их, повести за собой» (А.Сохор).

В Германии некий Dr. St. выступил со статьей «Завтра мы будем маршировать», которую в журнале «Советская музыка» (№ 10 за 1934 год) комментировал Б. Михайловский (ни капельки не опасаясь «нездоровых ассоциаций» с советской реальностью, хотя об ущербности джаза и преимуществах марша в СССР писалось примерно то же самое: в те годы преступная мысль о возможности таких ассоциаций, как видно, никому не приходила в голову):

«С точки зрения фашистско-милитаристских запросов автор подходит к критике фокстрота, джазбанда, с его, так сказать, «штатскими» ритмами... Автор особенно ценит марши за его властное действие на наше бессознательное начало – даже у самых немзыкальных людей. Ничто не передается с такой «внушаю-

щей принудительностью», как переживание общего, «коллективное переживание массы». Поэтому марш может помочь «музыкально управлять большими массами. В этом заключается первичное значение марша». Автор желает широкого внедрения марша в современный быт».

По части воздействия на подсознание, волю и сознание масс нацисты и большевики не знали себе равных. Бывало, что и обменивались опытом. Гестапо и НКВД делились друг с другом методами физического воздействия во время допросов. Нацисты запросто перенимали у коммунистов понравившиеся песни, слегка переиначив их на свой лад. Случалось и обратное. Мелодии популярных в СССР песен «Вперед, заре навстречу» и «Мы шли под грохот канонады» прилетели из Германии и пелись нацистами с другими словами. Оба режима выработали особый, *тоталитарный интонационный стиль*, подобно тому, как ими же был создан единый художественный язык – тоталитарный стиль изобразительного искусства. «Голоса» коммунизма и национал-социализма звучали почти неотличимо, и не только в сфере массовой музыки, но и в области официальной и художественной речи: с трибун митингов и собраний, по радио, со сцены, с киноэкранов в обеих странах неслись интонации, налитые горделивым сознанием силы и величия, исполненные мессианской проповеднической страсти.

Эффект массированного воздействия на участников тоталитарного эксперимента оказался поистине революционным. У нас, потребителей всего этого великолепия, выработалось странное, упрощенное до примитива сознание, подобное тому, что формируется у подопытных собак, которым прививаются искусственные условные рефлексы. К этой аналогии, предложенной, как было сказано, Ханной Арендт, можно добавить другие. Например, *дрессированную* собаку, немецкую овчарку, которая, в романе Георгия Владимова «Верный Руслан» превращена в метафору «страны и народа, целого длинного периода истории». Народа, «который был второй раз введен в крепостничество, как та самая собака поставлен на службу режиму, в колхозе, около колхоза, охраняя лагеря». «Верным Русланом», заметил Александр Галич, выступая по радио «Свобода» 7 сентября 75-го года, вполне можно было бы назвать его песню «Больничная цыганочка»: «*Это история о людях с совершенно иска-*

леченной, парадоксальной психологией, которая возможна в тех парадоксальных, невероятных условиях, в которых существуют наши люди».

В песне Галича «Еще раз о чёрте» возникает другая метафора тоталитарного человека:

*И ты будешь волков на земле плодить
И учить их вилять хвостом.*

За 30 лет до Галича к образу дрессированных хищников, волков и акул, обратилась Марина Цветаева, изображая марширующие по Европе толпы германских фашистов:

*Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь – выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть
Вниз – по теченью спин.*

Эти строки были написаны весной 1939 года. В том же году Марина вернулась на родину, которая за время ее отсутствия превратилась в тоталитарный Бедлам нелюдей. Ее терпения хватило всего лишь на два года...

ПОСТСКРИПТУМ: ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

46 лет назад я оказался в стране с необычным государственным гимном: в отличие от большинства своих сородичей, американский гимн звучит не как марш, а как плавный медленный вальс. Что неудивительно, ибо его мелодия родилась из напева английской застольной песни. Мне нравится жить в стране, которая выбрала для гимна вместо важно шествующего торжественного марша широкую, размашистую мелодию, оглашавшую шумные английские пабы. В стране, где нет обязательной для всех идеологии. Где нет ми-

нистерства культуры и где государству запрещено иметь свои газеты, свое радио и телевидение. Когда я работал на «Голосе Америки», мне приходилось объяснять своим американским друзьям и знакомым, желавшим послушать мои передачи, что «Голос Америки» в Америке не слышен: специальный закон оберегает американцев от гипотетически возможной государственной пропаганды.

Удивительная страна с невероятно высоким уровнем свободы. Удивительно и то, что значительное число ее жителей готово пожертвовать некоторыми из тех свобод, которыми их щедро наделила американская конституция. Например – свободой слова, которая у нас уже заметно урезана в угоду так называемой политкорректности. На наших глазах естественный, гибкий и сочный английский язык приобретает черты эзопова языка: он насыщается лукавыми иносказаниями, призванными всячески смягчить смысл произносимого, дабы, не дай бог, никого не обидеть. И в первую голову – представителей меньшинств. Расовых, этнических, гендерных, сексуальных. Людей с физическими или психическими недостатками. Совершается акт лингвистического самооскопления. В авангарде кромсателей языка – наши «прогрессисты», которые навязывают изобретаемый ими новояз остальным говорящим и пишущим. И многие не выдерживают. Сдаются. В студенческих городках возникли «безопасные зоны», своего рода лингвистические гетто, где может звучать только тщательно очищенная политкорректная речь. Консерваторам туда вход категорически воспрещен.

Параллельно с чисткой речи полным ходом идет чистка отечественной истории. Учащимся школ и студентам преподносится сюрреалистическая картина Америки – страны, которая с самого начала была несправедливой, эксплуататорской, расистской. Упрощается, до примитива, история американской гражданской войны, южане демонизируются, их символика приравнивается к фашистской. То, что после победы в Гражданской войне северяне решили увековечить память генералов-южан ради примирения сторон и восстановления единства нации, – напрочь забыто. Четыре года назад внука наших давних друзей, восьмиклассника, исключили из школы. Кто-то из ребят увидел в его мобильном телефоне фото флага Конфедерации. Оно там находилось среди других материалов по американской истории. Увидел – и доложил директору школы. Про-

винившегося вызвали на ковер и велели немедленно удалить возмутительный снимок. Удалил. Послушался взрослых, но всё равно был изгнан... 5-го июня губернатор моего штата, Вирджинии, демократ, приказал снести в столице штата Ричмонде знаменитый памятник легендарному генералу Конфедерации Роберту Ли. Так он ответил на прошедший накануне многолюдный митинг протеста на площади, где этот памятник стоял с 1890 года. Не такая уж сногшибательная новость, если учесть, что уже около трех лет назад политический комментатор канала CNN Анджела Рай предложила Америке посшибать с пьедесталов памятники Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. Да, отцы-основатели. Но что они создали? Страну с сомнительной историей. И к тому же – владели рабами! Убрать их подальше. С глаз долой, из сердца вон.

То и дело слышу: Америка больна системным расизмом. Ничего подобного. В Америке действует системный анти-расизм, в чем я убедился 46 лет назад, летом 1974 года, едва прибыв в эту благословенную страну с моей женой Лидой. Прилетели из Рима в Де-Мойн к моему американскому дяде Герману Фрумкину. Через несколько дней – неожиданный звонок: в колледже Оберлин, что возле Кливленда, открылось скромное место директора Русского дома – общежития для студентов, изучающих русский язык. «Вас рекомендовала Беверли Маккой, с которой вы познакомились во время ее семестрового курса в ЛГУ». Рекомендовала?! Оказывается, Бев написала письмо о нас своим профессорам, ничего нам не сказав... Приезжаю в Оберлин, прохожу многочисленные собеседования. В конце второго дня встречаюсь с деканом. «Поздравляю! Вы приняты. (Пауза) Условно. Окончательно примем, если до окончания срока подачи заявлений не возникнет кандидатура представителя меньшинств». Я слегка обалдел. Условно? После ослепительных улыбок и шумных поздравлений! На русской кафедре мне объяснили по-русски, что в США с начала 60-х годов существует программа Affirmative action, согласно которой при приеме на работу и в высшие учебные заведения предпочтение отдается расовым меньшинствам и женщинам. Так что если в течение месяца появится цветной претендент или претендентка на эту должность, то колледж будет вынужден вам отказать...

Термин Affirmative action – ранний образчик политкорректности. В буквальном переводе это выражение звучит весьма туманно, смысл его расплывчат: *утвердительное действие*. В России название программы, введенной президентом Джонсоном в 1965 году, переводится по-разному: «Позитивные действия», «Политика утвердительных действий», «Позитивная дискриминация», «Компенсационная дискриминация».

Словарь Merriam-Webster Collegiate Dictionary дает такое определение: **Активные усилия по улучшению возможностей трудоустройства и образования для разных групп меньшинств и женщин.**

На практике эти «активные усилия» сводятся к дискриминации белых мужчин и (в меньшей степени) белых женщин. То есть допускается маленькая временная несправедливость ради конечной высшей справедливости – ликвидации социального и экономического неравенства. Полного успеха эта практика не имела. Результаты ее весьма противоречивы. Но что бесспорно, так это печальный итог другой программы, введенной президентом Джонсоном в рамках законодательных мер, которые получили название «Великое общество».

Один из ее плодов – гигантское увеличение количества черных детей, рождающихся вне брака. На пороге 1960 годов их было 15%. Теперь – 72%! На следующий год после введения Great Society, в 1965-м, демократ Дэниэл Патрик Мойнихэн (будущий сенатор, а тогда – чиновник Министерства труда) забил тревогу: щедрые выплаты за каждого черного ребенка, родившегося вне брака, разрушают черную семью – количество внебрачных детей увеличилось до 24-х процентов! «Прогрессивная общественность» дружно и громко осудила исследование своего однопартийца. «Великое общество» продолжало подпитывать безотцовщину, пополняя свежими подкреплениями городские уличные банды. И вот результат: 90% убийств чернокожих американцев совершается их соплеменниками.

Об этом не принято говорить в наших СМИ, 90% которых превратились в рупор съехавшей далеко влево демократической партии. Ни пресса, ни лидеры демократов не осудили грабежи и погромы, разразившиеся после смерти в Миннеаполисе во время ареста наркомана и уловника Джорджа Флойда. Промолчали. Красно-

речивое молчание, за которым угадывается надежда: на волне народного гнева их президентскому кандидату легче будет въехать в Белый Дом. К тому же анархо-социалисты из «Антифа» и «Жизни черных важны», разбивавшие молотками витрины магазинов, открывая путь для мародеров, идейно близки сегодняшним демократам. Они симпатизируют марксизму, презирают капитализм, то есть, свободную многоукладную экономику, требуют сокращения и разоружения полиции, борются за предоставление особых прав сексуальным меньшинствам и не терпят никаких возражений: на критиков немедленно наклеивается ярлык – «расист».

Результатом победы демократов на ноябрьских выборах станут, судя по их платформе, усиление государственного контроля над обществом, повышение налогов, национализация здравоохранения и энергетики, резкое сокращение добычи нефти и газа, ограничение действия первой поправки к конституции и отмена второй, открытие границ для «недокументированных мигрантов», возвращение к глобализму в сфере мировой торговли, охлаждение отношений с Израилем, и т.д. и т.п. Не исключаю принятия ограничительных мер в отношении белых, в особенности – евреев. Такого рода меры предлагались в платформе антисемитской и антиизраильской организации «Жизни черных важны», опубликованной на ее сайте в 2016 году. По тактическим соображениям, эта публикация была удалена. В последние месяцы политический вес BLM заметно вырос. Экстремистская группировка становится союзницей партии демократов. Ее награждают комплиментами, крупные корпорации и голливудские звезды посылают ей щедрые пожертвования. В Вашингтоне участок 16-й улицы неподалеку от Белого Дома получил новое название: BLACK LIVES MATTER PLAZA.

По почину BLM, наиболее внушаемые и совестливые из моих сограждан публично преклоняют колени, горько раскаиваясь за то, что их угораздило родиться белыми, и что эта несмыслимая белизна автоматически наделяет их незаслуженными привилегиями и врожденным пороком – расизмом. Синдром “White privilege”, «Привилегия белых» – пострашнее вируса COVID-19. От него нет и не будет ни вакцины, ни лекарств. Это – душевный недуг. Усталость духа. Вспомнились знаменитые строки из Ахматовой: «Когда в тоске самоубийства Народ гостей немецких ждал...». Похоже, что Западная ци-

визация впадает в некую экзистенциальную тоску. Табуирование языка, ревизия истории, снятие памятников (к чему теперь готовятся уже и в Лондоне), прекращение показа и переделка классических киношедевров (свежий пример – легендарная лента «Унесенные ветром»), чувство стыда за принадлежность к белой расе – все это говорит о том, что Запад лишается инстинкта самосохранения. У него не хватает воли для защиты своих базовых ценностей.

Нежданно-негаданно, на финальном витке жизни, *на склоне заката*, как говорит Юлик Ким, мне довелось увидеть до боли знакомый призрак. Который когда-то бродил по Европе, материализовался в России, а за ней – в двух десятках других стран, сожрал сто миллионов человеческих жизней – и рассыпался в прах 30 лет назад, удержавшись в Северной Корее и на Кубе. И надо же – воскрес, перемахнул через Атлантику и витает над Америкой. Но не в прежнем, а в слегка преображенном виде. Раньше провозвестники светлого будущего объясняли необходимость (и неизбежность!) революции непримиримым конфликтом между классами. Теперь – объясняют конфликтом между расами. Неустанно уверяя нас, что белые так и не преодолели своего колонизаторского прошлого. И продолжают делать то, что они делали веками: сдерживают развитие цветных народов на всей планете. Унижают их, не дают свободно дышать. Первым в истории злостным колонизатором они объявили Христофора Колумба. Его памятники уже снесены в нескольких американских городах.

Новое поколение наших радикалов не устраивает обамовский проект фундаментальной трансформации Америки. Обамизм устарел. Обама был слишком осторожен и консервативен. Их лозунг – *Мы пойдем другим путем*. Зачем трансформировать порочную государственную систему? Ее следует разрушить *до основания, а затем...* Затем – действовать по рецептам, прописанным классиками в «Манифесте коммунистической партии». В преображенном виде, соответствующем новым реалиям. Забудьте о диктатуре пролетариата, нынешний рабочий класс за нами не пойдет. Движущая сила нашей революции иная – расовые и этнические меньшинства. Плюс белая молодежь, принявшая наши идеи. Студенчество, воспитанное прогрессивными профессорами, которых в сегодняшних университетах – подавляющее большинство.

Знакомая риторика. Слушаю – и молодею лет эдак на 70. Я это все проходил, усердно штудировав основы Самого Верного Учения.. Что ж, мне ничего не остается, как признать, что марксистская идея революционного преобразования общества, несмотря на многочисленные провалы попыток ее реализации, жива и, похоже, будет жить долго. Если не вечно. Ее легко полюбить, ею легко заразиться. Она не перегружена чрезмерными философскими сложностями и тонкостями. И при этом выглядит как настоящая, серьезная наука, способная объяснить всё сущее, ответить на все вопросы и загадки бытия. Хотя на самом деле больше смахивает на квазирелигию. Предлагаемые ею ответы просты и доступны широким массам. «Не высшая математика, А просто, как дважды два», как заметил Александр Галич по слегка другому поводу. Поверивший в марксистскую идею становится обладателем волшебного ключика, универсальной отмычки, открывающей истину в последней инстанции. Объясняющей ход человеческой истории и неизбежность краха капитализма и воцарения идеального общества, где все будут иметь не только равные возможности, но и одинаковый уровень жизни.

И что особенно манит, влечет, соблазняет: поверивший в Доктрину обретает счастливое чувство причастности к чему-то большему, чем он сам.

*Я счастлив,
что я
этой силы частица...*

Сознание причастности порождает другое бесценное чувство – предназначенности. Я твердо знал, для чего я здесь, в этом мире. *Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.* И построить невиданно прекрасный, справедливый мир. Лет до тридцати я ощущал себя счастливым пассажиром поезда, устремленного в удивительное, идеальное будущее. *В коммуне остановка! Иного нет у нас пути.* Остановка произошла раньше. Поезд забарахлил и – когда я уже был по другую сторону Атлантики – потерпел крушение. СССР кончился, и в России начали открыто говорить о том, что поезд вела бригада преступников и лжецов, а мечта о коммуне, куда он якобы направлялся, была страшным, трагическим заблуждением. Мое окончательное прозрение (начавшееся, как и у многих других охму-

ренных соотечественников во второй половине 1950-х) наступило раньше, в 60-е годы. И я, бывший беспечный пассажир поезда, ощутил себя в одноместной лодке посреди бурного моря новых идей, концепций, ценностей. Куда грести? Где причалить?

Более полувека прошло с той поры, а я все еще – в плавании. Продолжаю наверстывать упущенное. Сделал открытие: утратившему мессианскую веру труднее всего дается поиск нового смысла жизни. Продолжаю искать, пытаюсь разглядеть его очертания сквозь сгущающийся туман. Ищу ответа у философов, богословов, писателей, ученых. У мыслителей, идеи которых тщательно скрывались от нас нашей заботливой властью. И – все чаще думаю о том, какие слова мне суждено произнести раньше: *Прощай, жизнь* или – *Прощай, Америка, которую я знал и любил...*

Владимир Аронович Фрумкин (р. в 1929 году) – известный музыковед, публицист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов. Среди опубликованных работ — «От Гайдна до Шостаковича» (очерк истории симфонии), «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих» (о музыкально-поэтическом стиле Булата Окуджавы). В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Булата Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. В 2005 году в издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин живет в Маклейне — вирджинском пригороде Вашингтона.

«НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ...»

К 70-летию со дня рождения Михаила Анищенко

Журнал «Времена» этой публикацией откликается на призыв российского литератора Валерия Румянцева отметить юбилей замечательного человека, чье имя не должно быть забыто.



Михаил Всеволодович Анищенко-Шелехметский (9 ноября 1950 – 24 ноября 2012) – советский и российский поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей России.

Жил в Куйбышеве (ныне Самара). Работал фрезеровщиком, слесарем, сантехником, сторожем, помощником мэра, журналистом.

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Вот что пишет о нем Евгений Евтушенко.

«...Когда я прочёл три его стихотворения, то сразу понял, что наконец-то пришел долгожданный большой русский поэт. Михаил

Анищенко – лучший подарок читателям поэзии за последние лет тридцать, если не больше.

Михаил родился в рабочей семье. Родители были литейщиками, да и он сам – поначалу. Но крестьянская кровь предков сказалась в характере, потянула к природе, к народным песням, а потом уже и к собственным стихам. В 1977 году его приняли в Литинститут. В 1979-м вышла в Самаре первая книга – «Что за горами». ЦК комсомола дал ему премию Николая Островского. Комсомольским боссам требовались поэты, которых можно было бы выставить против шестидесятников. Но Анищенко не давался в руки. Московская псевдобогемная воронка закрутила, завертела Мишу. Его трижды исключали из института – за что, объяснять не надо, – и он получил диплом лишь в 1988 году. Каким-то образом во время перестройки стал одним из помощников самарского мэра. Но, увидев, как люди не выдерживают испытания властью и деньгами, проникся идиосинкразией к политике. Уехал в деревню, несколько лет пытался жить одним огородом. Раздражал своей откровенностью и непохожестью тех, кто любит паханствовать. Из зависти и в отместку его начали преследовать, даже избили. Когда я дозвонился до него и спросил, чем он занимается, невесело ответил: «Бомжую...» А потом прислал мне две дискеты со стихами – одно лучше другого...

Такие люди иногда валяются на дорогах.

Но такие поэты-самородки на дороге не валяются».

* * *

Звук запоздалой сирены
Вряд ли услышат во мгле
Девочка, вскрывшая вены,
Мальчик, повисший в петле.

Выросли травкою сорной
Там, где одно воронье.
Трудно в стране беспризорной
Выжить изгоям её.

Жалко глядит понедельник,
Вторник по-прежнему сер.

Мама в отсутствие денег,
Папа в утробе галер.

В небе не слышится грома,
Лиха в себе не буди.
Чудище обло, огромно,
Ходит с крестом на груди.

Выдохну ночью тревожно,
Крикну в бреду и во сне:
«Родина, жить невозможно
В этой безумной стране!»

Ты продала свою славу,
Спутала нечет и чёт.
Мальчик глотает отраву,
Девочка бритву берёт.

Радуюсь травке-гашишу,
Падая в бездну без сил,
Я ли на чёрную крышу
В думах своих не ходил?

Так же вот бились о стену,
И пропадали в хуле
Девочка, вскрывшая вену,
Мальчик, повисший в петле.

* * *

Слова забываю. И путаю числа.
Но я понимаю – в них не было смысла.

Сгорай же в печи заповедная книга!
Ты хуже татаро-монгольского ига!

Я понял вчера на родимом причале,
Зачем эти дали так долго молчали.

Я всё понимаю легко и сурово.
Но больше ни крика. Ни стопа. Ни слова.

Прощай же навеки тетрадь со стихами.
Мой голос заблудший стихает, стихает.

И даже молитва всё глуше и глуше
За милую душу. За милую душу.

А БЫЛА...

...а была одна разруха.
Свет звезды уже погас,
И неслышимо для слуха
Приближался смертный час.

Мой сосед носил бумагу
Со словами: «Всюду жуть.
Я мечтаю по ГУЛАГу,
И прошу его вернуть!»

А ещё была усталость,
Много горя и вина...
И, как печень, распадалась
Вся огромная страна.

* * *

А ты, что ждала над водой Иртыша,
Ты помнишь ли, как обмирает душа,
Над льдами холодными, словно латынь,
Над мхами поверженных русских святынь?
Ты помнишь, как женщины плачут в ночи,
Как кровь проливают в Кремле палачи;
Как вера и слава идёт на распыл?
Ты помнишь, родная? А я позабыл.
Во мне и повсюду – безмолвье и тишь,
Я знать не хочу про замёрзший Иртыш;

Я умер, родная, я сплю и молчу,
И вашей России я знать не хочу.

* * *

Боже правый! Пропадаю!
Жизнь пускаю на распыл.
И не помню, и не знаю –
Как я жил и кем я был.
То ли был бродягой, вором,
Жалкой похотью хлюста,
То ли я, как чёрный ворон,
Не оплакал смерть Христа.
У прощального причала
Полыхает вечный свет!
Нет конца и нет начала,
Середины тоже нет...
И как жертвенная треба,
Я на призрачном торгу
Всё расплачиваюсь с небом,
Расплатиться не могу.

* * *

Боль запоздалая. Совесть невнятная.
Тьма над страной, но мысли темней.
Что же ты, Родина невероятная,
Переселяешься в область теней?

Не уходи, оставайся, пожалуйста,
Мёрзни на холоде, мокни в дожди,
Падай и ври, притворяйся и жалуйся,
Только, пожалуйста, не уходи.

Родина милая! В страхе и ярости
Дай разобраться во всём самому...
Или и я обречён по ментальности
Камень привязывать к шее Муму?

Плещется речка и в утреннем мареве
Прямо ко мне чей-то голос летит:
«Надо убить не собаку, а барыню,
Ваня Тургенев поймёт и простит».

* * *

Было очень легко, было грустно и – ах!
Ты была сумасшедшей и кроткой.
На четыре пустыни рассыпался страх,
Не сумев устоять перед водкой.

Два гранёных стакана. Прилив и отлив
Невозможной любви и измены.
Словно Овод, решётку тюрьмы распилив,
Возвратился в объятия Джеммы.

За окошком ненастье, беда и разбой.
Кто-то дышит и ждёт за стеною.
«Я не знаю, любимый, что будет с тобой,
Я не знаю, что будет со мною!»

Откликаюсь, шепчу: «Ты беду не пророчь!»
Обнимаю покорное тело.
И летит, как стрела, августовская ночь,
Словно ночь накануне расстрела.

* * *

В тот день, когда прощальный август
Замрёт на губительной меже,
В последний раз метнётся Фауст
За тем, что продано уже.

Бледнея встанут святотатцы
И под позёмкою ворон
В последний раз вопьются пальцы
В оклады стареньких икон.

И в тот же час охватит сушу
Высоким гибельным огнём.
И мы, не продавшие душу,
Среди небес захолонём.

Во тьму тартар идут убийцы,
И тот, кто грабил без стыда,
И тот, кто мог за них молиться,
Но не молился никогда.

ВДОХНОВЕНИЕ

Я к тебе заглянул на проруху,
Но следов не увидел нигде.
Ты пропала. Ни слуху, ни духу,
Ни петли, ни кругов на воде.

В тёмной комнате тихо и снуло,
Только чайник открытый зевал.
Никого! Как корова слизнула!
Словно дьявол в гостях побывал.

Твои кошки за двери просились,
Под накидкой кричал какаду.
А в тетради слова шевелились,
Словно волосы русских в аду.

Строки выли от злости и боли,
Не желали жалеть и любить...
И в тетрадь, как на минное поле,
Мне уже не хотелось входить.

Я отпрянул и выдохнул: «Боги!
Это строки пропащей страны!»
Подкосились усталые ноги,
И я долго сидел у стены.

Но стена надо мной зашаталась,
И страна зашаталась за ней...
Это ты из стихов выбиралась,
Как гадюка из кожи своей.

И, дрожа нагишом под луною,
Прошептала ты с детской виной:
«Я не помню, что было со мною,
Ты не знаешь, что было со мной?»

* * *

Вера – не вера, и слава – не слава.
Бедный рассудок ничтожней нуля.
Зеркало крестится слева направо,
Будто бы в нём отражаюсь не я.

Мечется разум во имя наживы,
Мчатся олени, кружится планктон...
Все мы захвачены танцами Шивы,
Даже когда не танцует никто.

Кто я? Зачем я весь вечер вздыхаю?
Что я увидеть пытаюсь во мгле?
Господи! Господи! Не понимаю,
Что происходит на этой земле!

* * *

Ждала. Так ждут теперь едва ли.
Час ожидания – словно век.
Не часто тьму такой печали
Осилить может человек.

Ждала – высокая, большая,
Хранила прошлое в душе,
В забытом мире воскрешая
Всё то, что умерло уже.

Ждала, не думая о хлебе,
Ждала, как света ждут во мгле.
Но ты ждала меня на небе,
А надо было на земле.

* * *

Живу на грани истерии,
За гранью трезвого ума.
Мои награды словно гири,
Моя известность как тюрьма.

Хожу по саду туча тучей,
Про неизбывное пою.
Как одинокий Фёдор Тютчев,
Врагам руки не подаю.

Курю. Над вечностью зеваю.
Молюсь. Вздыхаю: «Боже мой!»
И рот беззубый прикрываю
Привыкшей к этому рукой.

Не до стихов мне, не до прозы.
Но свято верует жена,
Что для меня сажает розы
Моя грядущая страна.

Она мне дарит ненароком
Надежды глупые, как сны,
И говорит со мной, как с Богом
Той самой завтрашней страны.

ИОСИФ

Был звёздный час. Был час прощальный.
Горела вещая звезда.
Иосиф, старый и печальный,
Был ростом меньше, чем всегда.

Он и робел, и запинаясь,
Не зная толком, что сказать.
Он так устал, и так боялся
Марию к Богу ревновать.

Она, любимая, светилась,
Как дети светятся во сне,
И ниже уха жилка билась,
Живая жилка, как у всех.

То головой она качала,
То тихо плакала во мгле...
Иосиф видел в ней начало
Всего, что будет на земле.

И звёздный час был час прощальный.
Младенцу было меньше дня.
Но кто же выдохнул печально:
– Пошто оставил ты меня?

Никто тот голос не услышал.
Вздыхнул Иосиф: – Ничего... –
И встал с колен, и тихо вышел,
Как будто не было его.

КРУГИ

Под глазами круги, словно адовы круги,
Лукоморье пропало в моей бороде.
Я один на земле. Все друзья и подруги
Разошлись в темноте, как круги по воде.

Двадцать лет темнота над родимой землёю,
Я, как дым из трубы, ещё пробую высь...
Но кремнистый мой путь затянулся петлёю,
И звезда со звездою навек разошлись.

Истощилось в писаньях духовное брашно,
Я устал и остыл. Я лежу на печи.
Умирать на земле мне почти и не страшно,
Но весь ужас скрывается в этом «почти»...

* * *

Милый брате Аввакуме,
Повторилось всё у нас.
Птица-ворон веет в думе,
Рвёт на части Божий глас.

Вновь везде никониане,
Торжество мирского зла...
Возрождается в тумане
Тень двуглавого орла.

Всё, как есть, исчадь ада
В древний Кремль забралось...
Русь в конвульсиях распада
Доживает на «авось».

В богохульствии да глуме,
В колдовстве да ворожбе...
Милый брате Аввакуме,
Забери меня к себе.

* * *

Не хочу людей жалеть,
Не могу Отчизну славить.
Больше нечего желать,
Больше нечего добавить.

* * *

Оказалась мёртвой Родина.
Как ни взглянешь – всё тоска.
На цепи сидит юродивый,
Строит замки из песка.

Одесную тьма шевелится,
А за тьмою блеск и шик.
Скоро память перемелется,
Пар поднимется, как «пшик».

Всё предсказано, измерено.
Как всегда, под звон оков,
Крысы выстроят империю,
Гимн напишет Михалков.

* * *

Поздно руки вздымать и ночами вздыхать.
Этот мир повторяет былые уроки.
Всюду лица, которым на всё наплевать,
Всюду речь, у которой чужие истоки.

Я закрою глаза, я закроюсь рукой,
Закричу в темноте Гефсиманского сада:
– Если стала Россия навеки такой,
То не надо России... Не надо... Не надо.

Перепуганный насмерть, забытый в ночи
Посреди иудейского вечного царства
Я пойму перед смертью: кричи не кричи,
А придётся пройти через эти мытарства.

Что ж, идите, идите к подножью Креста,
По такому знакомому следу мессии...
Было грустно, евреи, вам после Христа,
Погрустите немного и после России.

* * *

Разбит мой мир, растоптан и подавлен,
И, в ожиданье Божьего суда,
Я, как свеча, над родиной поставлен,
Чтобы сгореть от вечного стыда.

ШИНЕЛЬ

Когда по родине метель
Неслась как сивка-бурка,
Я снял с Башмачкина шинель
В потёмках Петербурга.
Была шинелька хороша,
Как раз – и мне, и внукам.
Но начинала в ней душа
Хождение по мукам.
Я вспоминаю с «ох» и «ух»
Ту страшную обновку.
Я зарубил в ней двух старух
И отнял Кистенёвку.
Шинель вела меня во тьму,
В капканы, в паутину.
Я в ней ходил топить Муму
И мучить Катерину.
Я в ней, на радость воронью,
Лежал в кровище немо,
Но пулей царскую семью
Потом спровадил в небо.
Я в ней любил дрова рубить
И петли вить на шее.
Мне страшно дальше говорить,
Но жить ещё страшнее.
Над прахом вечного огня,
Над скрипом пыльной плахи,
Всё больше веруют в меня
Воры и патриархи!
Никто не знает на земле,
Кого когда раздели,
Что это я сижу в Кремле
В украденной шинели.

* * *

Я жить хочу. Я умирать не стану.
Я всех чертей из дома разгоню.
И на рассвете, как травинка, встану,
И никого ни в чём не обвиню.

Я жить хочу, хотя и не умею...
Но, став травинкой, видимо, смогу.
И осенью спокойно пожелтею,
Как все другие травы на лугу.

А что душа? Душа душою будет.
И тихо воспаряя надо мной,
Она грехи навеки позабудет,
Как боль и страх – излеченный больной.

* * *

Я устал от тоски. Я не сплю.
Я стою у окна. Замерзаю.
Боже мой! Как я мир не люблю,
Как устройство его презираю!
За окошком взбесившийся век
Пожирает родную планету.
И поверить, что я – человек,
Всё труднее бывает к рассвету.

ФРАН ЛЕВСТИК – ПАТРИОТ СЛОВЕНИИ

Имя Франа Левстика (1831-1887) хорошо известно в Словении. Он плодотворно работал в области литературы, языкознания, журналистики, театра, занимался политикой. В истории литературы он остался как родоначальник словенской критики либерального направления, что было крайне важно в те времена для прогресса словенской культурной и общественно-политической жизни. Создал программу развития словенской литературы на вторую половину XIX в. Он написал ряд прозаических произведений, ставших классикой словенской литературы: «Мартин Крпан», «Путешествие из Литии до Чатежа», «Ошибки словенского правописания». Был хорошим переводчиком. Знал много языков. Работал ведущим сотрудником общественно-политических и сатирических газет. Формировал общественно-политическое мнение. Стал лидером «младословенцев» – движения прогрессивно настроенной молодёжи, которая его в прямом смысле слова носила на руках. Словенский поэт Йосип Цимперман написал о нём: «Воспламенял отечества ты души страстно, // Путь просвещения им указал бесстрашно». Хочется подчеркнуть, что словенцы особенно чтут его заслуги как общественного деятеля и специалиста в области словенского языкознания, благодаря усилиям которого словенский язык не был ими утрачен в условиях поглощения языков малых народов большими: германскими, романскими и другими.

Как поэт Ф. Левстик известен гораздо хуже: из-за преследований его поэтической музы догматически настроенными католическими клерикалами того времени ему часто приходилось публиковать свои произведения под разными псевдонимами. Несмотря на это, он был предан Богу и писал об этом в своих стихах. Его любовная лирика стала новаторской благодаря прозвучавшей в ней эротичности, что тогда не приветствовалось и было новым для

читателей. Сатирические стихотворения высмеивали пороки его врагов, несмотря на лица. Светлыми чувствами проникнуты его стихи, посвященные родной Словении. Писал он и стихи о детях и для детей. Способствовал развитию талантливых молодых людей. Своими переводами знакомил их с лучшими произведениями русской и мировой литературы. На его произведения написаны песни и другие музыкальные произведения, входящие в репертуар современных творческих коллективов. Они пользуются популярностью у публики. Словенцы чтут его память. Торжественно отмечают его юбилейные даты. Ходят в походы по памятным местам, связанным с именем Франа Левстика. Учёные изучают его жизнь и творчество, собираются на симпозиумы и другие научные мероприятия, посвящённые актуальности его жизнедеятельности для словенского самосознания и независимой Республики Словении. Ф. Левстик внёс весомый вклад в развитие словенского языка, литературы и самоидентификацию словенского народа. Его идеи указывают путь словенцам и в наши дни. Он остался в народной памяти как символ мужественности и героической борьбы.

Предлагаем вниманию читателей и критиков переводы его стихотворений, недавно сделанные **Е.Степановой**.

ТОСКА ПО РОДИНЕ

Словенская земля, с тобой я сердцем,
Стремится оно в горы навсегда,
Где жизнь текла среди друзей с весельем,
Где моих предков милая земля!

Там в золоте цветов осталась юность,
Там сердце озарилось счастьем грёз,
Там на родной земле познал я радость,
Хоть и была она мокра от слёз.

УВЯЛ БУКЕТ ЦВЕТОВ

Цветы увядшие лежат пред мной,
Подарок из руки благой;
Вокруг букета прядь
Волос прекраснейшей из дев;
Она их обвила рукой своей,
Так сжали сердце мне, что не могу их снять!

Увядшие цветы целую я.
На волосах – слеза моя;
Нельзя забыть минут,
Когда я на неё смотрел,
В цепях любви был предан ей, –
Но время пронеслось, минут тех не вернуть!

КОГДА?

Когда тебя увижу вновь, Любляна,
Словенская избранница, невеста!
Когда примчит железная дорога
Меня к тебе под стены замка прямо?

Увижу ли знакомые мне лица,
Которыми наполнен древний город,
К сердцам друзей прижму ли сердце вскоре,
Что от вражды спасла мне их столица?

Когда увижу снова вид родимый:
Гореньскую¹ с холмами и церквями,
С деревьями и лесом под горами.

Когда перед тобой склонюсь, о Сава?!
Течёшь у дома девушки любимой
И мимо катишь воды величаво!

¹ Гореньска – регион на территории исторической области Верхняя Крайна в Словении со столицей в г. Крањ.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Один. Не сплю, свеча моя горит;
Шум мельничного колеса я слышу;
Лежит деревня мирно, замок спит,
В спокойствии становится всё тише.

Сердечная подруга, сладко спи,
Небесный мир тебя пусть наполняет!
Закрой блаженно очи и засни,
Моя душа с тобою отдыхает!

Впервые женщину поцеловал;
Во мне от радости горит желанье,
И тянется к мечу скорей рука,
Чтобы весельем разрешить терзанья!

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Время золотой поры,
Мне заря ещё светила,
Девушка меня любила,
О, те дни давно прошли!

У звезды хотел спросить:
Где моё бывшее счастье?
Никогда звезда не гаснет.
С неба смотрит и молчит.

Я спросил зарю тогда,
Когда белый день проснулся,
В полдень у лучей спросил я,
В полночь, лишь спустилась тьма.

О, мои святые дни,
Мне заря тогда светила,
Девушка меня любила,
Эти дни давно прошли!

МОЛИТВА КРЕСТЬЯНСКОГО МАЛЬЧИКА

Иисус, вверху там
В золотом пределе
Святой держишь крест
С ангелами небес.
В брюках я впервые,
Возношу молитву:
Дай здоровья маме,
Она будит рано,
Чешет, умывает,
Шьёт рубашечку мне,
Яблоки нарежет,
Кормит меня хлебом,
Молочка дает пить,
Так что мне хватает.

Направляй, Господи,
Моего отца там,
Где он только ходит,
Он телят пастись гнал,
Чтоб росли скорее,
За село на пашню.
Прутья мне срезает;
Дудку обещает;
Обувь покупает,
Кнут плетёт пеньковый:
Я учусь хлестать им
По колоде бойко;
Мельницу построил
На ручье за домом;
Чагу мне приносит;
Птичек мне поймает:
Крапчатых и жёлтых,
Пёстрых и зелёных,
Мне шмелей покажет,
Не обманывает. –

Ходим вместе в лес мы,
Там в земле пещеры,
Зайцы и лисицы,
И лесные птицы,
Волки и медведи,
Пастухам соседи.
Если медведь Яша
К нам вдруг пришагает,
Папа так прогонит,
Что сбежит от страха.
Если волк нагрянет,
Палкою ударит,
Так что зверь побитый
В чаще леса сгинет.

Сделай так ещё Ты,
Чтобы были сыты
Братики и сёстры,
Тётенки и дяди!
А во-первых, Боже,
Дай мне сливок в клецки!

Елена Степанова окончила славянское отделение филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1978 г. Преподавала болгарский и русский языки. Переводила научно-популярную литературу с английского, словенского, сербского, болгарского языков.

Автор книг «Глоттометрия: Применение к исследованию рассказов Йордана Радичкова и их русских переводов» (М., URSS, 2019), «Франце Прешерн. Жизнь и творчество» (Спб.: Алетейя, 2017), двух сборников стихов и нескольких научных статей о Ф. Прешерне, И.И. Срезневском, про кодификацию словацкого литературного языка и деятелях славянского Возрождения, а также об участии словенцев в Первой мировой войне и др.

Живёт в Москве

Давид ГАЙ

ПИСЬМА, НЕ НАШЕДШИЕ АДРЕСАТА

Одна из скорбных страниц войны

Вернувшись после окончания войны в родной Минск, он с вокзала немедля направился в свой дом на Совхозной улице. В доме после его ухода на фронт оставались жена и трое деток. Гнетущее чувство непоправимой беды подгоняло его. До него уже доходили сведения о том, что происходило в городе при немцах, слово «гетто» отзывалось глухой фантомной болью, словно он сам, Авсей Лупьян, не прошел всю войну в составе героической 100-й стрелковой дивизии, а потом 1-го гвардейского механизированного корпуса генерала Руссиянова, а находился в еврейском районе, добывал скудное пропитание, прятался с близкими в «малинах», чтобы не попасть под акцию уничтожения, рискуя жизнью, помогал подпольщикам... Он не знал, что такое гетто, ни одного письма, ни одной весточки от родных он не получил за все четыре года. Он лишь *догадывался*. И гоня страшные мысли, в короткие часы отдыха между боями писал на клочках бумаги поздравительные письма детям в дни их рождений. Все четыре года они были для Авсея живыми. Письма не отправлял, ибо знал – Минск в руках гитлеровцев, они хранились в кармане гимнастерки и в полевой сумке вместе с дорогими фотографиями.

Сейчас, в часе дороги от вокзала до родного дома, минуя сторевшие, разоренные жилища, он готовился к худшему. Изгнать тревогу он был не в силах.

Предчувствие не обмануло: в выморочном доме он не нашел никого. Он бродил по пустым холодным комнатам, и ему мерещились призраки, казалось: вот сейчас выбежит навстречу жена Сара, кинутся к нему повзрослевшие дети... Когда он уходил на фронт, Рачке было девять, Лёне и Фимочке соответственно пять и три годи-

ка. Раечка проявляла музыкальные способности, родители купили ей пианино...

Дом был пуст. Никто Авсея не встречал. Призраки оставались призраками. Он спустился в подвал. И здесь на глаза ему попались детские башмачки – это было все, что осталось от детей. Схватило сердце, он прижался к деревянной балке и так простоял несколько минут, пытаясь унять острую боль.

Осенью 1989 года семья Лупьянов покидала Минск и уезжала в эмиграцию. Предварительно были сданы в багаж три ящика с вещами, посудой и пр. Таможенник при проверке увидел коробку с надписью «Разное». Начал копаться и обнаружил в целлофановом пакете полуистлевшие детские башмачки. Те самые, тщательно хранимые более сорока лет. «Это что за хламье?» – спросил он. Ему объяснили. У таможенника расширились глаза, и он примолк. Может, еще и поэтому при дальнейшем осмотре ни к чему не придрался...

*Мы последние дети последней войны.
Нас уже не слышать, мы уже откричали.
Не жалейте, вы нам ничего не должны.
Да останутся с нами все наши печали!*

Г. Русаков

... Спустя некоторое время Лупьян решил опросить соседей из сохранившихся окрест домов: может, кто-нибудь что-то вспомнит, расскажет... В соседнем доме жила семья арестованного полиция. Авсей увидел через окно пианино, купленное перед войной Раечке. Все в нем перевернулось, гнев застил глаза, он вынул пистолет. Фронтной друг схватил его за руку: «Не надо! Ты прошел фронт, встретил Победу, уже мирная жизнь, неужели ты хочешь сесть в тюрьму за убийство?!»

Авсей потом писал во все инстанции, требуя вернуть пианино, к клавишам которого прикасались пальцы дочери. Тщетно... «Докажите, что это ваше пианино», – чиновничья бездушная отписка.

Судьба Лупьяна повторяет тысячи подобных судеб. Потерявшие близких в войну, люди эти находили смысл жизни, заключая

новые браки, рожая детей. Авсею повезло – его новый союз с Цилей Ботвинник оказался прочным. Это была любовь двух исстрадавшихся сердец. Судеб скрещенье. Циля потеряла в гетто ребенка. Она стала одной из заметных фигур еврейского подполья и рельсовой партизанской войны.

Я познакомился с этой семьей в 1986 году в Минске, куда регулярно приезжал собирать материалы о задуманной книге, посвященной жизни, борьбе и гибели Минского гетто. (Книга «Десятый круг» вышла в свет ровно 30 лет назад в Москве, в издательстве «Советский писатель», переведена на английский язык и издана в США).

Авсея, увы, я не застал в живых – он скончался за три года до моего знакомства с его семьей. Щемящий эпизод рассказал мне его сын Ян, ставший известным врачом.

«...За два часа до смерти у отца, перенесшего третий инфаркт, резко упало давление. Я ввел отцу нужное лекарство, он порозовел. «Есть Бог на свете, раз я пришел в себя», – прошептал он. Но тут же добавил: «Нет, все-таки Бога нет. Если бы он был, то уничтожил бы Гитлера, а не моих малышей». Умирая, он вспоминал своих троих деток, погребенных в гетто...»

Циля Лупьян (Ботвинник) ушла из жизни в возрасте 98 лет. Всевышний подарил ей долголетие – она жила за тех, кто остался в печальной памяти минской «Яме», в специально вырытых рвах, был засыпан землей без прощальных еврейских молитв, и последнее, что слышал, – сухие беспощадные автоматные очереди. В последние часы, придя в сознание после операции, Циля вспоминала свою пропавшую дочку, ради спасения отданную из гетто в «русский» район Минска, чья судьба по сию пору неизвестна. В один момент ей погрезилось, что возле кровати сидит не старший сын Семен, а ее пропавший без вести на фронте первый муж, и она спросила: «Лева, ты нашел ее?..

Удивительная магия дат, «рождений и агоний начала и концы». Авсей появился на свет 7 декабря 1911-го, умер 23 декабря 1983-го, Циля родилась 14 декабря 1917-го, покинула земную юдоль 24 декабря 2015-го. И все в один месяц, последний в году, как бы подводящий итоги. Отец умер, когда Яну исполнилось 32, когда ушла мама – он был ровно в два раза старше.

Общаясь с этой замечательной семьей, я услышал истории, поведавшие Цилей и ее и Авсея сыновьями Семеном и Яном. Я переживал их как свои собственные, случившиеся со мной, они откладывались особым грузом, я персонифицировал их, представлял себя то вытаскивающим раненых с поля боя, как Авсей, то, как Циля, тайно передающим партизанам собранные в оружейной мастерской гетто винтовки и пистолеты, участвующим в подрыве эшелонов с немецкими солдатами и военной техникой. И вспоминались стихи Эренбурга:

*К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?*

«Отец прошел всю войну в составе корпуса Руссиянова. Был контужен. Отдавал солдатам махорку и «наркомовские сто граммов» водки – он не только не курил, но и не пил. В первый год войны отец был санитарным инструктором, спасал раненых. В последние год-полтора ведал снабжением солдатской полевой кухни. Для этой цели использовались лошади и грузовики. Однажды зимой отец попал под бомбежку. Водителя полуторки убило. Отцу повезло – на нем был тулуп, осколок пробил овчину, не затронув тело. Но его сильно контузило. Когда пришел в сознание, увидел оторванные части тела водителя. На какой-то период потерял слух. Отец потом долго носил с собой этот осколок как напоминание о том, что находился на волосок от гибели.

Однажды случилось ЧП. Отец привез мешки с продовольствием на кухню. Стало известно, что командир полка лично проверит, чем и как кормят солдат. В одном мешке отец случайно обнаружил вместо перловки... деревянные сапожные гвоздики. Повар мог не заметить и сварить кашу вместе с гвоздиками. По законам военного времени могло закончиться весьма печально. К счастью, обошлось.

Отец рассказывал, что в 1945-м некоторое время исполнял обязанности военного коменданта небольшого австрийского городка. Однажды на улице он и солдат сопровождения увидели брошенную немецкую машину. Водить отец не умел. Остановил какого-то австрийца и приказал: «Вези нас в часть!» На остановке водитель

попросился в туалет и исчез. Мимо проезжал велосипедист. Отец остановил его и неожиданно предложил: «Давай меняться!» Тот опешил. Не подчиниться советскому офицеру не мог, к тому же обмен выглядел явно в его пользу. Велосипедист уехал на машине, отец с солдатом – на велосипеде».

А вот что вспоминала Циля Ботвинник:



«Жесткий разговор произошел у меня в Минском обкоме сразу после войны. Меня вызвали для восстановления в рядах партии – свой партбилет я уничтожила в гетто. Попала на прием к какому-то чиновнику. Зачитав мой послужной партизанский список, он произнес с издевкой: «Здесь описаны такие заслуги, что возникает вопрос: почему у вас нет звезды Героя?» Внутри царапнуло – орден Ленина, к которому меня представили, я так и не получила. Не стала лезть за словом в карман, а прямо, без обиняков: «Моя звезда, как и орден Ленина, висят на вашей груди» – «Как так?» – не понял чиновник. – «А что, вы разве не знаете про лимиты для евреев?» Он был взбешен, и я ушла ни с чем. Но вскоре меня восстановили в партии....

И вновь рассказы возвращали к детским башмачкам, найденным

в полуразрушенном доме на Совхозной улице, и к поздравительным письмам, написанным и не отправленным адресатам. Авсей никогда никому не показывал листочки, исписанные химическим карандашом. Их случайно обнаружил Ян-школьник. Разобрать написанное было нелегко – время не пощадило полуистлевшие листочки. По его словам, это было сильнейшее потрясение. Отец предстал в совершенно новом качестве, стал еще более близким.

Вот что писал Авсей с фронта. Стиль, орфография и пунктуация сохранены полностью.

«4 сентября 1941.

Вчера я отметил день рождения моего любимого сына Леонида. Купил молоко и вместо водки угостил друзей.

Дорогой сын Леонид! Изверг Гитлер ... (неразборчиво). Не знаю, увидим ли мы друг друга. Но любовь моя к тебе, дорогой Лёня, – безгранична, так же как и к остальным нашим членам семьи. Это он людоед Гитлер уничтожил безвинных малюток детей. Это он мерзавец Гитлер поджигает наши дома, города...

Прошу эту записку передать по адресу: Минск, Совхозная 12-1 Лупьянам».

В письме дочери Раечке он пишет, как родители связывали надежды с ее учебой. *«И вот 22 июня банды гитлеровцев напали на нашу страну. Они уничтожили твою замечательную 17-ю школу, в которой ты училась. Они уничтожили пионерский дворец – гордость Болоруссии. Они уничтожили детский кинотеатр, который ты часто посещала. Они уничтожили и тебя, твою любимую маму, твоих братьев Лёнечку, Фиму, твоих дядь т тетя... И за все это милая дочь я (неразборчиво) мстить врагу за всех вас».*

«Дорогой Лёнечка! Если тебе удастся остаться в живых и быть (неразборчиво)... Желаю тебе долгие годы расти на радость твоих родителей. Вырасти и отомсти гитлеровской банде за наше разоренье, за наших сирот.

Целую тебя дорогой сынок.

Твой отец, Авсей Лупьян

дер. Пуцьково (неразборчиво) область

За твое уничтожение до последней минуты своей жизни я буду

мстить.

*Прощай, дорогой сынок.
До скорого свидания.
Любящий тебя твой отец.
7/3 42»*

Фимуся

*Я не забуду тебя сынок. Я отомщу за тебя. До конца этой
страшной войны не убудут в сердце месть и злоба к убийцам твоим.
Прощай сынок.
7/3 43 - 7/3 38»*

Перечитываю немудреные послания и понимаю: Авсей Лупьян точно не знал, что случилось с его семьей, но тяжелые предчувствия не оставляли его все фронтовые годы. Весточки детям помогали жить и бороться, рождали робкую, трепетную, как пламя свечи, надежду.

Память о родителях несут сыновья. Оба известные в Нью-Йорке доктора. У Семена двое детей, пятеро внуков, у Яна – тоже двое детей и четыре внука. Я горжусь дружбой с ними, ибо они помогли мне прикоснуться к щемящему и светлому, без чего наша жизнь обесценивается..

Еще по этой теме:

Давид Гай

ПЕРЕБИРАЯ ГОДЫ ПОИМЕННО...

История одной семьи
(на русском и английском)

Нью-Йорк, 2016

Юрий СОЛОДКИН

ИОВ

*Мне в самую проникнуть суть бы,
И пару слов сказать Тому,
Кто пишет в книгу наши судьбы,
Непостижимые уму.*

Из книги автора «Если вкратце...»

*...Варшавское гетто погибает с боем, с вы-
стрелами, с борьбой, в пламени, но без воплей.
Евреи не кричат от ужаса. Они принимают
смерть как избавителя.*

*...Я положу бумагу, на которой пишу теперь, в
бутылку и спрячу её между кирпичами. И если
когда-нибудь кто-нибудь найдёт её и про-
чтёт, быть может, он поймёт чувства еврея,
одного из миллионов, который умер, покину-
тый Богом, в которого он так верит.*

*...Мое отношение к Нему больше не отно-
шение раба к своему господину, а отношение
ученика к учителю. Я склоняю голову перед Его
величием, но не буду целовать палку, которой
Он подвергает меня наказанию.*

Рабби Йосель Раковер,

28 апреля 1943 г.

*(из записки, найденной в руинах
Варшавского гетто)*

1

В стране, которой нет давным-давно,
Не царь, не рыцарь, но богат не в меру,
Он верил в то, что Богом всё дано.
Ничто не омрачало эту веру.

Семь тысяч у него в стадах овец,
Три тысячи верблюдов на просторе.
Своим он детям любящий отец,
И праведно живёт во всём по Торе.

Пятьсот рабов не ведали плетей.
О доброте его молва гудела.
И не было окрест его святей,
И славословьям не было предела.

Три дочери. На свете нет милей.
Семь сыновей, один другого краше.
Любуйся ими и от счастья млей.
Не в наших детях разве счастье наше!

Ещё грешны по молодости лет,
Пируют и по глупости злословят,
И удержу от грешных мыслей нет,
И кайф они в утехах плотских ловят.

Иов учил детей по мере сил,
Что праведной должна быть их дорога,
И жертвы всесожженья приносил,
Чтоб им прощенье получить от Бога.

2

Архангелы дают отчёт
На совещании у Бога,
Что в мире, где и как течёт,
И Бога чтут насколько строго.

Полно для Бога новостей,
Их сообщают без изъятий.
Людских немерено страстей,
И славословий и проклятий.

– А ты чего молчишь, Сатан.
Указ тебе был мною дан
С проверкой обойти всю Землю.
Тебе я с нетерпеньем внемлю.

Сатан архангел непростой,
Он для особых поручений.
Не склонен к болтовне пустой,
И мастер пыток и мучений.

– Да всё в порядке, Господин.
У иудеев Ты один,
А у других не перечесть
Все божества, какие есть.

– Благодарю. Рассказ не нов.
Другим пока что не со мною
Идти дорогою земною.
А как мой верный раб Иов?

Уже не молод, стал седым?
С детьми, я слышал, нету сладу.
От жертв его вдыхаю дым.
Он их сжигает мне в усладу.

– Иов богат, Иов здоров,
И праведно живёт Иов.
Без терний вся его дорога.
Как тут не возвеличить Бога!

Не знал он горестей и бед,
Вот и к Тебе претензий нет.

А испытай его бедой,
И возопит раб верный твой.

А дальше было, спор-неспор,
Но завершился разговор
Тем, что Иов Сатану дан,
И начал действовать Сатан.

3

В соседстве жили иудеи –
Там савеяне, здесь халдеи.
Вопросы мирно все решали,
Границ чужих не нарушали.

Но миру вдруг пришёл конец.
Соседи, что друзьями были,
Угнали скот – быков, овец,
И пастухов всех перебили.

А следом дикий крик и плач.
Сатан устроил пытку эту.
Он был с рождения палач,
И жалости в нём капли нету.

Своих и братьев и сестёр
Собрал на праздник брат их старший.
И превратился дом в костёр
От молнии, убийцей ставшей.

И рухнул дом, и всех накрыл.
Как пережить Иову это?
Одежды рвал и зверем выл.
За что? И нет ему ответа.

– Нагим родился я на свет,
Нагим уйду в конце дороги.

Бог дал, Бог взял – вот весь ответ.
Не усомнюсь и ныне в Боге.

4

Иова не сломило горе.
Но всё ещё Сатана власть.
Обрушил на Иова вскоре
Сатан ужасную напасть.

Чужая боль ничто Сатану.
Как он терзал Иова плоть!
Я спрашивать не перестану,
Зачем Твоё пари, Господь?!

Сатан придумал злодеянье –
Всё тело в язвах, зуд такой,
Чесать скребком одно желанье,
И кожу раздирать рукой.
Жена взирает на мученья:
– Доколе будешь ты терпеть.
Всё ждёшь от Господа спасенья,
Не устаёшь осанну петь.

Остались мы с тобой одни.
Господь подверг нас жутким карам.
За что? Его ты прокляни,
И мир оставь с его кошмаром.

И был жене ответ Иова.
Он это говорил не раз.
– Добро принять, так ты готова,
А зло принять, так нету нас.

Господь судим не может нами,
Неведомы Его пути,
И наш удел по ним идти,
Смирясь и не греша устами.

5

Три близких друга у Иова –
Бильдад, Цофар и Элифаз.
Он с ними пил и ел не раз,
И вот они примчались снова.
На друга, правда или бред,
Свалилось столько страшных бед?

И что увидели воочью?
Иов, их друг, как страшен он!
Похоже на ужасный сон,
Приснившийся ужасной ночью.

Одежды рвали и в печали
Семь дней сидели и молчали.

6

Вскричал Иов на день восьмой:
– Будь проклят день рожденья мой!
И моего зачатья ночь
Будь проклята, исчезни прочь.

Зачем я вышел из утробы?
Познать страданья эти чтобы?
Губами припадал к груди,
Не зная, что там впереди.

Я с каждым часом всё слабей.
Отчаявшись, молю – убей.
Злосчастному не нужен свет.
Я смерти жду, а смерти нет.

Летит мой крик, как водопад,
И мысли бьются невпопад.
Настигли боль и страх меня.
Жить дольше не хочу и дня.

7

И голос свой возвысил Элифаз:
– Иов, твой жребий ужасает нас,
И ты себя не в силах превозмочь,
И свет померк, и безысходна ночь.

Не ты ли сам страдающих учил
Одoleвать неверие и страх,
Пока свой срок земной не получил,
И плоть пока не превратилась в прах.

Быть сильными учил других всегда.
Сейчас тебя испытывает Бог.
Огромная обрушилась беда,
И ты от испытанья изнемог.

За что и почему – не твой вопрос.
Иль человек прав более, чем Бог?
Желаю я, чтоб всё ты перенёс
И одолеть немислимое смог.

Во всём, что есть, Божественного след,
В лесах и водах и во всём живом.
Источник Бог и радостей и бед.
Не усомнимся в Нём, пока живём.

8

– Твои слова понятны, Элифаз.
В поддержку мне и к Богу уваженье,
Но боль мою понять на этот раз –
Слабо, мой друг, твоё воображенье.

Непроходимы горечь и тоска.
Забыл я то, как счастлив был и весел.
Не хватит у морей и рек песка,
Чтоб тяжесть на весах уравновесил.

Мне и питьё отвратно, и еда.
В гниющих язвах изнаывает кожа.
Не знаю, чтобы чья-нибудь беда
Была бы на мою хоть чуть похожа.

Зло не творил, не осквернял уста.
В чём в жизни ошибался, объясните.
Ведь есть причина, если неспроста
Мои с Всевышним оборвались нити.

Зачем мишенью выбрал Он меня
И муками испытывает ада?
Испепелил бы враз столбом огня,
И я б исчез, искать меня не надо.

9

Тут в разговор вступил Бильдад:
– Иов, ты сам себе не рад,
И не поймёшь, за что твой дом
Наказан Божьим был судом.

Но в справедливости суда
Не усомнись ты никогда.
И что безгрешны сыновья,
Прости, но не уверен я.

Не тот безгрешен, что речист,
А тот, Иов, кто духом чист.
Молись душой, не голоси.
Его прощения проси.

Мы только родились вчера.
Всё знать нам не пришла пора.
Но есть Господь, Творец всему,
И свято верим мы Ему.

10

И отвечал Иов Бильдаду:
– Не грешен я пред Ним, Бильдад.
За что же кары мне в награду,
Как будто я последний гад.

Во мне греховность не ищи ты.
Себя, поверь мне, знаю я.
Но у кого искать защиты
В суде, где сам Господь судья?

Господь, который движет горы
И простирает небеса.
Людские что Ему укоры
И невинных голоса.

Наш путь коварный и тернистый.
Как знать, кто грешен был, кто свят.
Кто нечестивый был, кто чистый –
Все оправдаться норовят.
Я в страхе от моих страданий,
Но глух к словам моим Господь.
Моих не слышит оправданий.
Убиты дети, в язвах плоть.

И дней моих уже немного.
Исчезну я в кромешной мгле.
Кто я, чтоб зло иметь на Бога?
Всему Отец Он на Земле.

11

Цофар, молчавший до сих пор,
Продолжил этот разговор.
– Безгрешен, верю, ты, Иов,
Но тонут мысли в море слов.

Жесток безумно этот час.
Страдаешь ты необычайно.
Но мудрость Божия для нас
Неоткрываемая тайна.

Ты добродушен и речист.
Считаешь, что кристально чист,
Но не познаешь до конца
Ты мудрость нашего Отца.
Тебя пытаются на излом.
Всё на тебя свалилось разом.
Но то, что над добром и злом,
Скрывает в тайне Высший Разум.

Печальный подводя итог,
В самом себе ищи смирение.
И вечной тайной будет Бог,
А наша жизнь – одно мгновенье.

12

– Умны вы в рассужденьях и хитры –
Пусть Бог наполнит дней моих остатки.
Но почему грабителей шатры
Благополучны, и всего в достатке?

Не знаем, что за судьбы нам даны.
Слепые, как котята, мы с рожденья,
И перед властью Бога все равны –
Заблудший и вводящий в заблужденье.

Глубокое рождается из тьмы,
Высокое рождается из света.
И во плоти явились миру мы,
И вместе говорим сейчас про это.
Что вам известно, то известно мне,
И вам, друзья, не надо быть врачами.

Для дум о Боге времени вдвойне,
Не только днями, но ещё ночами.

Я не боюсь в суде предстать пред Ним.
Сомнений нет, мой путь земной измерен.
Задам вопрос, за что я был гоним?
Ложь о себе развеять я намерен.

Зубами я в свою вгрызаюсь плоть,
И в кулаке свою сжимаю душу.
Хоть я презренный раб, а Он Господь,
Пред Ним не онемею и не струшу.

13

На этот раз Иову парой фраз
Попробовал ответить Элифаз.
– Без мудрости познания пусты,
И помыслы без веры не чисты.

Я слушал всё внимательно, Иов.
Сказал ты много бесполезных слов.
Ты страх пред Богом хочешь умалить,
Ни каяться не хочешь, ни молить.
Ведёшь себя, как будто человек
Был создан до лесов, морей и рек.
Ты пред Всевышним голову склони,
Молитвами свои наполни дни.

14

– Как будто ты не знаешь, друг,
Что так и жил я много лет.
Так что же изменилось вдруг,
И столько навалилось бед?

Не мне на Господа пенять,
Был и достаток и семья.

Имею право я понять,
Чем перед Ним виновен я?

Утешить вы пришли меня.
Не тратьте попусту труда.
Лишь только смерть, к себе маня,
Меня утешит навсегда.

Меня ты знаешь много лет.
За что мне этот жуткий рок?
Когда не знаю я ответ,
Какой от наказания прок?

Я с вами поделился вслух,
Верша земное бытиё.
В страданиях загублен дух,
И черви тело ждут моё.

15

Тут голос прозвучал Бильдада:
– У Бога спрашивать не надо,
Ты виноват, Иов, иль нет.
Получишь вряд ли ты ответ.

Повсюду вдоль земных дорог
Силки нам расставляет Бог.
Родится замысел взлететь,
А Бог набрасывает сеть.

И трудно избежать тенёт
Тому, кто по земле идёт.

Все мы грешим по временам,
И всё, что остаётся нам –
Принять, как данность, Божий гнев,
Свои сомненья одолев.

16

Иов возвысил голос свой,
И голос был похож на вой.
– Вы, – возопил к друзьям Иов, –
Вой отличаете от слов!?

В десятый раз я вопию,
Страданий диких чашу пью.
На мне проклятия печать.
За что я должен отвечать?

Я ошибаться мог вполне.
Есть тайна, скрытая во мне.
Всё, что хочу я, чтобы Бог
Её открыть бы мне помог.

Из плоти я хочу узреть
Всевышнего. И умереть.

17

На этот раз Цофар в ответ:
– Предела Божьей силе нет.
Его неимоверен труд.
Быть может, Он бывает крут.

Но наказание без греха,
Иов, такая чепуха.

Хозяин жизнью и смертей
Пасёт нас, как своих детей.
За дерзость бьёт своим ремнём.
Ответственность за нас на нём.

Он справедлив, хоть и суров.
Ты не суди Его, Иов.

18

– Меня винить пытаетесь вы зря.
Я говорю, не с вами говоря.
Я крайней точки на Земле достиг,
И вы пришли ко мне в последний миг.

Вы праведны и искренни, но всё ж
Все ваши утешения есть ложь.
Я потерял детей, я разорён.
Напасти на меня со всех сторон.

Так неужели мне не по уму
Спросить Того, кто сверху, почему?

19

И вновь возвысил голос Элифаз:
– Я повторить хочу в который раз,
Умерь, Иов, свой непокорный нрав.
Пред Богом быть никто не может прав.

Бог надо всем величье распротёр,
И бездна, что без дна, Его шатёр.
А твой вопрос – неверие Ему,
И нет тебе ответа потому.

Бог рядом и безмерно далеко,
А зло твоё, должно быть, велико.
И всем нам Бог единственный судья.
С тобою рядом мы, твои друзья.

Не раздражайся ты от наших слов,
Смирись, я вновь прошу тебя, Иов.

29

– Друг друга понимаем мы с трудом.
Я об одном твержу, вы о другом.

Я вам про то, как жизнь моя горька,
А вы про счастье Божьего зверька.

Я про бандитов, что мой скот пасут,
А вы – что их накажет Божий суд.
Злодеи веселятся на пирах,
А праведным страдания и крах.

Кому молиться и кого винить?
У разума с рассудком рвётся нить.
Стараюсь подавить в себе мой стон,
Но не могу. Наружу рвётся он.

По силам всё лишь Богу одному,
И кто из смертных возразит Ему?

21

– Ты прав, – Иова поддержал Бильдад. –
Коль с Господом случается разлад,
То смертным возражать и смех и грех.
Добром и злом Он наделяет всех.

22

– Бильдад, всё это общие слова,
А я, как видишь ты, дышу едва.
Моя душа ещё во мне пока,
Но, словно птица, рвётся в облака.

И прахом скоро станет голова,
И мёртвый рот не изречёт слова.
Гляжу я в небо, голову задрал,
И жду ответа, прав я иль не прав.

Кто знал меня, ни в чём не упрекнут.
За что, Господь, Твой беспощадный кнут?
В чём я перед Тобою согрешил,
Да так, что ты пытаться меня решил?

Не упрекну со смертного одра.
Непознанность Твоя, Господь, мудра.

Испытывает жизнь нас на излом.
Она один клубок добра со злом.
И ум нам нужен так вершить дела,
Чтоб нити различать добра и зла.

Эпилог

Воспоминанья только тронь,
И ужаснёт картина вновь.
Кровь так похожа на огонь,
И так огонь похож на кровь.

А кровь красна и в лужи льёт,
И сполохи красны огня.
И убивают пули влёт,
Пока других, а не меня.

Не снизойдёт благая весть,
Но путь ещё не пройден весь,
Пока бутылки рядом есть
И зажигательная смесь.

Вот передышка в пять минут,
И можно глянуть в синеву.
Но час-другой, и нас сомнут,
Не в страшном сне, а наяву.

И где Ты есть? Немой вопрос
Летит к далёким небесам.
Я с Торой и Талмудом рос,
И стал, как дед, рабаем сам.

Не согрешил ни разу я,
Не нарушал Твоих мицвот,

И праведной была семья.
Был счастлив. И такое вот!
Ты разве не имеешь глаз?
Неисчислим поток смертей.
Уже вдохнули смертный газ
Жена и шесть моих детей.

И это горе перенести
Не в силах я, пока живой.
Ответь мне, Боже, где Ты есть?
Поддай, прошу я, голос свой.

И гробовая тишина.
Молчит далёкий небосвод.
Восстание. Апрель. Весна.
Варшава. Сорок третий год.

Последний счёт моих минут,
А Ты безмолвен мне в ответ.
На баррикаду танки прут.
Надежды на спасенье нет.

Ты не отвёл мою беду.
Полно других имеешь дел?
Я с верою в Тебя уйду
Иль прокляну за свой удел?

Ты главным был в моей судьбе.
Я всем твердил, что ты оплот.
Молился истово Тебе.
А Ты воображенья плод!?

Прости безумность этих слов,
Но столько крови и огня,
Что целовать я не готов
Тот кнут, которым бьёшь меня.

Юрий Солодкин родился в Новосибирске за год до войны, где со временем прошёл все ступени научного сотрудника: от аспиранта до доктора технических наук, профессора. На 57-м году жизни эмигрировал в Америку, где проработал ещё 20 лет.

Немало времени Юрий Солодкин уделяет творчеству. За это время им опубликованы книги стихов «Библейские поэмы», «Если вкратце...», «Стихи по случаю», а также книги для детей «Надо знать эту знать», «Собаки», «В гостях у радуги», «Сибирские месяцы», «Угадайки», «В шутку про Мишутку».

Постоянный автор журнала «Времена».

Александр МАТЛИН

ЗАД К СТЕНКЕ

Позвонила Линда Гойберг из местной еврейской благотворительной организации «Семейное счастье».

– Привет! – говорит. – Тебе нужна помощь?

– Какая помощь?

– Любая помощь, – говорит Линда. – Ты же знаешь, это наша работа. Мы помогаем.

– Кому?

– Всем. Не только евреям. Всем, кто попросит.

– А кто просит?

– Никто не просит, – вздыхает Линда. – В этом проблема. Мы так без работы можем остаться.

– Какой ужас! – пугаюсь я. – Не знаю, чем тебе помочь, Линда. Вернее, не знаю, чем ты можешь мне помочь, чтобы я таким образом помог тебе.

– То-то и оно, – говорит Линда. – Евреи, вообще, народ привередливый. На них нет надежды, никто не просит помощи. Поэтому мы помогаем всем остальным – мексиканцам, китайцам, сирийцам, украинцам...

– Понимаю. Нелегальным иммигрантам, что ли?

– Такого слова нет, – говорит Линда. – Они теперь называются по-простому: *обездокументенные* граждане. Но с ними тоже трудно. Слишком много общественных организаций и групп хотят им помогать. Этим несчастных *обездокументенных* буквально рвут на части. На всех не хватает. Мы с нашим скромным бюджетом на выдерживаем конкуренции.

Линда снова вздохнула и окончательно закручинилась. Я говорю:

– Послушай, может, вам придумать какую-нибудь грандиозную программу? Такую, чтобы всё человечество растрогалось и начало делать пожертвования.

– От человечества не дождёшься, – объясняет Линда. – Главное – чтобы наше федеральное правительство растрогалось. Это то, откуда деньги сочатся.

– Понятно. Значит, программа должна быть политически корректной. Например, «Защита обездокументированных граждан от изменения климата».



– Звучит красиво, – соглашается Линда. – Но безнадежно. Всю эту лакомую тематику уже расхватили. Кстати, ты мне напомнил. У нас есть одна программа, с которой ты можешь помочь. Ты родился в России?

– Вроде того. В Советском Союзе.

– Никогда не слышала. Это где-нибудь в Европе?

– Частично.

– Подходит. Сколько тебе лет?

– Ох, много, – вздохнул я. – Помирать пора.

– Замечательно! – неожиданно обрадовалась Линда. – Значит ты жил во время Гражданской войны?

Я насторожился.

– Ты имеешь в виду войну Севера с Югом?

– Ах, нет, это я немного перепутала. Я имела в виду Мировую войну. Ты её помнишь?

– Первую – нет. Вторую немного помню.

– Прекрасно! Значит, ты пережил Холокост. И теперь можешь в рамках нашей просветительной программы для начальной школы выступить и рассказать детям, как ты его пережил.

– Ну, вообще-то, честно говоря, я его особенно не переживал. В то время я был ничтожно мал и жил в глухой деревне вдали от военных действий.

– Как ты туда попал?

– Эвакуировался вместе с семьёй. И жил там, пока война не кончилась.

– Ну вот, значит, ты и есть жертва Холокоста. Ты спасся бегством от наступления нацистов. И теперь можешь с полным правом рассказывать детям про своё страшное детство. Как насчёт следующего вторника в два-тридцать?..

... В назначенный вторник Линда привезла меня в начальную школу имени Барака Обамы, запустила в спортивный зал и велела ждать. Зал был пуст. Он сверкал чистотой. На стенах, помимо Обамы, висели портреты Франклина Делано Рузвельта, Мартина Лютера Кинга и какой-то женщины с головой, замотанной в платок.

Открылись одновременно две двери, и четыре учительницы ввели в зал густую ораву детей, от которых у меня зарябило в глазах. Их было не меньше сотни. Меня поразило, что в такой небольшой округе, к которой относилась школа, так много рожают. Не иначе, как экономят на презервативах, подумал я. Дети разом сели на пол, скрестив ноги, и уставились на меня. В их широко раскрытых глазах трепетало волнение людей, увидевших наяву живого птеродактиля. Старшая учительница, которая, возможно, была даже директором школы, ласково похлопала меня по плечу и сказала, обращаясь к детям:

– Это мистер Алекс. Он пережил Холокост и сейчас расскажет, как ему это удалось. Давайте похлопаем мистери Алексу.

Дети дисциплинированно похлопали и затихли. Я сказал:

– Здравствуйте, дети. Сколько вам лет?

– Им всем по девять, – ответила за детей одна из учительниц. – Это третий класс.

– А мне ещё больше, – бездарно пошутил я. – Если взять ваш возраст и умножить на ваше количество, то как раз получится мой возраст.

Учительницы в ужасе переглянулись. Дети никак не отреагировали на это известие, и я понял, что они ещё не проходили умножение.

– Да, дети, я родился давно и, как видите, надолго, – сказал я, стараясь загладить глупую шутку и разжечь в себе воодушевление. – Но родился не в Америке, как все люди, а в другой стране, которая называлась Советский Союз. Теперь она называется Россия. Но это та же самая страна, как её ни называй. Когда я был совсем маленький, на эту страну напала другая страна, Германия, которой правили нацисты. Получилась война.



Далее я рассказал детям, как моя семья вместе со мной, спасаясь от нацистов, эвакуировалась далеко на восток и поселилась в маленькой глухой деревне, в убогой бревенчатой избе. В этой деревне не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации. Электричество по вечерам заменяли свечи. Водопровод заменяла речка в полумиле от деревни. Канализацию заменяли родные просторы. Я рассказало том, как мы голодали, и как мне всё время хотелось есть, а есть было нечего, и как деревенские мальчики постоянно крали у нас всё, что могли украсть, и как я пошёл в школу, в первый класс, где меня дразнили евреем.

Дети слушали, затаив дыхание, а я продолжал говорить, удивляясь своей немеркнущей памяти. Неожиданно для себя яоткрыл, что воспоминания семилетнего ребёнка отпечатываются в мозгу навек и не стираются временем.

В конце концов мои воспоминания исчерпались, я затих, и учительницы разрешили детям задавать вопросы. Взметнулось сразу не меньше полсотни рук. Пятьдесят пар глаз зажглись страстным желанием дойти до самой сути.

– Вот вы говорите, что вас в школе дразнили евреем, – сказал прыщавый, неряшливого вида пацанёнок. – А почему вы не могли ходить в школу без ермолки, чтобы вас не дразнили? Вам что, родители не разрешали?

– А я и ходил без ермолки, – признался я. – У меня её даже не было.

– Если так, то откуда они знали, что вы еврей? – не унимался прыщавый.

– Они не знали, – сказал я. – Я тоже не знал. Это просто было такое ругательство – еврей. Деревенские мальчишки друг друга тоже еврейками обзывали, когда ссорились.

Взедливый пацанёнок явно не удовлетворился моим ответом, но продолжать диспут с ним я не мог. Надо было дать слово другим. Ближе всех ко мне сидела щупленькая рыжая девочка, которая смотрела на меня влюблёнными глазами и тянула руку так, словно хотела достать до потолка. Я её безжалостно проигнорировал и дал слово другой девочке, которая спросила с волнением:

– Почему в вашей деревне не было электричества – с целью охраны окружающей среды или в это время была забастовка работников электростанции?

– Электричество туда не провели, – разъяснил я. – Но жителей деревни это не беспокоило, потому что они всё равно не знали, что такое электричество. А что касается окружающей среды, то с ней было всё в порядке. Окружающую среду в этой деревне ничто не загрязняло кроме лошадиного навоза. Следующий.

Рыженькая продолжала изо всех сил тянуть руку, но я опять не обратил на неё внимания и, чтобы не заподозрили в расизме, дал слово чёрной девочке.

– Вы сказали, что вам всё время хотелось есть, – сказала девоч-

ка, и в её голосе звучало неподдельное сочувствие. – А почему нельзя было просто заказать пиццу?

Этот вопрос вогнал меня в ступор, и я мучительно старался придумать, как на него ответить. Неожиданно выручила учительница. – Дети, – сказала она, – пицца – не очень питательная еда. Конечно, она богата жирами и углеводами, но в ней недостаёт белков и растительных полифенолов, необходимых организму. Так что, мистер Алекс правильно делал, что не заказывал пиццу.

– Спасибо, – сказал я учительнице за её чёткий, исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. И, чтобы окончательно оградить себя от подозрений в расизме, предоставил слово чёрному мальчику, тем более что его звали Алекс, как меня. Алекс оказался довольно агрессивным типом.

– Вот вы говорите, будто бы вы ходили в лес за грибами, – сказал он, явно стараясь уличить меня во лжи. – Зачем это надо было делать, если грибы продаются в любом супермаркете?

На моё счастье, опять вмешалась учительница.

– Ходить в лес за грибами – это аллегория, – сказала она. – Мы все знаем, что дикие грибы есть нельзя, так как ими можно отравиться и попасть в больницу. Когда мистер Алекс говорит, что он ходил в лес, он имеет в виду, что супермаркет, где продавали грибы, был очень далеко. Правильно, мистер Алекс?

– Да, конечно, – тоскливо согласился я. – Жуть как далеко. В другом измерении. Следующий.

Рыженькая девочка продолжала тянуть руку, и я, наконец, сжался и предоставил ей возможность задать вопрос. Она радостно вскочила на ноги, открыла рот и вдруг оцепенела. Выражение её лица начало меняться и за несколько секунд пронеслось через весь спектр человеческих эмоций, включая радость, испуг, смущение, отчаяние.

– Ну-ну, говори, – подбодрила. – Что ты хотела спросить?

– Не знаю, – прошептала девочка. – Я забыла, как это называется.

– Ничего, потом вспомнишь, – успокоил я. – Следующий.

Поднялся толстый, чисто одетый мальчик, типичный отличник.

– У меня такой вопрос, – вежливо сказал отличник. – У вас в этой деревне были друзья?

– Конечно. Деревня была маленькая, поэтому там все были друзьями.

– Как вы с ними проводили время?

– По-разному. Главным образом, наше времяпрепровождение заключалось в том, что они меня били.

– За что? Они вас не любили?

– Отчего же. Очень любили. Били просто для удовольствия.

– Вы получали от этого удовольствие?

– Я – не очень. Но моим деревенским друзьям это нравилось.



Толстого отличника перебил другой мальчик:

– Вы играли в какие-нибудь игры? – спросил он, хмурясь и волнуясь от важности своего вопроса.

– А как же. В школе на переменах самая популярная игра называлась «зад к стенке». Какой-нибудь мальчик громко кричал «зад к стенке!», и все быстро прижимались задом к стене. А кто не успевал или потом отходил от стены, того били ногой по заду. Очень увлекательная игра.

– Зачем били? – не понял мальчик.

– Чтобы держал зад к стенке.

– А зачем держать зад к стенке?

– Чтобы не били ногой.

Дети поняливо закивали. Рыжая девочка вдруг снова повеселела, вскочила на ноги и закричала:

– Я вспомнила! Я вспомнила! Можно вопрос?

– Можно.

– У вас есть меланома?

Я покрылся холодным потом. Учительницы встревожились и подбежали к девочке. Некоторое время они, сгрудившись над ней, о чём-то беспокойно шептались, а потом с облегчением оставили девочку в покое. Одна учительница подошла ко мне и вполголоса объяснила:

– Понимаете, это очень умная девочка, отличница. Она хотела вам сделать приятное и показать, что она знакома с еврейскими обычаями. Она имела в виду то ли менору, то ли мезузу. Перепутала слова. Так что, не беспокойтесь.

Прозвенел звонок. Дети вскочили на ноги и бросились из зала, стискиваясь в дверях. Я перевёл дух.

На следующий день позвонила Линда Гойберг. Её голос звенел от радости.

– Поздравляю с успехом! – кричала Линда. – Администрация школы и дети в восторге от твоего содержательного выступления. Они говорят, что благодаря тебе узнали много интересного про Холокост. Надеюсь, ты не откажешься выступить ещё в одной школе?

– А как же, конечно. С удовольствием, – сказал я упавшим голосом.

– Прекрасно. Как насчёт следующего вторника в два-тридцать?

... Так моя жизнь наполнилась новым содержанием. Я стал регулярно посещать начальные школы и рассказывать детям при маленькую русскую деревню, где не было канализации и нельзя было заказать пиццу. Когда дело доходило до вопросов, первое, о чём меня просили дети, – рассказать об игре «зад к стенке». Их интересовали правила этой удивительной игры во всех деталях. Мне сказали, что теперь в начальных школах нашего графства дети на переменах играют в «зад к стенке». Правда, он её переименовали, заменив слово «зад» другим, более привычным для школьников словом. Популярность игры растёт, и в следующем году намечается турнир по «заду к стенке» между школами графства. Учителя школ и администрация отдела народного образования не возражают. Они считают, что игра «зад к стенке» повышает интеллект учащихся и отвлекает их от употребления наркотиков.

Моя популярность тоже растёт. Среди школьников графства я известен как «Мистер Зад к стенке». Каждый день я получаю тек-

стовые послания по телефону и почтовые открытки, где меня благодарят и желают здоровья. Одна девочка пожелала мне счастливого Холокоста. Я подозреваю, что это та самая рыженькая, которая путает слова. Благодаря мне агентство «Семейное счастье» получило большой грант и теперь процветает. Линду Гойберг повысили в должности. В общем, я стал настоящей знаменитостью. Думаю, надо будет попросить администрацию отдела народного образования повесить мой портрет в гимнастическом зале рядом с портретом Барака Обамы.

Иллюстрации Вальдемара Крюгера

Александр Матлин – инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.

Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале «Крокодил». В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля.

В Москве в издательстве «Вагриус» вышла книга Матлина «На троих с ЦРУ» – полное собрание избранных рассказов и стихов. В ньюйоркском издательстве Mir Collection – рассказы 2 = 1 на русском и английском.

Постоянный автор журнала «Времена».

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР
.....

**«Высокая нота»,
изд-во Вест-Консалтинг, Москва, 2020**

В новую, третью книгу поэзии и прозы лауреата международной премии Леонардо да Винчи Марины Тюриной-Оберландер вошли стихотворения, рассказы и эссе, написанные за последние семь лет. Марина живет в Вашингтоне. Лучше всего представить читателю ее книгу как распахнутую речь на высокой ноте в пространстве неспящей души. В минуты озаренья здесь на грядущем перепутье можно войти в мираж или оказаться в объятиях Эроса, здесь прошлое перекликается с будущим и не отпускает настоящее, и братья наши меньшие свободно общаются с представителями рода человеческого, порой нетривиально рассуждая о несовершенном устройстве жизни...

* * *

**«I Simply Have to Fall in Love»,
New Academia Publishers, Washington, DC, 2020
www.newacademia.com**

Marina Tyurina Oberlander's book comprises her original poetry in English and translations of selected poems from her numerous publications in Russian, where she reflects on life and death, love and faith, sorrow and happiness.

Два года назад Марина начала писать стихи на английском языке. За это время их набралось на целую книгу. Половина из них оригинальные, а половина – переводы ее русских стихотворений, выполненные как ею самой, так и ее друзьями, талантливыми переводчиками Галиной Рудь, Ренатой Молдавской и Игорем Браиловским.

* * *

Обе книги иллюстрированы внуком Марины, художником Константином Фердинандом Вебер-Чубайсом, которому недавно исполнилось 9 лет.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»

Вот самые яркие переводные книжные новинки, которые будут выходить в крупнейшем российском издательстве «Эксмо» в течение этого года. Надеемся, ситуация в стране с коронавирусом не помешает издателям и полиграфистам.

«Заветы». Маргарет Этвуд

Книга «Заветы» – продолжение нашумевшего произведения Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», удостоенное Букеровской премии в 2019 году. В центре сюжета вновь судьба женщин, обреченных на безрадостное существование в Республике Гилеад, возникшей на месте современных Соединенных Штатов. Роман написан одновременно от лица трех героинь, одна из которых читателям знакома по предыдущему произведению. В отличие от него, к слову, «Заветы» повествуют не только об угнетении Фредовы и ее подруг по несчастью в мире жестоких мужчин, но и об их борьбе за свои права, которая имеет все шансы увенчаться успехом.

«Мы – погода». Джонатан Сафран Фоер

На сей раз американский романист решил отвлечься от художественной прозы и написал книгу, посвященную глобальному потеплению, дословно с английского языка она переводится как «Мы – погода». По мнению Фоера, постепенное превращение планеты в ферму по выращиванию продуктов питания вкупе с халатным отношением к окружающей среде имеет все шансы закончиться настоящей катастрофой для всего человечества. В «We are the weather» писатель рассуждает об истинных причинах глобального потепления и пытается найти наиболее благоприятный исход из сложившегося положения.

«Их дети после них». Николя Матье

«Их дети после них» – роман Гонкуровского лауреата этого года демонстрирует читателю классическую историю взросления. В центре сюжета Хасин, прототипом которого является сам Матье. Судьбу своего альтер-эго писатель прослеживает с 14 до 20 лет. Здесь будут все необходимые атрибуты: четверо неразлучных друзей,

первая любовь, пиво под песни Nirvana и даже смешное преступление – кража каноэ с целью пробраться на нудистский пляж. Правда, в отличие от своих сверстников из романов былых времен, Хасин, Антони, Стеф и Клеб не питают иллюзий относительно светлого и радостного взрослого будущего.

«Бруклинские глупости». Пол Остер

И вновь в тексте американского прозаика речь пойдет о жизни самого обычного человека, стремящегося, как и каждый из нас, к внутренней гармонии, и всякий раз лишенного возможности заполучить ее. Натан Гласс приезжает в Бруклин с единственной целью – умереть. Развод, разлад в отношениях с дочерью – все это не лучшим образом повлияло на моральное состояние главного героя, однако неожиданная встреча с племянником, за которой последует целая череда новых знакомств и невероятных событий, заставит его со временем полностью пересмотреть взгляды на собственную судьбу.

«Веди свой плуг по костям мертвецов». Ольга Токарчук

А что если убийцы и жертвы поменяются местами? Именно такое объяснение загадочным и жестоким убийствам находит одинокая старушка – переводчица и учительница английского языка. Все чаще в окрестностях небольшой, затерянной в лесах польской деревушки гибнут охотники, и, судя по всему, стоят за этим лесные обитатели. Новый роман Нобелевской лауреатки, построенный отчасти на классической детективной интриге, наглядно демонстрирует, что даже развлекательный жанр прекрасно подходит для изображения общества и управляющих им механизмов и выявления социальных и даже политических проблем.

«Девушка, женщина, другие». Бернардин Эваристо

Еще один роман, отмеченный Букеровской премией-2019, также готов к публикации. «Девушка, женщина, другие» Бернардин Эваристо повествует о двенадцати людях, большинство из которых – чернокожие британки, путешествующие по миру в разные десятилетия. По мере развития сюжета такие разные судьбы героев пересекаются и оказывается, что все они объединены общей болью, связанной с жизнью в патриархальном обществе.

«М., на краю пропасти». Бернар Миньер

Бернар Миньер по праву считается одним из наиболее востребованных авторов в жанре триллера во Франции: его романы становятся бестселлерами, едва успев попасть на прилавки, а запутанные сюжеты дадут фору даже самым нетривиальным классическим историям. В дословном переводе на русский его новый роман называется «М., на краю пропасти» и наглядно демонстрирует как благодаря развитым технологиям человек, вечный злой гений, может воплощать в жизнь самые мрачные и пугающие идеи.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ

«Институт». Стивена Кинга

Здесь будут похищения детей, бесчеловечные эксперименты, секретные организации и экстрасенсорные способности уникальных людей, которые хотят обычной жизни.

У Кинга парапсихология, экстрасенсорика, телекинез и самые невероятные сверхспособности – это не только научные термины, но и вполне сегодняшняя реальность, скрытая от глаз общественности. А дальше будет только круче. Спецагенты с неограниченными полномочиями похитят и поставят под контроль детей с неокрепшей психикой и не устоявшимися моральными принципами. Теперь они не только подопытные кролики некой организации «Институт», но и секретное оружие спецслужб против нежелательных персон. Быстро, удаленно, без шума и пыли.

Кинг снова захватывает читателей и бросает их в быстро развивающийся нетривиальный сюжет. Настоящий хоррор перемежается с подростковыми приключениями. Мальчишки и девчонки противостоят жестоким и циничным взрослым. И как это не банально, именно детская дружба и преданность поможет бесправным подросткам в борьбе за свободу и право быть детьми, а не солдатами.

Полное собрание сочинений Станислава Лема

В 2020-м издательство АСТ начнет выпускать полное собрание сочинений знаменитого польского фантаста Станислава Лема. Его произведения хорошо известны российским читателям еще с дале-

ких советских времен. Он писал о трудностях общения человечества с внеземными цивилизациями, о технологическом будущем планеты. Многие работы Лема посвящены также утопическому обществу и проблемам существования человека в мире, в котором нечего делать из-за технологического развития.

В едином оформлении выйдут знаменитые произведения фантаста: «Солярис», «Эдем», «Футурологический конгресс», «Глас Господа», «Возвращение со звезд», «Сумма технологии», «Звездные дневники Ийона Тихого», «Рассказы о пилоте Пирксе» и другие.

«Без дна». Сборник рассказов современных авторов

В редакции Елены Шубиной готовится к выпуску новый образец актуальной российской литературы. О современном обществе поделятся своими мыслями ведущие писатели последнего десятилетия. Здесь мы увидим произведения Михаила Елизарова («Земля», «Библиотекарь»), екатеринбургского писателя Алексея Сальникова («Опосредованно», «Петровы в гриппе и вокруг него»), молодого пермского прозаика Павла Селукова («Добыть Тарковского»), Евгении Некрасовой («Калечина-Малечина», «Сестромам. О тех, кто будет маяться») и других.

Элена Ферранте и ее роман «Незнакомая дочь»

Таинственная личность Элены Ферранте приковывает внимание к себе и своему творчеству. Журнал Time даже признал ее одной из самых влиятельных женщин. Элена Ферранте прославилась после выпуска серии книг «Неаполитанский квартет», которая стала бестселлером по всему миру. Читателей интересует ее частная жизнь, а журналисты проводят расследования, чтобы раскрыть ее личность.

Об Элене Ферранте практически ничего неизвестно. Мы знаем, что она выросла в Неаполе и что у нее есть две сестры. Мать работала швеей. Временами они выезжали из Италии и жили в других местах. В юности, когда ей еще не было 14 лет, она читала роман «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера на французском. Тогда же она начала сочинять метафоры и увлеклась писательским мастерством. В университете Элена Ферранте училась на классической филологии. Известно, что у нее есть ребенок. Кроме писательства, она переводила и преподавала.

«Незнакомая дочь» – второй роман писательницы, который был написан еще до знаменитого «Неаполитанского квартета».

**«Грязь кладбищенская» –
лучший роман XX века на ирландском языке**

Этому легендарному произведению уже 80 лет. В 1949 году ирландский писатель и литературный критик Мартин О'Кайнь выпустил свой самый известный роман «Грязь кладбищенская». В Ирландии этот текст считается чуть ли не национальным достоянием и образцом ирландского модернизма. Также это произведение известно во всем мире как «ад для переводчиков». Книгу на гэльском языке переводило огромное количество специалистов, но безуспешно. Считается, что первая достойная английская адаптация появилась только через 70 лет после выхода книги.

На русский язык ее более двух лет переводил Юрий Андрейчук, который отметил нарочитые диалектизмы, огромное количество неологизмов, игру слов и черный юмор. Все герои романа – мертвецы, которые после смерти лежат на кладбище и переговариваются меж собой, вспоминая подробности земной жизни. Любовь, предательство, ненависть, моменты веселья и разочарования станут предметом обсуждения полуразложившихся трупов на своих же могилах.

«Живые люди» – продолжение сериала «Эпидемия»

Нашумевший сериал «Эпидемия» привлек повышенное внимание зрителей, прокатчиков и министра культуры. Он снят по книге «Вонгозеро» Яны Вагнер. Писательница уже выпустила продолжение истории. «Живые люди» – роман-робинзоида и триллер.

Действие разворачивается после бегства из объятаго ужасом Москвы, которое описано в романе «Вонгозеро». На островке среди карельской тайги восемь взрослых и трое детей спрятались от эпидемии. Они выжили, но отрезаны от мира. Им придется зимовать, голодать и, самое главное, – учиться принимать друг друга. Выбор простой: измениться или погибнуть.

Сын твой, мой папаша тогда классную фразу выдал: “Народ для государства как трава для козла: сочную сожрет, сухую вытопчет”. Я сожранным или вытоптанным быть не желаю.

Давид Гай

Дурацкие напялив маски,
Весь мир, судьбе своей не рад,
По чьей-то дьявольской указке,
В печальный втянут маскарад.

Александр Городницкий

А ведь раньше моя мать занималась бальными танцами. В её представлении хорошим времяпрепровождением были зажигательные танцы с другом юности Тони Собралем в ночных клубах Шанхая. Ей было нужно постоянное движение. Ей было нужно веселье. Ей был нужен горячий секс. Но нет, здесь в доме 107, Сент-Эндрюс Плейс, она была лишь послушной служанкой.

Эрих фон Нефф

– Ревность – это чудовище с зелёными глазами. Она никого не украшает. Вы утратили внимание супруга, но в вашей жизни появились неодушевлённые предметы, принадлежащие ему и его любовнице. Это и есть фетишизм. Всё это теперь возбуждает ваше сексуальное влечение... Это же так просто...

Джейкоб Левин

Что же может излечить от этой болезни, от вируса большевизма, проникшего в нашу кровь в годы счастливого советского детства? Этот вопрос прозвучал в стихотворении «Манхэттен», написанном Окуджавой после посещения Нью-Йорка летом 1990 года, когда он был гостем нашей Русской летней школы при Норвичском университете в штате Вермонт:

Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждет и что поможет?

Или снова нас надежда на удачу облапошит?

Или все же в грудь сомнений просочится тайный яд?

Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?

Владимир Фрумкин

Моя популярность тоже растёт. Среди школьников графства я известен как «Мистер Зад к стенке». Каждый день я получаю текстовые послания по телефону и почтовые открытки, где меня благодарят и желают здоровья. Одна девочка пожелала мне счастливого Холокоста.

Александр Матлин